

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ь

---

М О С К В А

4 • 9 • 3 • 0 0

А 56.820.Москва, Главлит

СТАТ — Формат Б/5 176—250

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова, «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | <i>Ств.</i> |
|--|-------------|
| 1. Леонид ЛЕОНОВ. — <i>Соть, роман, продолжение</i> . . . . .                          | 5           |
| 2. Иг. МАЛЕЕВ. — <i>Измена, рассказ</i> . . . . .                                      | : 54        |
| 3. П. БОЛОХИН. — <i>Жена комиссара, стихотворение</i> . . . . .                        | 77          |
| 4. Мариэтта ШАГИНЯН. — <i>Гидроцентральный, роман, продолжение</i> . . . . .           | 79          |
| 5. Вл. ЛИДИН. — <i>Мужество, рассказ</i> . . . . .                                     | 111         |
| 6. Павел ВАСИЛЬЕВ. — <i>Ярмарка в Куиндах, стихотворение</i> . . . . .                 | 117         |
| 7. Ал. ТОЛСТОЙ. — <i>Петр Первый, повесть, продолжение</i> . . . . .                   | 118         |
| 8. Юрий НОЛЬДЕН. — <i>Весенняя баллада, стихотворение</i> . . . . .                    | 133         |
| 9. И. АЛЬТЕР. — <i>Памяти Р. Люксембург (к 11-летней годовщине убийства)</i> . . . . . | 134         |

### ЛЮДИ И ФАКТЫ:

|   |     |
|---|-----|
| 10. А. ЯКОВЛЕВ. — <i>На неведомой дороге, очерк</i> . . . . .                 | 145 |
| 11. Николай АССАНОВ. — <i>Корпуса, которые не сдают, очерк</i> . . . . .      | 166 |
| 12. Л. К. СОЛДАТОВ. — <i>На вершину Эльбруса, очерк, с иллюстр.</i> . . . . . | 178 |

### ЗА РУБЕЖОМ:

|  |     |
|--|-----|
| 13. С. ГАЛЬПЕРИН. — <i>По всему свету, очерки международной политики</i> . . . . . | 188 |
| 14. И. ТАЙГИН. — <i>Японские силуэты, очерк</i> . . . . .                          | 199 |

### ИЗ ПРОШЛОГО:

|   |     |
|---|-----|
| 15. <i>Неизданные письма И. С. Тургенева к А. В. Топорову (предисл. и примечания Л. С. Утевского)</i> . . . . . | 210 |
|---|-----|

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

|  |     |
|--|-----|
| 16. П. МАРКОВ. — <i>Очерки современного театра, с иллюстр.</i> . . . . .       | 219 |
| 17. Мих. ЗЕНКЕВИЧ. — <i>Обзор стихов</i> . . . . .                             | 227 |
| 18. Ю. ДАНИЛИН. — <i>Торговый дом Александр Дюма и К<sup>о</sup></i> . . . . . | 234 |
| 19. К. ЛОКС. — <i>П. Мериме</i> . . . . .                                      | 244 |

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

|   |     |
|---|-----|
| Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Сергей Городецкий «Алый смерч» . . . . .                   | 248 |
| Виктор ГОЛЬЦЕВ. — Борис Лапин «Тихоокеанский дневник». . . . .              | 249 |
| Борис АНИБАЛ. — М. Кравков «Большая вода»: . . . . .                        | 250 |
| Н. ЗАМОШКИН. — С. Вегин «В верховьях Тигра». . . . .                        | 250 |
| Л. ТИМОФЕЕВ. — В. Стефаник «Рассказы». . . . .                              | 251 |
| Я. ФРИД. — Георг Вринг «Солдат Зурен» . . . . .                             | 252 |
| Арк. ГЛАГОЛЕВ. — «Путеводитель по современной русской литературе» . . . . . | 252 |
| А. ГРЕЧ. — «Краткий путеводитель по Третьяковской галерее». . . . .         | 254 |
| Книги, поступившие для отзыва . . . . .                                     | 256 |

### **ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“**

*Годовым подписчикам „Нового Мира“,  
подписавшимся с рассрочкой платежа в  
4 срока, необходимо поспешить внесением  
очередного (ВТОРОГО) взноса. Подписчи-  
кач, не внесшим 2-го взноса (2 р. 50 к.),*

*ВЫСЫЛКА журнала с № 3*

**БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА**

**ПОСПЕШИТЕ ВНЕСЕНИЕМ  
ОЧЕРЕДНОГО ВЗНОСА!**

# Соть

Роман

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

(Продолжение <sup>1)</sup>)

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Сначала мая, едва прошли льды и по взволнованным лугам побежали одуванчики, небывалая судьба постигла Соть. Не пела в ту весну луговая птица, и пустовали на Макарихе скворешни; девки робели хороводы играть, а мужики заране лупили баб, чтоб не блудовали с пришлыми людьми. И, наконец, в самый канун Егорья ярославский пастух Игнат Оньков, великий знаток скотской души и любитель природы, такую цену за лето запросил, что мужики только окнули хором, не вселился ли в Игната анчук. В довершение несообразностей пошли косноязычные всякие толки, будто на опушку близ местности Тенаки выходил корявенький старичок, луна седей и рыся звероватей, нюхал веселый щепяной воздух, хмурился... И тут будто встретяся ему московский комиссар Увадьев, которому щеку чирьем разнесло. И якобы, пробуя напугом взять, сказал старичок: «Я тебя, дескать, и не так еще тяпну, во всю харю прыщ насажу: топором не вырубить. Все дороги, окаянные, мне попортите!» — В ту пору как раз тащили локобиль на Соть. А тот ему будто: «У вас тут и портить нечего, по дорогам-то хоть лес сплавляй. Но если ты такой буйавый крепыш и разума не лишен и хочешь принять участие, то поступай ко мне в службу: жалованье по седьмому разряду и койка в бараке с живыми людьми...»

Был ли то и в самом деле Никола, бродяга русской земли и милостивец, или просто тот молодой скифской мужик, которого сманил Увадьев на советскую дорогу, неизвестно. Близ того времени известил бабий телеграф, что один из монахов, ученая голова, сбежал на увадьевское предприятие, соблазнясь несправедным советским золотом. Врака была явная: Виссарион, в прошлом студент политехникума, принят был всего лишь на должность табельщика при постройке ветки;

---

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир» кн. 1 с. г.

стремясь испробовать в новом предприятии сотинский люд, Увадьев не побрезговал ради опыта и монахом. Вдобавок, в секретном разговоре по душам, признался перебежчик, что и в скит-то он попал под озорную руку, интересуясь, что из этого получится; теперь же, дескать, когда пробивается Октябрьская поросль по всей стране, любо и ему приложить свои силы к общему делу. Вечером того дня Увадьев хвастался о своем успехе Фаворову, а тот поморщился. «Я инженер, — сказал он, — но скорей в чорта поверю, чем в какой-нибудь от монаха прок...» — «Ну, ты, кажется, и меня самого в подозрительности перещеголял!» — посмеялся Увадьев, втайне считая себя изрядным целителем всяких душевных горбунов.

Сомнительно, чтоб то и был пресловутый Виссарион Буланин, так как за неделю до бегства он себе и бороду сбрил и подыскал более приличную для человека одежду. Оттого-то Лука Сорокаветов, помянутый толковник и гамаюн, и утверждал, что не монах, не Никола, а одичалый дух вологодского купца Барулина, погребенного в скиту: он-де и бродит, потеряв место своего упокоения. Болтуны прибавляли также, что, взбуженный ото сна, высунулся и увидел — дым идет; ринулся на реку, а оттуда лезут головы в резиновых фуфайках, водолазы, — он и помер тут вторично, уже накрепко. Правда ли, но впоследствии, когда разрабатывали песчаные карьеры на мысу, нашли землекопы скелет неизвестного происхождения, а при черепе сохранилась обширная русская борода. Толстая медаль с портретом забытого царя провалилась сквозь ребра и лежала на позвонках; её доставили Увадьеву, и тот постановил сохранить ее для сотинского музея, а куда прикладывал ею бумаги от ветра. Как бы то ни было, старинный мрак бежал перед лицом наступающей промышленности...

Новые времена заставляли врасплох эту честную, нешумную реку; тревожно и ветрено стало на сотинских берегах. Ее прежней славы не ведали пришлые люди; не было им дела ни до всклокоченного купеческого призрака, ни до растерявшегося Николы, чье огромное резное изображение сохранялось в скитском подвале. Пришлым Соть сулила прежде всего работу и хлеб. Какими-то подземными тропами уже распространилась весть о Сотьстрое; строители собирались во множестве, и Увадьев, опасаясь вначале, что нехватит народу на стройку, выезжал изредка им навстречу, за тринадцать верст, на раз'езд. Поезд приходил на рассвете. Они вылезали из вагонов, серые в потемках и все на одно лицо; шапки на них торчали стоймя; и бороды еще бывали смяты сном. Холод лез к ним за пазухи, они топтались на открытой платформе, поживая земляков из других вагонов. Иногда вскрикивал жестяным голосом чайник, привязанный вместе с пилою за спину; иногда вскрикивала самая пила. В сосредоточенном молчании они отправлялись на Макариху, изредка останавливаясь обчистить налипшую на ноги грязь. Ее тут было много, она казалась рудожелтой ют примеси глины и розового света зари. В полях уже пробрызнула озимь, а воздух на зорях бывал задорный, баловной, понукавший на дерзость.

Тут шли все те, чьего труда от века не искать было на Руси. Плелись неспешно, сберегая силы, рязанские пильщики да стекольщики; чинно шагали вятские да тверские каменщики и печники, и волос у них под шапками дыбем, как дым из трубы, стоял от липучей глиняной пыли; шустро, в обгонку других, поспешали смешливые вологодские штукатуры; тащились вполпьяна веселые костромские маляры, и кисти их машисто колыхались над малярным воинством; закоптелые, тяжело двигались смоленские грабари, землекопы тож, с руками и лицами цвета земли; проходили кровельщики, бетонщики, кузнецы... пермяки, псковичи, вятчи и прочих окружных губерний жители, где непосильно стало крестьянствовать по стародадедовским заветам, а новых не было пока. А в хвосте людского потока торжественно, точно плыли, выступали прославленные владимирские плотники, которые по присловью и часы починили бы, каб просунулся в часы топор. Их вел седатый бородач, Фадей Акишин, весь пропахший деревянной щепой и тем уж одним знаменитый, что при всякой стройке прежде всего осведомлялся: «а где у вас тут сотир будет?». Строеньица эти он работал во внеурочное время, не требуя mzды, и, сказать правду, с о т и р ы выходили у него на славу.

— Откуда, други... эй! — окликнул Увадьев, осаживая коренастую кобыленку свою в придорожный осинник.

— Со Владимира шагам!..— дружно покричали плотники, а Фадей деловито выступил вперед и опросил кстати, нет ли нужды и в поденных девках на Соты. — Торф копать, дорожки посыпать аль, извинаясь за нескромность, цветы садить? — Так условился он с бабами при отъезде, чтоб ехали по первому письму на Соты всей губернией, доверяя хозяйство на стариков. — Ты мне только мигни, товаришш, мы тебя засыпем девками... Девки у нас тьма, прямо хоть клей из них вари, и девка все круглая, аккуратная, как зерно!

Увадьев представил себе мысленно подобное нашествие и только руками на Фадея замахал, точно тот и впрямь имел силу обрушить всю свою губернию на Сотыстрой.

— Куда к чорту... не Вавилон, а завод бумажный воздвигаю!

Что-то еще кричали ему вслед акишински ребята, но Увадьев не оглядывался. Уж не вмещали строителей временные бараки, пять, склепанные наспех, из бывалого леса; не вмещали и мужицкие сеновалы. Нанято было свыше двух тысяч рабочих, а поезда ежедневно доставляли по полтораста новых, за которыми грозились притти полчища других. Скоро уж на разъезде и доску приколотили с объявлением, что народу набрано с избытком, а цены на житье высокие, а работы нет. Но еще целую неделю, пока молвой да тайной оказией не прошла о том весть, толпился недовольный люд перед свежесрубленной избой, где помещалось временное управление работ Сотыстрой.

— Прослышали... наехали. Мы и прошло лето под Бурагой работали. Нас одинова и судить вместе сбирались! — твердили они и опу-

стошенными глазами взирали на дорогу, по которой напрасно прогоняла их нужда.

Не всегда гладко кончались такие приключения; случалось — кулаки и брань взвивались над толпой, когда инженеры, минув биржу труда, принимали в первую очередь своих, уже знакомых по другим строительствам; тогда Увадьев привычно говорил речь и, сам по природе насмешливый, пытался закончить посмешнее свои увещанья. Людской поток ослабевал, ждали возвращения Бураго, который все не возвращался, точно зубами держала его Америка... А пока на тихом берегу Соти наступала заметная суета. Сверху, птице, показалось бы, что бредовым безумьем охвачен край; птица не знала, что и сумасшествию людскому был заранее начертан план. Жизнь требовала себе хозяев, — временно Увадьев с Фаворовым вершили дела Сотьстроа. Ежедневно из Макарихи, куда отныне перенесли телеграф и почту, уходили десятки взволнованных и ругательных депеш; вместо насущного кирпича, инструментов или рабочих чертежей присылали партии асбестита, тюки гудроненной пробки, бочки церезита и даже метлахские плитки, потребность в которых могла явиться не раньше года. Все эти преждевременные сокровища приходилось складывать прямо на земле, прикрывать брезентом от непогоды и сажать поверх человека с дубиной и в тулупе, чтоб не остудился во сне; вскорости деревенские ребятишки строили домики из помянутых плиток. Увадьев кричал, торопил с постройкой складов, а тут еще невытого гравия привезли, а песок оказался с глиной, а цемент пережжен: Сузанна вовсе избегала встречаться с ним в те дни. Злость удесятерила волю, и с тем большим размахом, щедрее сеятеля на ниве, управление Сотьстроа раскидывало людей...

Сотня плотников и всяких иного ремесла людей сколачивали временный мост на Балуни. Буровые вышки ползали по свежераскорченной земле, запуская в почву прямые железные корни. Болотце подступало с севера к самому месту стройки; землекопные артели лущили его, выбирали прель и хворост, бессчетно сыпали скитской целительный песок в развороченную рану. Тотчас же за околицей деревни, где два месяца назад шумела промерзлая хвоя, триста испытанных мастеров рубили рабочие казармы, аптеку, клуб, бани... все, что потребно живому человеку. На солнце они слепили взор, эти непроконопаченные, еще безглазые плоскости срубов. Полтора ста других производили разрубку и очистку места общей площадью до ста десятин, расписанных под части будущего комбината. Пятьдесят копошились и мокли на реке: уже двинулся крупный пиловочный лес по Соти. Его гнали модем, россыпью, а у Макарихи ловили, согласно договоров с лесными конторами, вытаскивали по склизам и складывали в штабеля; в зной, когда грозила сорваться с неба жгучая, слепительная капля, далеко несло их терпкое, суровое благоуханье.

...удвоили число рабочих по прокладке дорог: движение грузов умножалось. Ветка была почти готова, пора было переносить железно-

дорожный раз'езд на двенадцать километров к западу, по линии Вятка — Соленга. Кроме выгод, связанных с сокращением пути, перенос диктовался и счастливой необходимостью итти долиной реки Уртыкая, но управление дороги беспричинно упорствовало: еще владычил над страной медлительный обычай империи. Потемкин бился в транспортном наркомате за право на жизнь Сотьстрою, а дни шли, и где-то в далеких домах уже плавился металл, потребный на трубы, мосты, стрелки, крестовины и подвижной состав. Точно предвидя в будущем неизбежные заминки, Увадьев спешил вопреки всем урочным положениям, и это прежде всего отражалось на казне Сотьстрою. Деньги привозили в кожаных казначейских мешках, и они тотчас проливались как вода в непроходные сотинские грязи. Растоптанная тысячами ног грязь грозила превратиться в окончательную топь, и даже грунтовая дорога могла истрепаться вконец. Семь троек, дымясь паром и оглашая ревом лес, тащили локомобиль, купленный для временного паросилового хозяйства; ему в особенности трудно дались здешние трясины, этому двадцатитонному левиафану. Брягин, ямщик, требуя на водку при расчете, богородицей клялся, будто дюжину кнутов смочал за одну эту беспутную неделю.

— ...с самого себя требуешь, дубина! Твое же, детей твоих... — увещевал неотступного возницу Увадьев, успевший прославиться скупостью.

— На дитев у мене хватит, я мужик справный, на все горазд, ничто у мене из рук не валится! — непонятливо усмехался Брягин, помахивая кнутовищем. — А ежели мне собственное лите в бутылке откажет, не дите оно мне, а хуже мачехи!

Локомобиль стоял на катках, весь в грязи и масле; похоже было, что он испытывал смущенье перед такою глухоманью. Мужики, приехавшие на базар в Макариху, ходили вокруг, испытующе постукивали в его заклепанную грудь, дивились с восхищением и угрозой.

— Э, трубоқ-то что! — не сдержался один, зевая единственно от чувств, охвативших его: дразнили мужиковский глаз и сами просились в самогонный аппарат двухметровые смазочные трубки, опоясавшие стальное тулово локомобиля. — Ишь, гляди, лег к стопам и не дышит.

— Втора революция случится, и придется его нановь развинчивать — грыжу на ём наживешь! — прибавил другой, тоже не без восторга.

Увадьев так и подскочил к нему:

— Ты что тут болтаешь, мухолов?

— Не пужай, заикаться стану, — шутил тот, но пятился от увадьевского взгляда и уже наверно каялся в ненарочном признании. — Мы тут никто, мы постороннее лицо, мы токмо жители.

На другой день издан был приказ о воспрещении базаров в Макарихе, а Увадьев уже собирался окружить забором построечное место, все сто десятий, но одумался и лишь выставил новых сторожей с дубинами. Походило, будто ждут войны: так умножалась армия на Соти.

Приезжали механики, фельдшера, электротехники, приехал, наконец, Бураго, и, однажды, когда пришло строить сушильную камеру, корявая баба привезла со станции иностранного инженера; всю дорогу он дико взирал из подводы на зыбучую хлябь этой небывалой трущобы. Иностранец думал, что Россия — самая непонятная страна из всех, где ему приводилось устанавливать сушильные камеры. С представлением о скудости и нищете не вязались никак эти сто десятин, по которым дорогу в века прокладывала себе эпоха; привычному страху перед дикостью страны противоречил облик этой самой бабы, которая всю дорогу укрывала домотканным половичком его сверкающие апельсинного цвета краги. Перед яминой, куда нырнуть телеге, баба оборачивалась и кротко говорила: «держись, милая!» — Он скоро научился понимать русскую речь...

Все же, приехав на место, он достал резиновый таз и вытерся одеколоном, не взирая на хозяйского мальчишку, который глазами и носом суеверно впитывал его с полатей. Потом, не стерпев тараканьей духоты, он вышел на крыльцо за свежим воздухом, и тут-то выпал ему приятный случай познакомиться со знаменитым Фадеем. Отработав положенное за день, зверствовал как раз Акишин в помянутой отрасли... В этот день моросило с утра и до вечера отражались в Соти щипаные какие-то, железного цвета облака, а к вечеру повеселело, лист зазвенел в ветре, и солнце высунулось на часок из-за облачной закраины.

— Shön, — сказал иностранец, улыбаясь на Фадея, который бережно, как кружево к невесте, прилаживал резьбу к карнизу своего строения.

— Чего-с? — приветливо оживился Фадей, выбирая гвозди из рта. — Вот, место украшаю... оно бани главней, а без бани и домовой жить в избе не станет. Тут, извиняюсь за нескромность, сидит человек и думает, вспоминает свое естество. И должно ему тут вольготно быть, тогда и мысль к нему легкая приходит. А конфузу в том нет: живое — рази ж оно стыдное?

— Jawohl, — повторил иностранец, прислушиваясь к таинственному и скороговорчатому щебетанью туземца.

А тот все распространялся, радуясь, что нашел, наконец, молчаливого, душевного собеседника, с которым говори хоть целый век!

— ...и это я своим опытом дошел, что дух тут должен быть сухой, смолистый, деревянный. У вас в городе, поди, и древо-те камнем пахнет, а в камне сердца нет. Душа не может в камне жить, нет ей там прислонища. И как мне досталось понять ноне, душа, милый, навсегда уходит из мира, а ейное место заступает разум. Она, бывалча, не смотрит, как бы ускользнуть, вся так и ходит в царапинах, а новый хозяин — он не применяется. Опять же религия с другого конца, извиняюсь за нескромность, чище рубанка ее стругает: не души, а брусья в нас сгали, милый, вымой заграничный господин! Знавал я в стары годы хлюста одного, с усиками: душа, говорит, мешает итти в шаг

прогрессу нашего времени. Оттого, дескать, к северу и лежит Бело море, а с юга Черненько, а посередеь болтается серая мужицкая лужа. Умный, слов нет, и никто даже с ним говорить не смеет... и мы непрочь, а только боязно: моряна-то, котора внутри-то нас... она цветы жжет, видите ли что! Хитро больно устроено... — Он доверчиво подался вперед, и борода его обжигающе защекотала ухо иностранца: — Солнце, к примеру, ровно овца... утром выгони, к вечеру само прибежит. А рази я, скажем, Фадей, гожусь ему в пастухи... какая вещь! Омману боязно...

Вдруг он оборвал, накинул картуз и побежал к прерванной работе. Стороной шел Бураго, главный инженер; он ежедневно обходил так, дозором, это обширное поле будущих битв. Был то некрупный, но широкий и заметный человек с круто откинутым лбом, над которым дымилась грязноватая проседь; глаза, даже не родня друг другу, сидели совсем по-разному в подбровных ямках: левому дано было повергать в страх, а правый в то же время смешливо шурился и пропадал под мясистым веком... Инженер уже скрылся, а Фадеев молоток все еще твердил что-то суетливое о полной его, Фадеевой, благонадежности. Разочек покосился старик и на иностранца, чтоб не выдавал душевного секрета, но тот уже уходил. Кажется, он совсем отказывался понимать смысл и судьбы этой пространной географической нелепости, в которой уживались и треск социального половодья и мудрая, пронизательная тишина. На крыше двухэтажного дома стучала вторая смена плотников, крепя стропила; отрывисто сверкали в закате их неторопливые топоры. Где-то, как бы за спиной, пел на высоких грустных нотах девичий хор, а впереди подымались нешелохнутые тонкие туманы; пахло свежей земляной раной, об ней и песня... Лишь утром он увидел, как непостоянна эта российская тишина.

Еще только вылезало солнце, закутанное в оранжевую дымку последнего заморозка, а все уже было в движеньи. В начатом котловане, видные лишь до пояса, возились землекопы, и легкий пар исходил от мокрых спин. Справа, где плотники сплачивали кровли над бетоньерками, неслась звенящая дробь топоров вперемежку с гяжелым дыхом локомотива. Крича и обвившись веревками, семеро устанавливали телеграфный столб, а четверо других тащили огромную катушку с ниткой, которая должна была отныне связать Соть со всем остальным миром. Двое отчаянных, наверно, маляры, покачивались на расчищенных елях, привязывая антенну, и один закуривал, чудом держась над бездной. Бегали десятники, производя разбивку зданий; везли кипяточный бак, и рябой мужик, идя сбоку лошади, приговаривал: вези, мать, вези, и тебя чайком попоют!.. Там, где сверкала утренняя вода, босой парень с небрежной и крикливой удалью переезжал реку, стоя на одном бревне. Во всем была устремленность к одной какой-то цели, и даже шестилетняя девчоночка, которой поручили нянчить младшую сестру, не разбивала целостности впечатления. Младшая норвила ухватить гуся за шею, но убегал гусь, а старшая догоняла и тащила сестру назад.

— Не бяжи, баба, не бяжи... Чего за облаками гоняешься!

И правда, в том усиливающемся солнечном ливне и гусь слепил как облако.

## 2

Стояло шершавое дерево на взезде; черные спутанные ветви его суматошно тянулись вверх. Еще неделю назад никто из новосельцев не знал его породы, и вдруг все увидели, что это черемуха. Весна трюдилась и по ночам; не валялось и щепочки, на которой не впечатлелось бы ее могучее волшебство. Весна ускоряла разбег Сотьстроя, а с приездом Потемкина работы новый получали разгон; тут и потребовалось место, занятое Макарихой. Отчуждение земель требовалось произвести до начала весеннего сева, так как в намеченные сто десятин входили и крестьянские поля. Федот Красильников собственноручно видел в конторе архитектурный проект, нарисованный как бы с облаков: скиту там не оставалось места, а на макарихинском берегу вдоволь наворочено было корпусов и даже подобия башен, а из башен вился как бы серный дымок. Чертеж, разумеется, не пахнул, а запах происходил от спички, которую закуривал случившийся гидротехник, но в память Федотову он успел пророчески впитаться... Оный Федот, потомок старого сплавного роду, от века владевшего сыроварнями да лесосеками на Кажуге, волновался за скит не меньше самих скитчан. Кроме обстоятельств душевного свойства, имелись тому особые причины: был он младшим братом слепого Азы, который при пострижении не отказывался в Федотову пользу от наследственных прав. Вряд ли в канун могилы потянулся бы он за братним добром, но и самая возможность появления сего полумертвеца в доме устрашала Федота. Сомнительно было, вдобавок, чтобы при переносе деревни Увадьев согласился на перенос и его двухэтажного, с каменным низом двора, ставленного прадедом на вечные времена.

Лукинич, связанный свойством и призванный на совещанье, уверял, что Увадьев не станет ссориться с мужиками из-за пустяков:

— На чьи деньги строить-то!.. мы его на копеечке ровно на веревочке держим.

Федот недоверчиво скалил желтые, крупные, как бивни, зубы и мигал Василью, инвалиду войны и единственному сыну. Втайне знал он обходительную Лукиничеву повадку, а по мужицкой прозорливости догадывался и еще кое о чем; но не подавал виду, чтоб не лишиться последней помощи. В молодости на Кажуге, куда заводила его кроме наживы и охотничьяя забава, прыгнула как-то с дерева раненая рысь на Федота и напрочь сцарапнула ухо; то случилось годов тридцать назад, но прыжок этот помнил Федот крепко, и, когда встречал Лукинича, невольно тянулась рука пощупать ушной лохмоток, прикрытый степенной сединою. Не полагаясь, однако, на одну уловку председателя, не ленился действовать Федот и за свой риск.

Всякий раз, когда бывала ему нужда зайти к соседу, заводил он речь о тех недоуменьях, которыми с зимы наполнилась Соть. Навестил

он и Николая Куземкина, что живет как праведник на отлете, окруженный пятью безнадежными невестами; побывал у Гаврилы Савина, незадачливого плотника, который сколько раз ни ходил в жизнь с голыми руками, всегда возвращался с пустыми карманами; напоследок забрел по случайной оказии и к Проньке Милованову, гармонному лекарю и секретарю деревенской ячейки, жившему в новорубленном доме у леска. Пронька прилепывал медный ладок к гармонии и поминутно, постучав зубильцами, пробовал его на звук, который получался голый какой-то, цыплячий и смешной. Федот искал образов и, не найдя, остался в шапке.

— Богов не содержишь?

— Обхожусь.

Федот усмехнулся:

— Ишь, как ни зайдешь к тебе, все ры да ры! — и присаживался на ящик позади себя.

Пронька на мгновение поднял взор:

— Ты, отец, не садись туда: это инкубатор. Наделаешь нам задохликов да и штаны пожжешь.

— Хо, — подивился Федот, оставаясь стоять, — естеству насильство. Кака ж у тебя птица-т машинная вылупится. У ней, думается, и мясо те железом отдавать станет. Все затеи у вас с Савиным, то цветы, то цыплята: зря карасин тратишь! — Он помолчал. — Хорошая гармонь, чья такая?

— Моя. Хорошая, так купи!

— Куды мне, я старик.

— Все деньги копишь да в крыночку кладешь, — засмеялся Пронька, вспомнив, как в прошлом году принес Федот в налог полтора новеньких полтинников. — Смотри, сгнуты они у тебя!

— Ничего, сухая у меня крыночка, сухая. Может, двести коров у меня в крыночке сидит, а поди, выкуси! — подразнил Федот, а из бороды его просунулись зубы. — Про кудеса-то слышал? Пустынь желают раз'ять, а на ейном месте фабрика для бумаги.

— А ты поговори в конторе, может, и отступятся!

— Поговорил бы, да мужику ноне вниманья нет.

— Мужик мужику рознь! — Солнце упало на колени Проньке, и пискучий ладок засверкал в нем. — Зачем прикатился-то?

Федот исподлобья окинул стены:

— Да, как это ноне говорится, связь установить. Катька-то цветы, что ль, все содит?.. — Так звали Пронькину сестру. — Василий хотел к тебе зайти.

— Не сватайся, отец, не выйдет.

— Куды нам в советску родню лезть!

— Да, уж тут и крыночка заветная не поможет...

Вражда началась еще раньше: беспокойная кровь текла в жилах миловановского рода. Со временем смирилась родовая немирность, и Пронька собственно только тем и раздражал односельчан, что, связав-

шись с опытной селекционной станцией, то ячменей да клеверов заморских насадет на полосе совместно с Савиным, то цветов разведет полон палисадник. Василий-инвалид, заползая в Пронькин дом по праздникам, всякий раз засовывал в цветок свой поганый изжеванный окурок; бёзному, ему даже и нагибаться не приходилсь. Оттого, что, жалея его уродство, никто никогда не бил его в лицо, Василий и вообще вел себя непристойно в отношениях на деревне, и первое время Пронька терпел дружескую напасть, а потом, случилось, за ухо выволоч его из дому и при людях показал ему кулак размером чуть помене годовалого кочна.

— Этим кулаком, Вася, я раз, по военному делу, человека с коня ссадил. Не затевай ссоры, а живи, как тебе положено по твоему юродству...

Обиженный в самое больное место, Василий тоскливо смеялся, сидя в дорожной пыли и теребя порвавшийся на деревянной ляшке ремешок. Война не удалась, зато и окурки перестали из цветов расти. Кстати, вымокли в этот год хваленые Пронькины ячменя, и деревня была удовлетворена в своей первобытной жажде мести и равенства. Василий снова заходил к Миловановым, и те не гнали, потому что страшно иметь врага в деревне. Так тянулась эта насильственная дружба; выгоднее было Проньке держать врага своего перед глазами, под рукой. Но Василий не забыл обидного слова про калечину, в которой, к слову сказать, был неповинен. В свое время, об'ятый патриотической горячкой, Федот настоял, чтоб и Василий добыл военной славы красильниковскому роду. Выехав по письму на станцию, Федот долго с померкшим лицом вдыхал удушливый карболковый запах, исходивший от недобитого героя. «Вишь, укоротили малость. Теперь подсадите меня в подводу, тятенька!» — сказал Василий и рванулся, точно хотел ударить отца по лицу, но не дотянулся и упал. Федот молча поднял этот присмиривший мешок с солдатскою душою, и они поехали продолжать жизнь. По мере того как выдыхалась карболка, Василий привыкал и уже не надеялся, что хоть маленькие, хоть с птичьими коготками, отрасли у него ножки. Даже когда спал, трясла его злоба; оттого ли, что выше лупка не видел он людей, мерзело с каждым годом его внутреннее существо. Вместе с приятелями, таким же людским отребьем, льстившимся на дармовое угощенье, он пробовал пить, но здорвая красильниковская кровь не принимала алкоголя. — Такому жениться на Миловановой — значило восстановить утраченное к самому себе уваженье.

Он пошел бы на любое, лишь бы согласилась положить с собою на роскошную свадебную кровать его злые, немощные культяпки; рослая и простодушная Катя не замечала его любовной суёты. Из деревенских невест одна лишь старшая куземкинская вековуха была ласковой к нему; «чего мне в ней, она всегда моя...» — шепнул он отцу, который советовал брать хотя бы это пересохшее явление природы. Не помогали ни угрозы, ни золотые сережки, которые Василий на всякий

случай таскал в кармане; ничего ему не оставалось, кроме как одинокая пастуховская любовь. Весь род шел на смарку, и в таком-то обороте нужно было отвоевывать место себе на новой Соти.. — Война началась однажды на масленице. У Проньки сидели гости, Куземкин с Савиным, и все одинаково ели гречневые блины, и всем одинаково резали шею тугие ворота рубах. Куземкин позевывал, а Савин внимал военным Пронькиным историям, и на лоб его поминутно взползала взволнованная бровь. В этот вечер впервые стреляли в Пронькино окно и, не потянувшись Куземкин за маслом, хоронили бы его в среду красным обрядом, под гармонь. Пуля ударилась в печку и, отскочив, пробила новехонький баян, который принесли ему чинить накануне.

— Эх, придется заплатки ставить, — громко сказал Пронька, раздвигая онемелые меха; из дырки, такой же, как из окна, выдувал острый холодок.

Он стал внимательней присматриваться к Василью, а тот, узнав о злодействе, принял участие и даже советовал написать в газету, после чего виновника непременно засадят на казенные хлеба.

Пронька притворно качал головою:

— Да как его найти-то, злодея?

— Через посредство собаки унюхают, — настаивал Василий, лаская взглядом широкие Пронькины плечи. — Сейчас они, скажем, дают собаке пулю понюхать, и собака моментально бежит, а за нею сыщики едут на велосипедах. Ныне такие есть, если не врут: левой лапой за воротник злыдня придерживают, а правой протокол пишет, во!

Тот перемолчал Васькино издевательство, а весной стал уже откровенней проявлять свою вредность. На перевыборах он горячо высказывался против Лукинича, выставляя доводом родство с Красильниковыми и его неопределенное лакейское прошлое. Вместе с тем, сам он от власти отказался, а за голяками в то время не пошла бы волость: Лукинич прошел единогласно, и даже Куземкин голосовал за Сорокаветова, в надежде породниться с ним через такую услугу. Лукинич, однако, медлил с женитьбой, а нечесанные куземкинские дылды так и пребывали в вонючем своем целомудрии. В первый же месяц владычества своего столкнулся новый председатель с Пронькой при распределении семенной ссуды. Ни Красильниковы, ни Мокроносовы и не нуждались в ней вовсе, но самое лишение обидело их и обозлило. И когда возвращался Пронька из Шонохи, стреляли в него вторично, и опять охранила его удача. Соскочившему с телеги в лес Проньке недолго пришлось искать приятеля; он стоял тут же, среди трех голых пней, сам как пень горелый; обрез его валялся тут же, уткнувшись дулом в снег. Пронька весело приблизился к инвалиду и протянул руку, но не ударил, а лишь вскинул вверх за подбородок окаменевшее Васильево лицо:

— Паляешь, так уж попадай! А то собаке и понюхать будет нечего...

С того и наступила открытая борьба за преобладание в округе, и первый бой произошел как раз на сходе, где одновременно с

участью Макарихи решилась и горькая судьбина скита. Сбирались на сельской площади, где каждую осень, в летопроводца-Семена день с'езжались великие базары; высокий и темный дом Красильникова стоял на ней сундуком, и в нем средоточилось все прошлое не только села, а, может быть, и всего уезда. По местному обычаю, мужики пристраивались на корточки, курили почтенную махру и поплевывали вокруг себя; к концу сходов, когда подходило решение спорных вопросов, подобие колец бывало наплевано вокруг них, в которых и отсиживались, как в крепостях. Все испытующе глазели в пустое красильниковское окно, прищуренное накось занавеской, но там словно вымерли. Зато ржавый стон исходил от дома; дуновения вечерней реки качали железный фонарь, повешен на глаголе, и ветхую вывеску, пробуравленную непогодой: на ней было проставлено — Ш и ш к и н и нарисовано колесо. Лука, живая память Макарихи, помнил день, когда набивал ее к косяку сам кузнец, сбежавший потом в черное имя Филофея. Переведя взор на сотьстроевские бараки, да прислушившись к железным стенаньям Шишкина, Лука понял вдруг, что уж не стоять впредь красильниковскому дому на горнем месте, где прокрасовался три четверти века.

— Стоит дом на горы и глядит в тарары... — вздохнул он и сделал первый плевок.

Мужики зашумели; со стороны подходил Увадьев с Потемкиным, которого никто еще не знал в лицо. Записанный говорить первым, Потемкин быстро вбежал на трибуну; Увадьев поотстал, — жидковатый настил ступенек прогибался под ним. Точно в огневой лихорадке, Потемкин зорко окинул собрание; ему понравилось подвижное лицо Николая Куземкина и на нем он сосредоточил весь жар речи. Она началась с улыбки; выгоды соседства с Сотьстром представлялись столь ясными, что бессмысленно было растолковывать их... Он даже сократил свое слово наполовину для придания ему деловитой крепости и прежде всего поздравил мужиков с честью быть свидетелями и участниками новой победы социалистического отечества. Увадьев, к которому перешло потом слово, не преминул подробнее остановиться на преимуществах, о которых туманно намекал Потемкин. Кроме близости культурного очага, волость получала электрификацию, постоянную медицинскую помощь, школы фабзавуча и непрерывную работу на предприятиях комбината, этой столбовой дороги во всепролетарскую семью. Кроме того, по договору, который уже с месяц лежал в Губземуправлении, крестьяне получали готовую деревню в четырех верстах от нынешнего места, школу и клуб, и, наконец, среднюю стоимость урожая по данной полосе; рытье колодцев шло за счет переселяемых. Он кончил и, перечислив напоследок ряд лесных и налоговых льгот, неуклюже покричал «ура» первому на Соти кирпичу социалистической кладки.

— Аминь! — неожиданно вскричал Куземкин, и смешливый ропот мужиков одобрил куземкинскую дерзость. — А ты птичкам воздух подари, а рыбам водичку: то-то милости твоей возрадуются...

Эта явная измена Куземкина заставила всех насторожиться; вместе с тем ни от кого не было секретом, что переселение все равно состоится, потому что уже и лес везли на Новую Макариху, и оттого все следили лишь за выполнением установленных правил игры. Видимо лишь для усложнения забавы и по сговору с сотинской знатью и выступил тогда Лукинич.

— Эй, не шумите тама, окажите почет хозяику! — Он шутливо набросился на Куземкина: — Ты чего ж, таракан, рот-те, как гашник, раззял?..

Игра началась, и мужики оживились. Куземкин, однако, отказался от чести вступить на трибуну, куда его настойчиво зазывал Лукинич. Был он вертляв от какой-то душевной чесотки и имел вдобавок такую видимость, точно в детстве наступили ему на лицо.

— У меня не гашник, а крестьянский рот! — важно сказал он, и самые скулы его зашевелились. — И когда он говорит, обязан ты, приказчик, слушать. А что же он говорит, крестьянский рот? — Он вздохнул, набирая силы и украдкой взглянул в красильниковское окно. — А то, что надо бы раньше с мужиками посоветиться, чем руку на Макариху заносить. А, может, нам с этого места и сойти невозможно? Может, мы тут корешок имеем и всякий пенышек нам брата милей? Опять же пизаж! — Он произнес стыдливым шопотом это полужнакомое слово и с тоской взглянул в пустое, совсем пустое хозяйское окно, откуда он черпал слова и силу. — Эва, здесь-то ровно небо разлилось, легче нет ничего взору моему, а отъэль какой вид! Сосна, да на сосне сорока качается.. и, положим, день я на нее гляжу — качается, два гляжу — качается, а на третьей и придет мне мысль, а с чего ж она, братцы, качается? И напьюсь я тоды, милые вы мои граждане, от одной мысли.. и выйдем мы все алкоголики своего быту. Не, нам то место не житейско. Опять же до черквы станет пять верст. Да тут, пока свадьбу нонешню довезешь, и жених-то сбежит!

— А ты женишка-то на лычку да к дышлу!

— Не порть молебну, Николаха.

— Эй, брось болтать, дело общественное...

Ячейка переглядывалась, а Куземкин не унимался. В окне блеснуло что-то медное, точно самовар либо огромную копейку пронесли, и в ноги крикуна новое влилось воодушевление. Рот его надувался и лопался, как пузырь, а в толпу летели злые, плодущие брызги, которые немедля проростали в рыхлый людской чернозем.

— ...извиняюсь, никто в цельном мире не может мне мой крестьянский рот заткнуть. Я и сам общественну работу вел, два года в исполкоме конверты клеил и потому имею вопрос. Какой еще ты нам храм заместо скита воздвигнешь?.. сколько еще отступного дашь? Ты, как во власть всходил, сапожки мне обещал, а я и посель в лапотках крохи мои промышляю. Эй, может, гидра сапожки мои износила?.. и еще ты нас попрекнул, что с пришлых дерем. Мы теперя сами на-

выкли яичку есть; ее сварить надо, а потом с сольцой, с сольцой, с сольцой ее, окаянную. Погодите, мы еще, гляди, окошки заколотим да к вам в Москву пойдем: кормите, скажем, нас, богатеньки братцы.

— Правильно, мужик вдосталь станет есть — злаку на земле не останется! — пригрозил самый ближний, чертя палочкой по земле какие-то свои чертежи.

— Эй, Куземкин, — досадливо закричали другие, — не там лижешь! — Здесь на гривенник больше дают... Дарма себя Федоту продал.

Куземкин устало скалил зубы, и пот лил с его висков, точно из дырочек. Ветер услужливо доносил его речи в пустое окно, где появился, вот, и сам хозяин. Увадьев посмотрел туда и мигом смекнул обстановку; еще прежде, чем предупредил его Пронька, он уже знал, что истинное настроение мужиков непременно скажется при голосовании. Со дня прибытия городских людей поколебалось не только древнее благочестие, но и самая земля под ногами у сотинцев; немногочисленная советская горстка получала подкрепление, стали случаться неопишуемые вещи: то внезапный комсомолец иконы на дрова порубил, то тишайшая Зина Чеплакова так себе лик напудрила, что хоть картошку садить. Жаловались и на то, что старые песни, степенные как сама здешняя природа, извелись, а в новых только и пенья, что про машины, которых еще нету.

— Ты слышишь, что он говорит? — тревожно шепнул Увадьеву Потемкин, косясь на Лукинича, который поглаживал свои усы и не впутывался в драку. — Они теперь так голоснут, что и глаз девать станет некуда!

— Ладно, не наводи паники, — отстранил его Увадьев и продолжал слушать Проньку, — слушай его, он дело говорит.

Только тут раз'яснилась причина Увадьевского спокойствия. Со стороны барачков все новые подходили кучки строителей и тотчас размешивались с мужиками; скоро сход почти устроился, и тем, которые сидели, пришлось встать. Лукинич волновался, мужики зловеще шептались, не смея гнать этой враждебной армии: были то все расейские Федосеи да Иваны, такая же потомственная лаптеносная голь. Вдруг стало ясно, что Увадьев перекроет всех Федотовых козырей, и тогда в бабьей гуще схода обнаружилось странное движение, точно кто-то, мальчик или собака, незримо бегал по рядам и сеял раздорное семя.

— ...там, в толпе, выходи! — звеняще крикнул Увадьев, и толпа расступилась, а Потемкину показалось, что человек стоит на коленях: он впервые видел Василья Красильникова.

Тот приближался, задевая за подолы баб и одержимый своим убогим демоном. По дороге ему попало длинное толстое бревно, и все с любопытством ждали, ползет ли он через него на карачках, перескочит ли; не в силах одолеть препятствие, Василий остановился там и стоял с закрытыми глазами. Должно быть он терялся, кого ему ненавидеть более: Увадьева ли, смотревшего в него недобрым совиным взором, бревно ли, лишний раз подчеркнувшее его убожество. Ему хо-

телось плакать, но вот дрожащий и щекотный пополз в тишине звук: инвалид смеялся.

— Дожили, а?.. со свиней, с кур, с собак, с блох наших дерут... да еще попрекают! — проквохтал он, и кожаная куртка его скрипела, как замороженная. — Зачем было людей созывать, мы к приказанью привыкли. Тыщу лет нам приказывали, Расею приказали соорудить — эку махину наковыряли... И ты не тьяни, а прикажи, и думать нас не поуждай, не обижай напрасно! — Он качнулся и сдернул картуз, обращаясь ко всему миру; под картузом обнаружилась тугая, расфиксатуренная прическа, и ближние к нему потянули носом: похоже стало, точно незримо, возвратясь из прошлого, возлегли поперек Макарихи огромные пахучие исправничьи усы. Трясущейся рукой он достал из кармана перламутровую спичечницу и с достоинством закурил. Вдруг вместе с дымом и кашлем вырвалось из него бешеное слово: — Кто, кто теперь судьбу нашу станет решать, они? — Он яростно толкнул в колено ближнего черемисина, из артели владимирцев, и тот удивленно поднял брови. — Мы тут от века живем, папаньку рысь ела, Николахину мамку, беременну, медведь запорол, а они какие тут жители?.. Они огни бродячие...

— Я везде житель, я плотник, — чуть обиженно отвечал черемисин, не отводя глаз от пахучего темени инвалида.

— ...ты! Ты не житель, ты вонь... вот как шкуры квасят, вонь идет. Ты пискульник, что в прибороздках растет. Я вот дуну в тебя — легкой перышка взлетишь!

— О, дунь пажалста! — с ленивым восхищением попросил черемисин и даже присел на корточки, чтоб не особенно утруждать Василья.

Он был как дерево, полное веселых и тенистых листьев; ему невдомек была инвалидная горечь. Он искренне поверил в могущество человека с такой духовитой прической, и в лице его отразилось искреннее сожаленье, когда тот постыдно бежал со схода. Презирая победенных, деревня проводила его свистом и хохотом; кто-то пронзительно мяукал, кто-то смешливо советовал отправить к скотъему доктору красильниковских овец для тайного обследования. Так, в обстановке шуток и веселого препирательства, Увадьев приступал к голосованью.

Стоял вечер — не вечер, когда луна уже лик кажет, а солнце еще не тухнет на краю земли. Оранжевое пламя зари проникало все; в деревьях, верилось, текли оранжевые соки; черные руки, поднятые за снос скита, пылали тем же оранжевым светом, и даже мычанье коровы, отставшей от стада, представлялось тягучим и оранжевым. Совершенную тишину, пока Пронька считал голоса, пробуравил жук и застрял где-то в липкой, оранжевой мякоти. За это время случилось только одно происшествие: увадьевский картуз упал с перилец, и Ку-

земкин, давно томившийся неопределенностью, бросился эго поднимать, но не поднял, а кинул на прежнее место:

— Врешь, ляжи тут! — и с отчаяньем погрозился картузу.

Глубже вдавливались тени вещей, цвета таинственно менялись; рождалась неосязаемая голубизна, — она густилась, плотнела, и мнилось — ее можно было скоблить отовсюду и, как синьку, растворять в воде.

— ...сто восемьдесят семь... восемь... девять. Эй, не стесняйся, товарищ! Двести один, два...

— Да нечего уж, единогласно, — нетерпеливо вставил Лукинич.

— Не спеши, друг, я и сам по баньке соскучился!.. — Был субботний, банный день. — Двести одиннадцать, двенадцать...

Мальчишки с гиканьем прогнали коней в ночное. С реки дохнула ночь. Перепел где-то за околицей начал перепиливать свое скрипучее полено. И еще прежде, чем босая нога Куземкина ощутила росу, участь скита была решена: скитское место предоставлялось под лесозавод, имеющий быть воздвигнутым в ближайшие три года. Монахам давалась свобода итти в любую сторону или гибнуть лютою гибелью, а самые строенья кто-то предложил даже запалить с четырех сторон, что было отвергнуто лишь из опасенья лесного пожара. Уже разошлись, бабы разогнали телят по клетям, а Увадьев с Пронькой все еще писали протокол. Вдруг рука просунулась к ним сквозь перила.

— Картузик-то, — молвил знакомый голос. — Вот он, картузик-то!

Молча приняв услугу, Увадьев крупным шагом пустился домой; Куземкин бесшумно бежал возле.

— Эх, ноне инога за рупь укупишь, дешевое ноне стало люде! — навязчивым говорком лез он в мысль Увадьеву. — А за инога и рупь жалко, меня, к примеру. Каждый день разов семь помираю, а все смерти нет... А ведь когда сыт, на меня и смотреть зазорно: валяюсь и даже пес понюхать меня гребует...

— Ну, чего ты пристал! Я тебя не бью, не попрекаю: беги туда, может, и выгадаешь, — сказал Увадьев, замедляя шаг.

— Нужда, товаришш! — вспыхнул Куземкин, что-то учуяв. — В клопах, в нищете да в грыже, ровно в крапиве, живем... и я не ропщу, я ее даже люблю, нищету-то мою. Ведь я что! Назначь меня к Расее командиром, — а я ее пропью, ей пропью. А почему? А потому, товаришш, что мужик — дитё...

— Ну, брат, пора и вырасти! — в ярости гаркнул на него Увадьев и круто свернул в проулок.

Слышно было, как визгнула попавшая ему под ногу собака, потом Куземкин остался один. Вступала ночь, и целые реки запахов текли в ней. В скиту пробили девять. Соловьев не водилось в округе, но и лягвы в эту пору о том же самом, о соловьином, верещат. Куземкин подошел к избе и заглянул в окно. Пять его безнадежных невест хлебали скудную мурцовку, и ни одна из них не была моложе другой.

Видно учуяв человека за окном, крайняя к двери вышла на крыльцо и несмело окрикнула потемки.

— Погоди, Надък, кричат! — откликнулся Куземкин.

— Небось, Лукинич опять старика своего учит.

— Не, то в скиту крик!

— Не в той стороне, глухарь! Ишь, Лука взрыдывает... — возразила дочь и, зевнув, мысленно пообещалась: — погоди, станет время, и тебе водички не дам попить!

Ее-то уж больше всех распалая досада на отца, который еще утром посулил ей залобанить инвалида в женихи.

### 3

Пустословила она не зря: Лукинич жил не в ладах с отцом, Лукою, который состоял нянкой при собственном внуке; большеротый и слюнявый этот младенец если не кричал, то спал, но если спал, то поминутно гадился. Даровую свою няньку председатель содержал в черноте, кормил обедком, водил в обноске и, частые распри завершая дракой, норовил ударять старика в то гладкое и непрочное место на голове, под которым, по неписаной мужицкой науке, средоточится у человека память. Уже окостенел старик от своего житья, уже явилось во взоре его то совиное безразличье, которое простые люди относят к мудрости, а еще помнил много, и Лукинич справедливо опасался, как бы не вытекло из старика заедино с болтовней лишнее и вредное слово о нем самом. Все они, Сорокаветовы, жили до отвращения долго и в большинстве погибали не своим путем; не потому ли и отмалчивалась деревня на писк и вопль, исходившие по ночам из большого этого дома. Один только скитской казначей посмел вступить за каждодневно убиваемого Луку.

Произошло это вскоре после того, как прибили на скитские ворота бумагу о выселении. Целый месяц, пока не смыло ее знаменитыми впоследствии дождями, Тимолай читал всем желающим, нараспев и по складам, мирской приговор о своей ненадобности. До поры, однако, все оставалось попрежнему; только по несколько раз в день наезжали паромы со строительства и набирали песку, которого вдоволь за тысячулетья наметала здесь река. Берег оползал и раньше, образовалась крутая осыпь, и при каждом дуновении непогоды струились вниз песок и гравий; корни деревьев повисали над пустотой, как разоренные гнезда. Когда же вонзились внизу новехонькие, еще певучие, лопаты, стало ясно, что не сегодня-завтра поползут вниз Вассиановы огороды. Тут еще и другая, внутренняя подступала осыпь: среди молодых, о которых особо поминалось в объявлении, неслыханное началось брожение, и вслед сбежавшему Виссарionу многие посмотрели завистливыми и робкими глазами. С этого и началось; приходил кроткий Иов к игумену, просил разрешения на брак с одной пожилой девицей, при чем уверял, что в женатом облике он еще ревностней станет служить

господу. Двух других попросту выгнал Филофей за срамоту и смуту, а четвертый, престарелый скитский сапожник, собрался с духом да и подал в суд о взыскании жалованья за все сорок три года беспрестанной работы в скиту. Поддуваемые с другого берега, тлели людские угольки, и Вассиан видел однажды вечером из огорода, как в лодке, управляемой Прокофием Миловановым, переправлялся на скитский мысок московский комиссар. Направленье они держали к самому тому месту, где, незлобиво распевая тропарь, уже второй вечер косил Тимолай. «За ним, за последним охотится. Эка, четверорукий, до всего до-стает!» — уныло смекнул казначей и заранее предсказал Тимолаю убийственную Геласиеву славу.

А Геласий уже зверовал под Макарихой. Тотчас по растрате скитских рублей бежал он в леса и жил там неделю, питаясь и ночуя звериным обычаем; потом, когда чуточку свойлочились волосы на душевной ране, вышел на мокроносовское гумно и попросил есть. Веяли там бабы прошлогодний урожай, дали ему со страху лопату зерна, и он опять вприпрыжку умчался в лес: еще пугал его человеческий голос. В поисках себя самого плутал он по дебрям и ночью, когда в Соти отражалась звездная вечность, на весь лес кричал свои кощунства, но ничто не случалось. Так родился слух в селе Пятница, что на Енго, будто за безумным монахом бродит по сухим болотцам напрасно оплеванная им богородица; бабы советовали мужьям прикончить Геласия домашним способом, раз уж с пружины сорвался человек. Но вскоре, когда покраснели от смолки старые пашни, Геласий вышел сам из лесу и нанялся к Федоту Красильникову пилить дрова. Вся женская половина села ходила смотреть сквозь плетень, как, рванный и утерявший облик человека, ворочает он без отдышки огромные березовые кряжи. К пригону скотины баб набралось множество; покачивая головами, они вспоминали всю родословную Геласия, нищих и бродяг, от которых он и получил свои бунтовские дрожжи.

— Ишь, ворочает! — и ласкали несатым взглядом злые, бегучие Геласиевы мышцы. — Мы и лошадьями столько не работаем.

— Монаху что, ему житуха сладкая... — сбиралась подзадорить другая и не договорила.

Беспоясый и босой, с маленькой до удивленья головой, сам Красильников вышел расплачиваться со своим необыкновенным батраком. Он имел обыкновение платить медяками, чтоб казалось больше, и еще водкой, которую, со времени закрытия макарихинского Центроспирта, ставил вчетверо против казенной цены. Приняв бутылку, Геласий угрюмо смотрел в сторону, на оглоблю, торчавшую из-под навеса. Тут до него и дополз, видимо, неосторожный бабий шепоток; сгребя всю медь с Федотовой ладони, он неистово метнул ее в толпу и стоял с оскаленными зубами; однако, никто из бывших по ту сторону плетня не поднял ни монетки, словно были они раскалены или заклеены отступничеством. Потом, лопатами раскинув руки, он пошел вон со двора. По пустой, разом вымершей улице он направлялся на мокроносов-

ский сеновал, где имел пристанище по старой дружбе, и вот тут-то, близ Савинской лужи, никогда не просыхавшей, носом к носу столкнулся с Увадьевым.

Как тот ни спешил, а все-таки остановился; не столь задержала его откровенная бутылка в Геласиевой руке, сколь самый вид его: был он в стоптанных бахилках, а прикрыт рваниной, проплатанной цветным лоскутьем. Стоя наискосок, они созерцали друг друга с каким-то тупым недоверьем, и тотчас же их окружила орава детей, восторженно ожидавших какого-нибудь события.

— Хорош, очень хорош, — раздумчиво сказал Увадьев. — Эх, шут преподобный, до чего дошел, а все впустую мотается твоя машина. Что ж, заходи вечерком как-нибудь чайку попить...

— Я тебя, погоди, вечерком убивать приду, — еле слышно отвечал Геласий; он стоял посреди самой лужи и ничего не замечал.

Увадьев только засмеялся:

— А убивать — тогда пораньше приходи, а то я спать рано ложусь. Я, брат, не свой нынче человек... дела все! — и, не кивнув, прошел мимо, даже задел локтем Геласия, который не посторонился.

Мокроносов был тот вечер в отъезде, и оттого завладела Геласием на ночь Васильева ватага. На лесном ручье стояла замшелая красильниковская маслобойка, сплошь склепанная из дерева, без единого железного гвоздя; под колесом водились налимы, ивовые ветви мокли в воде. Здесь, у костерка, в котором пеклись яйца, еда пьяниц, обычно и озоровал Василий; Геласий, видно, служил вместо перцу в его пресных забавах. Изредка пососав из круговой бутылки, он неуклюже плясал в зыбком свете костра... и тут выходил из мельницы старик с налимьей харей, управитель и работник еще Васильева деда. Посмеиваясь куда-то в кривую скулу себе, он глядел на куцую отрасль знаменитого рода и вот пригибался к хозяину... В открытую дверцу рвалось пыхтенье гранитных медведей и тупые вздохи пестов.

— Глянь, Вася... ровно с пружинами инок-те, а тебе и полножки не дадено. Не робей, зато ты богатенький... эва, точно паша промеж холуев своих сидишь!

Василий морщился; в действительности он стоял у костра, а всем казалось, что он прочно сидит на травке.

— Ты кради, кради свое масло у помольцев! — вскипал он и тут же развлеченья ради выщелкивал угольки из костра под босые и такие неистовые ноги Геласия: не радовало его это наемное веселье.

— Как тут украдешь, закон: девять колобьев, девять фунтов на пуд! — и снова склонялся криворотый маслящик; любил он задор, еражения, грозу, а больше всего огонь в живом человеке. — А у душишки твоего, Вась, кони были — страшно к конюшне подойти. А он, бывалч, вскочит, ногами стуканет, вдарит кулаком промеж ушей и скачут, два чорта. И никто не знает куда, зачем, а скачут... До гроба молодым был.

— Уйди, не трави, — защищался Василий и жевал обесцвеченные тоскою губы.

Старик приносил блюдечко свежего, пахучего масла, и они опохмелялись им до изжоги. Ныла инвалидная душа, все выискивала поступок, который вернул бы ему утерянную доблесть. В десятый раз бегала в Шоноху неутомимая шинкаркина девочка и все боялась приблизиться к этой яме огня и неистовства; в ней все еще скакал подпекаемый Геласий.

...что ты, что ты, что ты, что ты —  
я и сам бясовской роты,  
полосатого полку,  
скачу до потолка!

...у костра и заснула оголтелая дюжина, а когда проснулась — только выбитая земля свидетельствовала, что здесь било и подкидывало скитского бегуна. На этот раз он пропал надолго, и толковник Лука клялся, что глупого парня присосала в себя трясина, отчего и прорыжела горькая болотная вода; противники же Луки полагали, что Геласий вернулся в скит, и там повелено ему стоять год в древесном дупле, на манер древних подвижников, которые вдоволь имели времени и не на такие затеи. Смеялись, видно, спорщики: скит оголился, разруха просочилась сквозь частокол, старики оставались одни, самые двери бежали с петель. Всего за полторы недели до Троицына дня исчезнул небурный Тимолай, вздумавший, видно, околицей добрести до неба. И чем цветистой распускалась весна, тем плотней сгущалась тьма над северною Фиваидой. Близ обеда сбирались старики на ту самую скамью, откуда еще недавно размечал карту будущих сражений Увадьев, и безмолвно дивились образу, который принимала на Соти подстегнутая история. В старых книгах, замкнутых в торжественные кожаные гробы, они искали ответа недоуменьям, но не было там ни о революции, ни о целлюлозе, а стояло расплывчатое и косноязычное слово: антихрист. И верно: две тысячи зачинщиков нового закона на земле копошились под Макарихой.

— ...палачики, убивайте нас! — надсадно кричал Устин рабочим, прибывавшим за песком; в мученичестве заключалось оправданье векам бестолкового жития, а те, отирая пот с лица либо закуривая, весело звали их к себе, в пыль и скрежет лопатный.

На их глазах вырастали над котлованом строительные леса; туча, шедшая с запада и светившаяся, как опал, чудом не распарывала о них свое сизое брюхо. На фундаментах, выведенных до нуля, уже покоилась путаная каркасная паутина, которую должна была облить стройная бетонная плоть. Это не похоже было ни на орудие пытки, ни на скелет апокалипсического зверя; голос его вселял не содрогание, а странную смутительную бодрость; ночной звук вспахивал тишину, проникал вещи, изменяя их значение в мире, и на каждой хвоинке потом оставалась какая-то неистребимая его частица: то был ночной гудок, по которому приходила вторая смена. Они видели, как голили макарихинское место; крючьями, как на пожаре, растаскивали срубы,

ворошили мшистые кровли, и далеко неслась по ветру их цветная, горемычная труха. Самые корни Макарихи выдергивали из земли, засыпали песком колодцы, ветхий лес пилили на пар и силу... Миллионы существ, если считать всю домовную насекомую нечисть, потеряли в те дни покой и жилище. По дорогам сломя голову бежали тараканы, скулили домовые по ночам; Фадей Акишин, всеплотницкий староста, даже помолодел от веселого разгула ломки.

Давно привлекал его внимание угрюмый красильниковский дом, лаженный на крюк, из десятивершкового леса, с круглыми углами, обильный галлерейками, обреченный стоять до скончания планеты. Трудно было решить, откуда начать валку, и артель пристально наблюдала за своим вождем, как он таинственно нюхал углы или благоговейно постукивал обухом в темные, заподлицо отесанные стены.

— Не людьми ставлено, видите ли что: жалезом звенит! Не, но-нешнему топору старого дерева не взять: искра пойдет!

— А ну его к чорту, спалить его!—советовали земляки, подмигивая прорабу.—Он, бат, задубенел, дом-от. Еще и не тронули, а уж, гляди, взопрел ты, дядя Фадей!

— Рушить работа умственная,—хитро посверкивал глазком Акишин, и все разумели, что вот так же и кошка заигрывает насмерть свою добычу.

Он все-таки не устоял перед новым топором, этот черный ящик, в подпольи которого еще скрипела и охала огромная мохнатая душа. Обиженные владельцы не поехали в Новую Макариху, где поставили им скромную, в три окошечка, по числу душ, избицу, а переселились к себе на маслобойку и туда же перевезли на тринадцати подводах весь свой скарб. Мужики оттягивали выезд до последнего срока, и некоторые видели, как раскатывал Фадей вековые красильниковские бревна... Однажды длинная очередь подвод потянулась из Макарихи. Старухи несли скоробленных богов на полотенцах; бабы гнали скот, который мычал и блял, не доверяя заново проторяемой дороге; мужики задумчиво шагали сбоку телег, где, поверх обиходного скарба, тряслись резные оконные наличники. Одни лишь ребятишки, радуясь всякой премене, скакали впереди, дразня собак. Бездельная, ленивая пыль поднялась и осела, а берег опустел.

— Не уходите, не уходите...—шептал Вассиан во след уходящей Макарихе и цеплялся за прелое дерево скамьи.

Неделю мужики привыкали к новому месту; старую резьбу прибавляли на новые окна и негодовали, что нехватает резьбы: новые были глазастей. Старухи бечевкой обмеривали свежие, чистые избы и роптали, что новые просторнее и выше на аршин... Скучно было без теплого, домовитого клопа, без грязцы, без настоянной телячьей духоты; жаль было вольготного и нелепого прошлого, но которое беспощадно наступил Сотьстрой, а еще страшней неопределенность будущего. Пугала вдобавок и щедрость новых соседей, подаривших школу, клуб и обещавших больничку от неизяснимых советских милостей. А когда

привыкли, стали рыть колодцы и втихомолку перенесли с перекрестка часовену, в которой тотчас же завелся проворный и безгласный мошашек.

В одну из ночей буксиришко, пользуясь высокой водой, притащил землечерпалку; гремя цепями, чудовище выжирало вековое лоно реки: здесь намечалась лесная гавань и приемные трубы водонасосной станции. Река молчала, но желтая кровь длинными полосами прочертила ее текучее тело. Чудовище исчезло ночью, как и появилось, а утром сотни людей потянули через реку, чуть наискось, стальные тросы и могучие пеньковые канаты; они сооружали запань, преграду для молевого сплава, основные массы которого уже тащились где-то по верховьям. Река цвела людьми, а люди песнями, и хотя была суббота, Кир не посмел ударять в скитское било: да и некого становилось звать на вечерни...

— ...все медлил враг. Строители полюбили это место, с которым связала их судьба. Стройке, которая сотни раз повторялась на материке, они придавали особое, величественное значение; когда представитель губернской инспекции спросил у Фаворова, что делают на машине, чертеж которой валялся на столе, тот ответил с задором: социализм!.. А то была всего лишь монтажная схема машины для дезаэрации воды, которую изготовляли для Сотьстроя в Германии. «Ловок на язык!»—не без зависти подумал Увадьев, заметив улыбку Сузанны, а сам тем же вечером крикнул на производственном совещании фразу, хлестнувшую, как лозунг: «Работайте, как черти! Про вас песни сложат...» Не было, пожалуй, надобности их понукать, и Потемкин верил, что только из ложного достоинства Ренне, старейший возрастом, держался за свой скептицизм.

— Вы чудак, Филипп Александрович,—убеждал Потемкин, и исхудавшие пальцы его играли, как у пианиста,—вы все еще видите в нас беспочвенных босяков, посягнувших на историю. Вы заражены старыми, российскими масштабами... для вас и Петр катастрофа! Ха, босяки правят богами... так? Но, даже минуя огромные социальные смыслы, кто, кто из прежних русских буржуа мог бы затратить тридцать миллионов на целлюлозный комбинат?

— Пока только шесть,—веще и сухо поклонился Ренне и глядел не в глаза, а куда-то в пестренький поясok Потемкина. — Вы живете сто лет спустя—я теперь—я инженер—я заведу лесозаготовками. Техника не любит наивных — вы хотите высшую математику заменить элементарной! Может быть — вы пишете стихи?

Потемкин махал на него руками:

— Ничего, пускай... я люблю скептиков, это как соль. Только не говорите этого Увадьеву!.. Он бросил курить и ходит злой... и потом, как бы это сказать, нет в нем мясного состава, он из другого вылит, из красного чугуна... он не поймет! А мне не хочется, чтоб вы ушли... ушли, не убедясь в нашей правоте. Читайте газеты, Филипп Алексан-

дрович, читайте наши газеты... там значительно все, от заголовка до объявлений!

Ренне со снисходительным лицом сцарапывал незримое пятнышко со своей старомодной, с острыми полями, фуражки:

— Вам надо к доктору—у вас глаза—нехорошо.

Именно Потемкин, чувствуя окрепшую силу своего детища, и предложил однажды сохранить скит, как людской заповедник, чтоб и через полсотни лет жители города Сотинска могли удостовериться, в какие смешные игры тешились предки; кстати нужно же было где-нибудь сохранять барулинскую медаль с толстым лицом предпоследнего царя! Шутки его всерьез никто не принял, но как-то случилось, что неписаное это постановление прошло в жизнь, и напрасно Фадей Акишин, войдя в азарт разрушенья, терзал по праздникам увадьевское терпенье. В такие дни, по необъяснимой причуде, он надевал линялый пиджак, доставал из сундучка картонную лошадку, купленную у бродячего торговца игрушками Фунзинова, и ходил с нею всюду, ища Увадьева. Пусть бы только расспросил, а уж тут и расскажет Фадей и про внука, и про погибшего его отца, и про весь свой могучий род, и про все, что приключалось с ним, пока пробился сквозь толщу крепостного столетья до Фадея.

— Эй, хозяин, когда монахов-то трясти почнем? Не скупись, рушь, комиссар, построим вчетверо.

Увадьев принимался и грозил пальцем; не нравились ему мулицики, с желтой искоркой, глаза Акишина.

— Опять пьян, ровно антипкин кобель? Выгоню я тебя за ворота, старого чорта.

Статный во хмелю и даже щеголеватый чуть-чуть, усмехался Фадей и выставлял вперед своего конька:

— Ты вот его пужай, бумажная душа, а меня не испужаешь. Мне пьяному-те семь рублей в сутки цена, видите ли что. Нет в тебе, чтоб понять ремесленного человека, жестокосерден ты, хозяин!

Не вынося никакой развязной задушевности, Увадьев отплевывался и хлопал дверью. Тогда, обиженно подмигивая лошадке, глядя облыселый круп ее, расписанный как розан, старик отправлялся в скит: это было единственное место на свете, где еще не ведали его занимательных историй. Его встречал сам Вассиан, мастер на всякую дипломатию, и вел в трапезную пить чай; туда, поодиночке, чтоб не пугать редкостного гостя, собиралась вся скитская верхушка. Не притрагиваясь к угощению, трезвея с каждой минутой, Фадей молчаливо восседал на почетном месте, а лошадка покачивалась рядом, на шатком столе.

— Что деется-то?—начинал Кир и придвигал деревянную миску.— Ты капустку-то кушай, во хмелю капустку хорошо. Ты смешной, ты шутливой, в гроб глядишь, а с игрушкой ходишь... Что деется-т?

— Ничаво,—хмурился Фадей и прятал лошадку за пазуху оземеневшего пиджака, который сидел теперь на нем мешковато и глупо.— Все в аккурат. Маненько на Кавказе земля тряслась. Теперь утихла.

— Англия-то что?—с неуверенной надеждой вопрошал Вассиан, поталкивая Кира, чтоб молчал.

— Англия ничаво, стоит.

Вассиан долго и мелко смеялся, и вдруг спрашивал ненароком:

— Ультиматум-то боле не засылали?

Тогда вскакивал Фадей, и лицо его перекручивала злоба:

— Чего, чего сидите, почто не гибнете!—кричал он, и плотничий кулачище вздымался над капустой.—На рупь, злодеи, веселья мне испортили... Кого, кого, о чем спрашиваете? Может, я и сам теперь...— Он не договаривал и крепче прижимал лошадку к сердцу.—Кто Волховстрой строил... я! Кто на Кашире всю опалубку вел... я! На Шатуре кто дома воздвигал... Кто сына моего на границе убил? Мое, плоть мою... ну!! — Его ярила неотстоявшаяся боль по сыне, пограничнике, подстреленном из-за рубежа, и Вассиан прёдусмотрительно отодвигал капусту. — Чего не дохнете... в черноту оделись... Мрите, всяко мрите, от водянки, от зудной хвори, мрите пока не поздно. Тошно мне с вами! Ровно маятник я промеж вас, головой вниз, мотаюсь... там страшно, а у вас и пакостно. Плевать мне, плевать на ультиматум!..

Он бесповоротно уходил, величественно и навсегда, унося лошадку за проредевший волосяной хвост; по горькой обязанности Вассиан провожал его до парома.

— Кинь словечко-то на прощанье, от доброго слова не обедняешь!—напоследок выпрашивал Вассиан.—Додушат нас как мух, аль не допустят?

— Чево, сами полопааетесь.

На воде оставалась от парома широкая, недолговечная дорога; глядя на нее, хотелось Вассиану бежать, догнать Фадея, спросить то главное, страшней чего нет в мире,—затмилась ли навеки правда? Но дорога растворялась в теченьи реки, и Вассиан еще печальнее подымался в гору. Единственный выход оставался братии: перенести Фиваиду дальше на восток, где бродят еще нестреляные звери, лежат некопанные земли, живет неграмотный человек. Уйти предполагалось ночью, а остатнее место пустить огнем. Евсевия, благо и весил мало, должны были нести по очереди Филофей, Феофилакт и Ксенофонт, беглец афонский. Уже смастерил Устин подобие креслица, обшитое войлоком, на манер козули, как носят каменщики кирпичи на стройку; уже натащил Филофей сухого можжевелевого хворосту охапок тридцать в хлебню, откуда час спустя по уходе должно было возникнуть пламя; уже назначена была ночь ухода, как вдруг наступило непредвиденное обстоятельство: заболел Евсевий, и болезнь его была смешная — насморк.

Тогда, осознав в нем еще живого человека, братия спохватилась и несколько раз выносила Евсевия на воздух; так и мещане проветривают время от времени содержимое глубоких укладок. Прикрытый кисейкой от комаров, святой недвижно, как чурбак, лежал на соломенном тюфячке, маленький и уже подсушенный знойкими ветерками смерти.

На четвертые сутки, когда освоились со светом его ослабшие глаза, его перенесли по собственной просьбе ближе к берегу и подсунули под спину мешок с мякиной, чтоб святой мог сидеть и видеть... Должно быть, многое переменялось за те десятки лет, которые пролежал Евсевий в своей прижизненной могиле. Цветистые зеленые пятна сумбурно распускались впереди, а в них качались алые шары, и он обиженно покачал головой, когда ему сказали, что это шиповный куст, сплошь облитый цветами. Нет, видно его обманывали... Сюда, где раньше сладостно тешила слух тишина, врывалось теперь перебойное гуденье локобиля, а там, где ускользящая Соть мощно взбегала в небо, простиралось серое первозданное месиво; да и то немного, что еще доступно было глазу, застилало старческой слезой. Он огорченно отвернулся к братии и, с трудом разглядев их озабоченные лица, понял, что от него, пока не утерять дара речи, ждут они последнего поученья.

Он заволновался, заискал в памяти, но его душевную пустыню не посетили никогда ни истинная страсть, ни путаные муки преступленья. Самый мир был ему не сложнее детской картинки, нарисованной цветным карандашом... Зажмурясь, он с усилием припомнил какой-то пожар, свидетелей которого уже не оставалось в живых; потом вспомнил старца, бывшего до него приманкой богомольцам,—своевольного и умного старика, к которому он питал благоговейную зависть; еще не забыл он пухлую одну барыню, целый час терзавшую его исповедью в грехах, в сравнении с которыми померкали и багровые цветы Содомы... она шипуче наваливалась на молчальника прелой грудью, полную мерзости, и сама исповедь ее была блудом. — Страшась, что братия разуверится в нем и кинет его, беспомощного, на скитском берегу, он решился на свое последнее унижение.

— На восток взирайте,—полуслышно прошелестел Евсевий слова, украденные от помянутого предшественника.

— Отродясь взирали на восток!—дружно отвечала братия.

Евсевий помолчал и вот начал мелко и часто чихать, и все стали переглядываться, не зная, имеет ли и это свое место в поученьи.

— Хорошим людям не завидуйте, а придите и поучитесь от ихнего быту...—Он почти задохнулся от длинной фразы.—Огня бойтесь, баб бежите...

Смущенной братии показалось, что пастырь шутит над ними; престарелым овцам его нечего было опасаться женского соблазна. Стоя на пороге иного бытия, он лишь приоткрывал им дверь, у которой все они толпились; старик и сам понял это. С минуту он ревнивым взором ощупывал братию, и когда заметил подавленную усмешку Филофея, грозное и тщетное негодование овладело им: еще шалил в нем удивительный огонек жизни.

— Блудник, блудник...—застенал он, прерывая крик чиханьем.— Где, где у тебя лик? У тебя на шее лик, сполз, сполз... Лови его теперь, лови!

Так ничтожный жучек перегрызает уцелевшие волокна дерева... По наущенью опытного Вассиана, Кир далал большому плесневый хлеб, в надежде, что вместе со рвотой изойдет из него и хворь. Евсевий плакал, но ел, и уже по тому, как он жевал, с усилием подтягивая челюсть, видно было, что ночь его близка. Лежа в постоянном и мокром знобе, как в воде, старец капризничал, чудил и как-будто даже пахнул меньше. Вдруг по неизъяснимой прихоти он позвал к себе любимца своего Виссариона; он призывал его настойчиво, три дня сряду, и тут-то порешился Вассиан сделать тайную вылазку на противный берег.

А очутясь в Макарихе, надоумился казначей навесить кстати и Лукинча, который в прежние времена никогда не отказывал в совете. В доме было тихо, но из закрытой каморки доносилась воркотня и тоненький всхлип. «Видно, мальчишка животом мается. Эх, просвирочку бы захватить!»—подумал Вассиан и тихонько заглянул в щелку двери. Председатель вплотную и с занесенной рукой стоял перед отцом, а тот сидел в шапке, держась руками за темя и скосив глаза на пудовые Вассиановы сапоги, предательски торчавшие из-под двери. Не мешая сыну учить отца, Вассиан неслышно присел на лавку и сидел долго, пока не начало клонить в дремоту; тут и вышел Лукинч — почему-то с деревянным уполовничком в руках.

— Вам чего, гражданин? — зловеще спросил он, и в левом глазу его, ближнем к окну, родился ястребиный блеск.

— Из жизни, браток, выселяют!—всхлипнул казначей, делая вид, будто ничего и не видел.—Песочек, браток, из-под берега берут, в пучину осыпаемся... аль на святой-то земле крепче капищам стоять? — Ему показалось, что неуместно начал жаловаться; следовало сперва пошутить, а когда разойдется машина, тогда и действовать.—Избица-то новая хороша! Клопа-то не завел еще? Хошь, браток, я тебе притащу парочку в бумажке, на разведенье, а?—Он потыкал пальцем в черепок с бальзаминном, опухшим, как в водянке.—Полей, браток, травка водичу любит!

Лукинч все глядел на казначей, слушая только всхлипы из каморки, и вдруг заговорил. Мимоходом помянув про старинных праведников, бравшихся при случае и за меч, он указал, что скиту уже составлен приговор, и единое спасенье в том, чтоб пристращать кого следует несвоевременным огоньком. «Смолевата тесина от недоброго взгляда возгорается». В этом выразилась вся степень его душевного переполоха; вряд ли он надеялся вызвать скитчан на дурость, а потом сткритием заговора починить свою репутацию: уже и теперь доносом на неблагополучную деятельность Виссариона он мог бы наверстать упущенное. Лицо его потемнело, усы распушились, когда утверждал, что в ночах солнца нет.

— ...в ночах луна светит!—несмело возразил казначей и тут же прыснул в горстку старческим смехом: явно, председатель шутил над дураком, а шутит — значит выход есть и из горящего дома. — Грехо-

водник, а греховодник... ты б его в башку не бил, старика-то своего! Старикам в голову вредно... — Одерзев, он даже предложил дарма подшить валенцы, торчавшие дырами из печурки.

— Ага, ты мне взятку хочешь дать?—значительно произнес председатель, приподымаясь и раскрывая страшный глаз на казначея.— Так ты хочешь подкупить меня?..

Может быть, он и теперь еще шутил, но Вассиана из избы точно ветром выдуло.

## 4

Был вечер; задрав хвосты султанами, мчался скот от оводов, и Вассиан сразу попал в пыльную гущу движенья. Едва уклонившись от осатанелых коней, он метнулся в коровью половину стада, и тотчас одна, черная и со стеблиной болотного остреца в зубах, наскочила на него сбоку. Лежа комочком на земле, он закрывал голову руками, а та стояла как бы в раздумьи, стоит ли пороть рогом этот отяжелевший старческий зад; так он пролежал бы и неделю, если бы кто-то не вывел его из опасности. Только на крыльце Пронькина дома, где на хлебах обитал Виссарион, он признал свою спасительницу, еще недавнюю гостью скита; она шутливо спрашивала, не ушибся ли казначей при паденьи.

— Маточка, я животом ударился, а в нем костей нету. Уж очень я, маточка, коров боюсь; гусей тоже, а пуще коров...—Он сокрушенно просунул палец в дырку своей ряски, продранной при паденьи.—Тут, маточка, бегун наш где-то обитает!

— Я тоже к нему,—сказала Сузанна, имея в виду Виссариона.

Плечи казначея так и вспорхнули:

— ...тоже к нему? Ой, вот удача! Боязно мне его видеть, лютой правды на скажу, а как встренетесь, шепните ему, маточка, чтоб скиток-то навестил. Смеркается наш Евсевий, гаснет, со смертью трудится... и все по нем тоскует. А коли страшится, как бы со службы не уволиди, так ночью бы... ночью, когда все начальнички спят. Я бы в лодочке подождал под бережком да и сvez бы на часок. Попроси его, маточка, корить да задерживать не станем: какой монах, только шкуру спасал... а тебя заране спаси бог, маточка!—и побежал, ликуя благополучному окончанию вылазки в мир.

Сузанна поднялась на крыльцо и, потянув за веревку, вошла в дверь. Полутемные сенцы загромождал плотничий верстак с недоструганной, свисавшей к полу тесиной; дальше, в зеленоватом полумраке двери, выведившей на двор, умывался из глиняного ручной-ничка высокий парень. Он вопросительно повернулся к гостю, и вода текла впустую из его сомкнутой пригоршни.

— Кого?—спросил он, наконец.

— Вас,—сказала Сузанна.

Он перестал умываться и с сомнением покачал головой.

— Наверно, Проньку ищите, нас всегда мешают, мы похожи, только я хромой.—Он снова нагнул рукомойник.—Прокофий в ячейку пошел. Из ворот выйдете—налево, а там увидите савинское окно, голубенькое.—Плеща и фыркая от ледяной воды, он продолжал умываться, а Сузанна не уходила.—Проводить, что ли?

— Мне вас надо,—повторила она, трогая стружки на верстаке.

Она пропустила его вперед, и опять он шел затылком назад, сам не замечая сходства с одной незабываемой встречей. Войдя, он вытерся докрасна полотенцем и стал готовить себе еду: накрошил в квас луку и хлеба, а другой ломоть густо посыпал солью.

— Я еще не ел с утра. Хотите со мной?—Она отказалась, он искусственно засмеялся.—Пока все очень таинственно. Хотите, предскажу все наперед? Вы, наверно, как и Пронька, в газетках пописываете. Кроме того, вы меня видели однажды в этом дурацком черном балахоне, и теперь вам любопытно, как это монах, служивший не один год некоей высокой тайне, мог так легко сбежать на другой берег... на другой берег жизни! — поправился он, добавляя соли на ломоть. — Только смотрите, на мне не заработаете: Пронька раза два уже писал про меня в газету. Но я могу об'яснить и в третий раз: видите, в этой тайне вот уже тысячу лет ничего не скрывается. Это есть не более, как опиум для...

Сузанна усмехнулась; развязная грубость речи его плохо вязалась с тонкими, еле огрубелыми руками.

— Вы ошиблись,—прервала она.

— Кто это, я? — Он ел с аппетитом, и висок, которого целиком не заслоняла прядь, пророзовел.—Да вы только Евсевия этого возьмите: пройдоха, каких мало!

— Слушайте, Виссариион, я пришла не затем...—Кажется, ей надоел этот благонамеренный разговор.—Знаете, вы сильно постарели с тех пор...

Он отложил ложку и щурко посмотрел на гостью; потом, как ни в чем ни бывало, полез в печь за кашей:

— Вздор, я вижу вас впервые.

— Я думала, что вы сохраните обо мне более глубокое впечатление.—Она кивнула на его хромую ногу.—Я попала в вас все-таки... я вовсе не хотела уродовать вас.

В замешательстве он уронил заслонку и вдруг вспомнил и непостижимый вихрь той ночи и этот чуть косящий глазок.

— У меня после войны вообще стала плохая память на лица, а стреляли в меня много раз...

— Надеюсь, по другим причинам?

Надо было сдаваться:

— Не смейтесь,—сказал он тихо, забыв про кашу.—Я ликовал тогда, как мальчик, которому подарили целый мир. Нет, не то, как тот дикарь, которому удалось похитить сердце девушки...

— Это не совсем похоже, про дикаря и девушку... но пускай будет так: О нас лет через сто еще наврут и не такое! Налейте мне квасу, хочу пить!.. — Напрасно она ждала, что он расплещет, наливая в глиняную кружку. — Спасибо. Теперь рассказывайте, как вы жили потом.

Ему уже некуда стало прятаться:

— Вы интересуетесь для себя? — защищался он как умел.

— Было бы невероятно, чтоб вы хотели обидеть меня... именно теперь. Я слушаю, мне интересно.

— ...сперва все бежал, потому что по мне ходили чужие ноги, и мне было больно, потом скрывался и плакал, как Иеремия у стены..

— Я плохо знаю библию и не помню, по какому поводу изнурял себя старик.

— Он плакал, когда разрушили стены... может быть, он предвидел будущее рассеяние своего народа, не знаю. Народы всегда начинают с песен, а кончают слезами. Потом я сидел в этом мешке, рядом с Евсеем. Потом был десятником... теперь меня хотят сделать завклубом. Мясо готово, и мне неважно, какое блюдо из меня сделают.

— Вы трижды приходили к отцу, — быстро вставила Сузанна, сгибая упругую сталь ножа.

— Я подчинен ему в работе, — так же поспешно объяснил Висарион.

Она продолжала перечислять:

— ...вы приходили к нему вечером, чтоб никто не видел. Вы живете у Милованова и бываете у Красильникова. Вы ездили в Шоноху, где сплошь живут старoverы и кулаки... что, вам не нравится газетное слово?

Он заговорил едко, в тон Сузанне:

— Да, я хочу взрывать мосты и демонически хохотать над революцией. Я хочу...—Он вспыхнул и повысил голос:—К чорту... я заполнял сотню анкет, я рядовой служащий Сотьстроя. Не мешайте мне жрать мой хлеб. Я устал и хочу спать...

— Не кричите, поручик!

— Мне кажется,—жестко сказал он, косясь на дверь, в которую поминутно мог вернуться Пронька,—мне кажется, вы спасали меня тогда не затем, чтоб предать меня теперь... когда я переродился!—Он вспотел, ему трудно далось это фальшивое слово. — Что вы хотите от меня?

— Прежде всего оставьте отца. Его и без того не любят на строительстве.

— Вы угрожаете, а я не боюсь. Если б боялся, я бы нашел способ убрать вас...

— Разумеется, сли бы о вас не знал еще один человек на строительстве!—решительно солгала она.

— ...Увадьев? Говорят, вы живете с ним. Что же, каждый пристраивается как умеет!

Она встала, и было похоже, что раскаивается в своем приходе.

— Странно, как всегда привязываешься к вещам, которые удается спасти. Имейте в виду, что ваш председатель приходил к Увадьеву говорить о вас... вам лучше всего добровольно убраться с Соти,— и потянулась за шляпой.

Она уходила как бы нехотя, а он не останавливал ее; у двери она сказала:

— Кстати, я совсем забыла: на крыльце я встретила монаха... ну, лысый такой! Он очень просил вас приехать туда... там умирает этот старик, старец. Повидимому, ищет заместителя себе.

— Евсевий... значит, он не умер еще?.. — В его лице читалось недоверие... — Слушайте, вы не то хотели мне сказать.

Она вздрогнула и распахнула дверь:

— Как быстро стареет наше поколение. У вас уже очень редкие волосы, поручик: вы скоро облысеете.

В окно ему было видно, как она торопливо пересекла улицу и стала подниматься на пригорок, с которого уже становились видны огни строительства. Он утомленно закрыл глаза, а когда открыл их, она все еще стояла на бугре, а вместе с нею Пронька; они разговаривали и, судя по взглядам, речь шла о нем, о Пронькином нахлебнике. Виссарион раскрыл окно, но лишь расплывчатые тени звуков отражались на тишине. Следовало бежать немедленно, прятаться, выдумывать новую маску, но само тело противилось этому; ему было приятнее сидеть здесь у окна, пить густой мужицкий квас, сплевывая пахучие стебли мятной травы. Он сидел и все поглаживал висок, куда вселилась взрывчатая какая-то боль. Деревней прошли местные комсомольцы, таща что-то огромное, укутанное в рогожи; из щели выбивалась паклевая борода. На завтра, в троицын день, во время обычного крестного хода из скита в часовенку готовили они свою контрдемонстрацию. — Невпример прежним мочливым годам установилась сушь; хлеба и льны никли под суховейными ветерками; бабы трех деревень замышляли водосвятный молебен о даровании дождя. Все иссохло до скелетного подобия; грудь опалаялась, вдыхая раскаленный огневоздух; вода горела бы, если б ее поджечь; камень не булькал, падая в колодец; в избах не зажигали огня из боязни пожара, и все-таки по деревням уже пошли за милостыней погорельцы...

Пронька приближался; еще было время бежать и поспеть к ночному поезду, если б нанять подводу. Вместо этого Виссарион налил новую кружку кваса и пил, но губы его оставались сухими. В квасной черноте отражался чужой, неузнаваемый глаз и, с жестоким любопытством смотря в него, Виссарион бегло вспомнил обстоятельства, при которых он так прочно вселился в Пронькины дом и дружбу. Миловановы всегда слыли безбожниками; в пору своих временных бегств тут жила Геласий, и даже самого Филофея Пронька принял бы с одинаковым радушьем, вздумай тот преступить разделявшие их века. В ячейке косились на такую душевную щедрость, но в пререкания не вступали, так как в застойный досотьстроевский период вся работа в волости

держалась только на нем; Виссариона же, в довершение всего, к нему привел сам Увадьев, прося приютить у себя до окончания рабочего поселка, — с того и прижился.

В недолгое время Виссариону удалось завоевать почти преклонение Проньки; его оружием были те знания, которые не успел растерять в послевоенных скитаньях. Вечерами шумно вваливался Савин, забредал с горя Куземкин, Лышев Петр и те из молодежи, кого пресытили каждодневные танцульки; иногда появлялся Геласий и присмирело сидел у двери. В несколько вечеров Виссарион попытался передать им величественную историю пути, которую проделал человек от ледниковой колыбели. Лектор увлекался сам, ему нравилось бросать свои камни и наблюдать, как разбегаются первые, еще нечеткие круги по нешелохнутым людским глазам. Мужики внимали с суровыми, готовыми лопнуть от напряженья, лицами, а Пронька еще больше благоговел перед тем всемогущим человеком будущего, которому стыдился показать свои черные руки и предком которого чувствовал себя. Присутствуй тут Фаворов, он сказал бы, однако, что Виссарион нарочно компрометирует науку; в вечер, например, когда добрались до тригонометрического, почти из магии похищенного треугольника, с помощью которого были расставлены верстовые столбы по вселенной, Виссарион говорил о страшной тесноте, в которую уходит человек от какой-то единой и первоначальной истины. Верно и то, что, дойдя до «рек вавилонских и до кровавых слез Иеремии», но и не мог вести себя иначе...

Везде рассыпавшая зерна, вызревшие в годы изгнания под манатей монаха, он с восхищением и ужасом ждал ростков. В разрыленную революцией сотинскую почву всякое можно было сеять, но уже не всякое дало бы небывалый урожай. Он все еще надеялся на что-то, но надежды его видоизменялись подобно облаку, которое формируют грозные ветры. Россия представляла ему уже не прежней, могучей и сытой молодкой в архаическом шлеме, как ее рисовали на царских кредитках; теперь она представлялась по-другому: будто в крошечной провинциальной глуши сидят мертвые земские начальники и играют в винт. Их тоже не особенно обольщает зевотный стиль третьего Александра, и оттого так приятно помечтать о звездах, которые загорятся через триста лет, — срок вполне безопасный для их мышиноного благополучия! Он не хотел назад, к мертвым, и вместе с тем его пугала ненастная весна, происходившая в стране. Был момент, когда в поисках нового позвоночника, который удержал бы его от окончательного падения, он готов был принять на себя эту почетную и тернистую обязанность: жить. Но в первом же разговоре Увадьев охладил его штурмовой упрощенностью своих воззрений: предку полагается иметь суровую и внушительную осанку. Ночами, пока Прокофий храпел, распятый на полатах тяжким мужицким забытьем, он слушал мерный скрежет чужого сна и думал о многих роковых различьях. Однажды ему показалось, что духовному преображению его мешает культура, этот скорбный опыт мира; она одна мешала ему заразиться наивной

дерзостью молодых. В этой замолчанной точке возникла и расцвела его нетерпимая идея. В игре стал намечаться исход: мертвые тащили к себе недостающего партнера.

Для выполнения плана ему потребовалось стать мужиком, и тут начиналась интеллигентская трагикомедия опрощения; чудак, он радовался, привыкая к изжоге и клопу. Гомункул из душевного подвала уже враждебно поглядывал в верхний этаж, где еще продолжал владычить разум. Виссариону нравилось стравливать их, как собак, и наблюдать летящие в драке ключья; нижний одолевал, а верхний оскорбленно безмолвствовал. Тогда Виссарион усилил процесс и катализатором избрал любовь; она не догадывалась ни о чем, Катя, Пронькина сестра. Она легко пошла на уловку молодого и выделявшегося из деревенских женихов постояльца; ведь он не заставлял жертвовать главным для крестьянской девушки сокровищем. Матовым румянцем, изгибом великолепной шеи, ленивой полнотой груди, способной выкормить хоть дюжину сорванцов, она прельщала походя, а Виссариону нужны были как раз другие качества, определявшие социальный и биологический портрет девушки; ее аммиачный запах, смешанный с ароматом вспотевшей плоти, ее хваткие, знающие сотню деревенских ремесел руки, ее неизощренное ощущение бытия, позволявшее видеть только крупное в мире. Получался сложный мозговой заворот, и нижний жилец торжествовал. Этот сводник устраивал им удивительные свидания при луне и без таковой; он заставил Виссариона купить в щонохском кооперативе дешевых духов для девушки, оставлявших бурые пятна как на платье, так и на душе; возможно, нижний с отчаянием искал надежного кустка, могущего затормозить паденье..

Стукнул крюк, и Пронька вошел; лицо его было озороватое, знающее. Присев на лавку, он тоже пил квас и время от времени подмигивал Виссариону, а тот все ждал; он ясно представлял себе, как может мстить мужик за обманутое гостеприимство.

— Ну, брат,—сказал Прокофий, отодвигая кружку,—видно и впрямь: как бедному жениться, так и ночь мала. Придется тебе завтра помаяться...

— Где ты пятен-то насажал?—в меру спокойно перебил его Виссарион, имея в виду измазанную краской рубаху хозяина.

— ...ребята просили, чтоб я тебя уломал:.. выступить завтра, после молебна-то, а?—И он расписывал, какой отклик будет иметь у баб выступление вчерашнего скитчанина.—Пятна—это мы хоругвы на-завтра расписывали.

Виссарион молчал; еще не ликование, а как бы душевная одышка захватила его: Сузанна щадила его вторично... или она поверила в его перерождение? Холодки сомнений побежали по спине... все казалось, что сейчас войдет поселковая милиция и станет обвязывать его веревкой крест-на-крест, как покупку вяжут приказчики. По улице проехала заводская таратайка; держа кепку на коленях, в ней сидел Бурого и внимательно смотрел на колесо. Его большая, качавшаяся на плечах

голова почему-то успокоила Виссариона; если бы что-нибудь произошло, инженер непременно взглянул бы в миловановское окно... С тем большей легкостью он отказал Проньке в его просьбе, и тот целый вечер носил на лице огорченье, за ужином бранился с сестрой, да и во сне-то все кричал озабоченно: назначенный на завтра бой впервые давался сотинской старине.

Виссарион задремал много позже и видел какого-то дятла у воюющей Теофилактовой канавы; дятел был до чрезвычайности похож на батарейного командира. Потом появлялся и сам командир с его любимой поговоркой: «Люблю прозябать, все какая-то надежоночка есть!», но каждый раз, даже раздвояясь, все оставался дятел на сучке; Виссариона пробудило осторожное прикосновение к ноге. Он вскочил, и спросонья ему представилось, что милиция уже пришла.

— Она врет, врет...—бормотал он, отползая в угол.

Пронька внимательно глядел на него при свете спички, а лицо его было веселое и извиняющееся:

— Слушай, вот толчок мозгам!.. Одиннадцать гармоний мы собирали, баян в том числе. Да еще Зудин из Шуши двухрядку притащил, а игрока нету... может, сыграешь на двенадцатой, а? Мы бы завтра отслужили им литию, а?

Отвалившись к стене, Виссарион беззвучно хохотал над этим сконфуженным предком завтрашнего племени; в смехе его и заключалась разрядка всех опасений, скопившихся за день. Спичка потухла нехотя...

## 5

Пастух проспал; в пятом часу, выпуская коня в стадо, Катя невольно задержалась на улице. День начинался тонко и розово, как девичий сон, нарисованный к тому ж на прянике. Среди лепесткового цвета облаков начиналось полудремотное волненье. Час спустя налетела с запада заблудившаяся бурька, но проливень не состоялся, и, еще не отгрели ее раскаты,—в скиту забили к утрени. Тотчас же заметное движение наступило на реке. В лодках, пестротно разряженных березкой, цветными шальями и просто вышитыми полотенцами, волость изовсюду поплыла к скиту. Слышен был лишь плеск коротких весел да отточенный насекомый гуд; если бы не беспокойный стук соьстроеновской силовой, праздник не отличался бы от прежних.

Встречаясь, сталкиваясь кормой, мужики сурово кланялись, и никто не засорял обычной руганью целомудренной тишины утра:

— Мир дорогой!

— Спасену быть...

Служил Ксенофонт, ведя службу по старому афонскому уставу, и уже с половины обедни, ошалев от духоты, богомольцы стали выходить наружу. Праздник не удавался; на клиросе вместо молодых пели старики, и дребезжащие их голоса раздирали благоговейные уши прихожан. Кстати, посреди службы с Азой случился обморок и, пока

выносили этот незрячий, жалобный мешок, кто-то уронил в суматохе большой деревянный подсвечник, полный горящего воску. Сотинцы беспорядочно хлынули вон, а когда потушили, большинство до самого начала крестного хода оставалось на дворе.

Ударяемое железным шкворнем б и л о кричало над рекой, когда процессия двинулась вниз, на берег. Впереди вприпрыжку поспешали девицы, которые на выданыи, разодетые в последние достатки, в коротких платьях и с букетами, а за ними, шепчась и подрагивая, развально спускались парни; из петлиц у каждого торчала тоже цветная травка. Кое-кто из них успел раздобыться вином и оттого, что от века крупность праздника на Соти измерялась количеством зарезанных, следовало ждать случайностей на исходе суток... На некотором расстоянии от них гуськом подвигался самый крестный ход. Кругленькая, плотненькая тетя Фиша из Ильюшенска дико и торжественно несла в вытянутых руках знаменитый крест из рыбьих зубов; выловленный какими-то поморами со дна моря, он почитался очень действительным средством против засухи. Вбитые в темное, окостеневшее от употребления дерево зубы затейно блестели, и, глядя на них, все просто-душно забывали шинкарье Фишино ремесло. Следом шествовал припомаженный Гарася Селивакин, заметно оконфуженный: нести ему доверили икону в споможение в родах, написанную дотошным живописцем во многих и обстоятельных подробностях. Затем четверо—и Красильников с Мокроносовым, столпы сотинской знати, потные и красные, шли в первой паре—несли на дощатом щите огромное изображение Николы, рубленное искусным топором и тем уже одним примечательное, что в старые годы нарочно приезжал обследовать его какой-то известный академик. Саженная статуя, сплошь увешанная лентами и крестиками, которые звенели, подобно бубенчикам, опасно колыхалась над головами и, когда процессия достигла спуска, задняя пара присела на согнутых коленях, чтоб не опрокинуть Николу в Соть. Шествие заключали всякие второстепенные святыни местного и доброхотного происхождения — хоругви, овалыные образа и та церковная утварь, какая потребна при водосвятном обряде. Толпа нестройно урчала молитву.

Первые карбаса, нагруженные почетной старческой чернотой, отошли от берега в тот самый миг, когда Егор Мокроносов объявился на бугре со своей медной хоругвью. Увадьеву, который из Фаворовского бинокля наблюдая за происшествием с другого берега, Егор понравился с первого взгляда; носный ремень врезался ему в плечо, но тот не чуял, и только из-под темных бровей умно и насмешливо сверкивали цыганские глаза. В сущности ко всему в жизни он относился с одинаковым лукавством, и в его согласи на роль хоругвеносца выразилась лишь старомужицкая потребность в древнем благочинии. Остановясь на бугре, чтоб пропустить мимо шумливую бабью стайку, он поглядел вверх по реке и нахмурился; Увадьев немедленно перевел бинокль, ища предмета, который мог омрачить великана.

Там река изгибалась, и глазу мешали выросшие на сгибе ветлы; Увадьев увидел позже, чем услышал. В той части реки, которую еще не загромождали массы сплавного леса, спускался неслышанный плот. Впереди, на двух прогибавшихся под тяжестью тесинах сидели гармонисты, шестеро, и лихо наяривали какую-то мучительно-знакомую песню: под нее пляшут на свадьбах и озоруют рекрута. Их было немного на плоту, не боле пятнадцати, но песня задирала, сцарапывала напрочь тяжелую позолоту праздника, и вот уже внимание мужиков было расколото пополам. Процессия дрогнула и на мгновение остановилась; потом кто-то надсадно выругался позади, хоругви послали злой и дробный блеск, и хотя без прежней степенности, но шествие продолжалось. Торопясь взглянуть на комсомольскую затею, задние напирали, и вдруг тетя Фиша ухнула с крестом под осыпь, ошалело вереща и раскидывая пустые руки.

Имея в намерении пересечь реку раньше плота, Мокроносов сам сел на весла; пятеро хилых как на подбор мужичков еле удерживали наклонившуюся против хода хоругвь. Весло его ложилось порывисто и упруго, карбас скрипел, а уже возможно стало различить лица гармонистов. Поровнявшись с плотом, карбас скоса ткнулся в бревно и остановился. Тотчас с плота закричали:

— Эй, Егор, святу быть!

— Горьк, перелезай к нам, у нас ассортимент богаче...

— Друг, мотри, черви напозлут!..

Не мигая, Егор глядел на врагов, как бы вымеряя их внутреннюю, спрятанную за баловством силу; подручные мужики обробело ждали его решений.

— А ну, пустите плот, молодцы, — тихо сказал Мокроносов, трогая затекшим плечом.—Опоздаем мы.

Плот медленно относило по теченью, вместе с карбасом Мокроносова, — и вдруг из-за гармонистов появился Пронька, тот самый, с которым Егор когда-то сколачивал первую в округе советскую ячейку. Пронька глядел строго, точно шел на приступ, и, кроме своей обычной ливенки, держал в руке ту одинокую двухрядку, про которую говорил Виссариону; по ее распутившимся мехам бежала суматошная ситцевая цветуха.

— Егор, — просительно сказал Пронька, — под хорошую гармонь человека настоящего нету. Скучаем без тебя... ты глянь, какая!

Егор молча взял ее в руки и нехотя, с досадой вскинул длинные пальцы на лады; он был лучший в волости гармонист, и дома у него висел на стенке диплом с одного красноармейского конкурса. В лице у него отразились борьба и ожесточение; мельком он поднял глаза на огромное, чудовищное подобие Николы, поставленное на жерди и одетое в пестрядинную рвань, взглянул на его буйную, кудельную седину, стоившую немало трудов и клею изобретателям, и усмехнулся этому фанерному родичу того мохнатого Ярилы, который населял великую изменнность в доцарские, дорабские времена. И опять он дер-

нул плечом и, вырвав из гармонии короткий вскрик, недоверчиво качнул голову.

— Врет она у тебя на один ладок, Прокофий!

Тот не захотел понять скрытой значительности намека:

— Это, друг, у нее игра такая... из души звук, а ты не слышишь. Ты попробуй только, рук не оторвешь! — и протягивал руку, чтоб перетащить к себе, на плот.

С берегов глазела толпа на Егорово бегство; и кто-то межам догонял старика Мокроносова с ядовитой и скандальной вестью. Плот тем временем пристал в затон, и молодежь кружной тропкой кинулась на луг, норовя опередить богомольцев; фанерный Ярила тузил тряпичными кулаками веснушчатого парня, который взвалил его себе на спину. Они пришли задолго до начала водосвятя. Обширный заливной луг, круто ломаясь, переходил в поле. Обосновавшись здесь, ребята тревожно ждали пенья сверху или дуновенья ладана. Пронька дважды поднимался на межу, избегая оставаться с глазу на глаз с Мокроносовым: никто еще не был уверен, что мужики не встретят кольями их дерзостного почина. Крестный ход приблизился; отец Ровоамов, бродячий — после закрытия храма на Лопском Погосте — попик, истово приступал к моленью. Обвеваемый густым ладанным чадом, увешанный тяжелыми полотенцами, под которыми мыслимо вспотеть и дереву, Никола высился посреди узкой крестьянской полосы, где почти до корня выгорел на солнце колос. Людская гуща расположилась полукругом, и Проньке показалось, что кто-то заране встал на колени; он ошибся, то был Василий Красильников. Бабы хором заголосили молитву, и в тот же миг веселый рев гармоний вознесся над Сотью. Отец Ровоамов сжался, ибо имел уже печальный опыт в прошлом, и заметался взглядом по сторонам.

— Скрипи, скрипи, батя. То бесы под горой котуют, — степенно молвил Мокроносов, последний блюститель умиравшей веры на Соти.

Тяжко переступая тяжеловесными сапогами, он косился сбоку на о. Ровоамова; носик у попаки был красноват, попик выпивал с горя... Стороны не видели друг друга, в обеих было заметно смущение, но вот бабы, точно озлясь, высоко подняли голоса, и гармонный плеск потонул в мощном вое людей, жаждавших дождя на пониклые свои нивы. Пронька хмурился, пальцы его уже не резвились попрежнему, и кто-то малодушно предложил итти купаться в Балунь; тогда-то, во внезапной тишине, и ударил Мокроносов свои прославленные переливы. От него одного зависел теперь исход дела; сосредоточенно уставясь в иссушенную головку курослепа, он всего себя влил в остекляевшие пальцы, и вдруг три пары девичьих глаз проглянули сверху, сквозь редкие колосья. Это и был перелом; сперва жеманно и парами, а потом и стайками спрыгивая с бугра, молодежь перебежала слушать Мокроносова.

Прохлада сменилась зноем. Природа зыбко струилась вверх и, может быть, уплыла бы, если б не держалась крепко на корневых своих

якорях. Проходили облачка и, едва попадали в заклую точку зенита, тотчас же сжирал их зной. Деревья вытянулись в струнку; напрасно искала в них прохлады неуклюжая птичья молодежь. Земля отдавала последнюю влагу. Суглинок растрескался и затвердел. Стоя на коленях среди прочих стариков, Лука вдумчиво мял его в ладони, дул украдкой, и глина легковейным дымком стлалась по полосе; до бешенства ярила ноздри раскаленная эта пыль. Косоротый масляничник, приставленный держать рыбий крест, рассеянно отколупливал ногтем щечку от него и все глядел на жесткую глиняную корку, в трещины которой свободно проходил палец. И опять, погружая разогретый крест в воду, заматался чему-то попик.

— Невозможно... — вздохнул он беззвучно, поправляя взмокшую камилавку. — Гарь идет!

— Скрипи, батя, скрипи... то за Нерчьмой лес полыхает! — огненно и твердо лязгнул старший Мокронос.

И он скрипел, а Мокронос под бугром побивал его знаменитыми своими трелями, и в памяти о Ровоамовых представлениях давали давние семинарские вечера, где тоже пицала музыка и неуклюже порхали потные, небритые семинары. Непотребная дрожь сочилась ему в суставы и тянула в пляс: так скачет порой на пойме вислобрюхая крестьянская кляча, подражая самой себе в юности. Он все торопливей вел к концу, чтоб поскорей стянуть с себя хрусткую, как брезент, ризу, а позади оставались лишь бороносы да монахи, и даже Василий заковылял к рубежу, чтоб взглянуть на чужое, искусительное веселье.

Там уже наваливали костер и тащили банный котел для установленной совместной яичницы; Ярила встряхивал пустотельными руками, повинувшись спрятанной веревочке, а гармонисты самозабвенно исполняли общественную повинность. Инвалид шагнул ближе и тут понял, что начинается игра в поросенка, самая увеселительная часть триоцкого праздника. Посреди широкого хоровода, вереща и вертя висюлькой хвоста, суетился купленный вскладчину боровок; розовый и нежный, вымытый до щетинки, он озабоченно высматривал пути к бегству, и в том состояла забава, чтоб поймать его, когда он несется в наметенную щель. В возне и суматохе составлялись зачастую пары для будущих свадеб; он уже спустился бочком шага на два, чтоб незаметно вступить в игру, но представил, как его непременно уронят в толкотне, а он упадет на поросенка и задушит... Нет, не тут следовало ему искать утешения.

Игра разгоралась, все новые появлялись люди на лугу. Чуть не запнувшись о поросенка, Пронька помахал рукой Увадьеву, приглашая если не в игру, то хоть на коллективную яичницу. Вышел с своей лошадкой Фадей Акишин добывать себе собеседника, пришел Фаворов вместе с иностранным инженером, который снимал по дороге все, что только было ему внове. Все приводило его в восторг, все годилось его фотоаппарату: и деревянное божество, которое уже лежа и чуть не под дубинушку грузили в карбас, и этот таинственный комсомол в вы-

шитых рубахах на фоне российской глухомани, и даже поросенок, необыкновенным голосом верещавший подмышкой у Проньки. Игра кончилась, через полчаса предстояло открытие клуба в деревне и шефская речь Потемкина.

Окружив немца, девицы смешливо глядели на его туристские штаны и красные башмаки, а одна даже спросила жеманным шепотком, почем берет за снимок. Бритые щеки иностранца глянцевели от удовольствия; уж он рассаживал девиц, как цветы, по траве, но вдруг отскочил и торопливо, точно для того лишь и притащился на игрище, щелкнул аппаратом в противоположную сторону; выбор темы определял внутренние устремления иностранца.

— Ой, Васькины бандюги содют! — закричал мальчишка, увивавшийся возле Мокроносова.

Из-за пригорка дружным табунком выступало Васильево воинство. Безобидные порознь, вместе они составляли боевое, головорезное ядро, которое в волости так и звали черкесами; бывали праздники, когда хозяева вместе с гостями лазали от них на крыши. Шли они все с картузами набекрень и с заранее обдуманым планом, и один, всю свою скверную родословную имевший на лице, даже бурлил себе под нос:

...по приемной Вася котит.  
вся приемная дрожит...

Появление их не предвещало особого веселья, и Прокофий, стыдясь гостей, выбежал было им навстречу, но Василий равнодушно, точно то было неодушевленное бревно, обогнул его и направление держал прямо на иностранца, торопливо перекручивавшего пленку в аппарате.

— Вон того, на рыжих ногах! — указал он Селивакину, неотлучному спутнику всех своих приключений, а тот понятиливо зашмыгал носом.

Было непостижимо, когда он успел так принарядиться; тугая крахмальная манишка коробилась под его кожаной курткой, а галстучек был в тон лицу, с крапинками, а на отвороте полосато болтался георгиевский крестик. Толпа расступилась, и тогда всем стало ясно, что без скандала не обойдется.

— Сымаете?—галантно изогнулся Василий, а немец также любезно поклонился ему, принимая юродство его в шутку. — Это очень хорошо, что сымаете. Альбом! — Он изогнулся в другую сторону и выставил обрубок вперед. — Чего на крестик смотрите? А вы знаете, за что этот крестик даден? Нет, счастье ваше, не знаете...

— Василий, ты шел бы домой, — суховато сказал Пронька. — Проспишься и придешь.

— Извиняюсь, я и сам есть большой любитель общности! — кротко посмеялся тот, поправляя крестик, чтоб бантик распушился еще более. — Не мешайте мне беседовать с научным гражданином.

— Голосом тебе говорю, не бузи, Васька! — вторично предупредил Прокофий.

— Мы и сами не дешевше людей, порожем не ходим...—звеняще огрызнулся инвалид и снова, задрав голову, глядел на иностранца. — Извиняюсь, конечно, вот вы жили за границей, скажите, отчего человек заикается?

Фаворов, быстро переглянувшись с Пронькой, торопливо перевел вопрос и последующий ответ инженера.

— Нервоз? Я вот и сам, конкретно, говорю, что нервоз, а Федя не верит. Мозги у него сырые, до науки не доходят!

Селивакин хохотливо и угодливо сморщил лицо.

— Чему же вы смеетесь? — не вытерпел Фаворов. — У вас в самом деле сырые, этово, мозги...?

— Не, — сразу, точно под кнутом с'ежился тот. — Я так, одной штучке смеюсь. Хотим заграничного инженера свешать...

Немец продолжал улыбаться, а Фаворову по молодости не хотелось показывать мужикам, будто струсил полдюжины подгулявших парней. Гармони уже не играли, Пронька хмурился: он знал эту повадку Васькиной ватаги, унаследованную от сотинских сплавщиков. Неопытного новичка предлагали свешать на безмене, и когда тот, опасаясь худшей расправы, влезал для этой цели в мешок, его завязывали там и кидали на длинной веревке в реку — к у п а л и, изредка вытягивая наружу, чтоб не закупался до конца; у сплавщиков так карали за кражи, безразлично от времени года.

— .. и еще, как шли мы даве, поспорили, сколько в вас имеется весу. Федька сказал, что не боле как в подтелке, а я подозреваю... — Смех распирает скулы ему, но он не смеялся; в глазах его светилась почти мольба к иностранцу, в согласии которого и заключалось возвышение инвалида.—Как бы дозволили... а мы бы вам и спели потом! у нас все село поючее. такое!

Он даже протянул руку, чтоб убедить прикосновеньем, и в тот же миг Прокофий, не выдержав накопленного отвращения, с силой поддел его кулаком. Удар пришелся куда-то в галстучек, и всем показалось, будто Василий отделился немножко от травы и плавно пересел на другое место. Когда он поднялся, все увидели, что никаких особых повреждений на инвалиде нет; только опять лопнул лакированный ремешок, которым была пристегнута к обрубку круглая, деревянная ступня. Девки шарахнулись шустрее пыли из-под копыта, Селивакин и остальные глупо ухмылялись, переступая на месте, а Пронька все глядел, как бы вымеряя взглядом, потребуется ли второй удар. Так протянулось неопределенное время; инвалид потерянно гладил рукой низкую, точно сеяную травку луга. Потом он поднял спокойное, очень бледное лицо и покачал головой:

— Буйвый малый, Прокофий, крепко бьешь... эва, за пазуху баран влезет! — Одна какая-то жилка страшно суетилась в его лице. — Ты и гневен, Прокофий, да отходчив, а я и добр да памятлив. И бу-

дешь... и будешь ты меня помнить отселе тридцать...—в голос ему ворвался всхлип — ... тридцать лет, Проня!

Как-то лениво он поднял с травы сорвавшийся крестик и зажал в кулаке; все еще трудно ему было повернуться спиной к обидчикам. Когда боль заместила стыдом, он развязно достал радужную свою, уже никого не поражающую спичечницу, но папирос в кармашке не оказалось. Тогда лишь, рукой придерживая отстающую деревяшку, он тихо заковылял вдоль берега. Никого не рассмешил его уход, никто не побежал за ним: может быть, он шел топиться, и никто не хотел мешать ему в этом; он шел прямо к заводу, сплошь заросшей тускло-красным гравилатом и трилистником. Здесь он остановился и стоял долго; деревяшка стала подмокать. Желтая капустаница, спорхнув с высоты, села на кочку; кажется, она хотела пить.

— ...рази мы кого ограбили?—тихо спросил ее Василий, и вдруг смаху хлестнул по ней картузом. Его сгибало, как червя, разрубленного лопатой, пена выступила у него на губах, а в мире уже забыли и его самого и его несбыточную угрозу.

Сквозь гнетущую тишину суховея сочился из Макарихи колокольный призыв: там начиналась вторая часть торжества. Так совпало — Пронька шел вместе с Увадьевым, и Мокроносову, шагавшему позади их, становилось ясно, что свирепая Пронькина расправа безнаказанно сойдет ему с рук. Как бы учуяв сокровенную его мысль, Увадьев обернулся к нему:

— Присоединяйтесь, товарищ! — Ему давно хотелось познакомиться с Егором.

— Ничего, дороги на всех хватит... — И крепче сжал поросенка, скулившего у него в мешке.

Его придирчивая жажда справедливости должна была удовлетвориться самым началом речи Увадьева, которому пришлось замещать Потемкина.

— ...мне только-что довелось быть свидетелем, товарищи, — блеснул он отточенным этим словом, ударив на последнем слог, — свидетелем дикой расправы там, на Сотинской пойме. Один из членов вашей ячейки избил безногого...

Егор не слушал дальше; по угрюмым лицам мужиков, навалежным туда, в провал, как гряда овощей, он понял, что еще до вечера Проньку выкинут из ячейки. Нетерпеливым взглядом он обвел переломленный клуб, кумачные бичи лозунгов, невозмутимого Фаворова, сдвигавшего с ним в президиуме, и смятенно почувствовал, что всегда — и когда нес скитскую хоругвь и когда наблюдал усмирение недобитого героя — сердцем он был вместе с Прокофием, другом.

Появление Увадьева встретили десятком недружных хлопков со стороны рабочей части собрания и настороженным молчанием мужиков; некоторым из них представлялась расточительством постройка та-

кого нарядного клуба на Соти, и оттого бороды их висели, подобно чугунным замкам, из-под которых не выманишь ни слова. Едва помянув про поступок Милованова, Увадьев нахмурился: молодой парень на виду у всех оторвал клочок от плаката, запрещавшего курить, и скрутил из него почти разорительную по размерам папироску; Виссарийон, по новой должности завклуба, принялся внушать ему что-то, и вдруг парень, не расставаясь с папироской, размахисто направился к выходу. Раздражение против парня придавало Увадьевскому голосу сухую и пронзительную четкость; сам он стал походить на копер, который множеством повторных ударов вколачивает основную сваю. Неопытный в вопросах такого рода, он тотчас же уперся в крайность; сказав, что всякая культура способна обслуживать только класс, ее породивший, он неожиданно самому себе сделал вывод, что оттого-то в ней и заложена взрывчатая опасность для класса-победителя. Только почувствовав здесь преждевременный перегиб, он стал осторожно спускаться к основной своей теме — взаимоотношениям с комбинатом.

В зале произошло замешательство; местом в президиуме собрание почтило и сотьстроевское инженерство и администрацию... но там не было Потемкина, единственного из всех, кто под словом Сотьстрой разумел не только постройку целлюлозного гиганта, но и внутреннее устройство Сотинского района. Зал зашумел, раздались хлопки, и, как всегда бывает с толпой, внезапная буря охватила всех.

— Потемкина... — кричали передние, а сзади отзывалось настойчивым эхом: — даешь Потемкина!

Всем хотелось взглянуть на неуловимого человека, которого не видел никто и в должности которого стояло — мотаться, склеивать, улаживать... быть, наконец, тем бесчувственным катком, на котором дащили до Соти эту неслышанную машину. Он мог прятаться где-нибудь в самой гуще собрания, его искали, наспех опрашивая приметы, а Лукинич, которому предстояло говорить вслед за Увадьевым, озабоченно и с серым лицом покусывал усы. Тогда, пошептавшись в президиуме, председатель собрания виновато привстал из-за стола.

— Товарищи...

— Потемкина! — Слово распирало зал, слову становилось тесно, и те, которые впервые слышали это имя, поднимались с мест, точно тот уже стоял на подмостках. Они хотели приветствовать его за то, что он, свой, выдвинувшись снизу, не забыл среды, из которой вышел.

— Товарищи, — надрывался председатель, складывая руки дудкой, — держите тишину, дьяволы! Товарищ Потемкин болен и сидит взапертях...

Задние не слышали, им пришлось повторять; это было первое упоминание о болезни Потемкина; оно насторожило всех, и вдруг Потемкин стал всеобщим героем уже по одному тому, что имел секретные причины не явиться на собственное свое торжество. Пока длилась официальная часть, выступавших по несколько раз прерывали двусмысленными запросами о сущности потемкинской болезни; когда, в пе-

рерыве перед радио-концертом, Увадьев незаметно выбирался из клуба, намереваясь просмотреть до ночи бумаги из центра, кто-то даже высказался вслух, что болезнь из тех, которыми зачастую болеют видные советские люди.

К работе, однако, не тянуло; еще худшая, чем в клубе, стояла на улице обессиливающая духота. Пальцы накрепко приклеивались ко всему, чего ни касались; карамельки мерзостно размякли и уже не бренчали в коробке. Полянкой, только-что раскорчеванной под огород, он спустился в овраг, к обессилевшему ручью, который полуверстой ниже еле вертел колесо красильниковской маслобойки. Сюда не доносились голоса, и, кроме того, здесь еще сохранялась обманчивая вечерняя прохлада. Над круглым бочагом, сплошь увитым хмелем, посвистывала унылая птица; это вызвало в памяти полузабытую, детскую забаву: наловив с уличными друзьями головастиков и стрекозиных личинок, он устраивал примерные бои и потом непременно уничтожал прожорливого победителя. Толстый плавунец переплывал прозрачный мрак омута, в котором еще теплилось непостижимое детское очарование; Увадьеву захотелось подержать жука в ладони, чтобы трезвым взглядом постигнуть привлекательность этого водяного жителя — уже он запустил руку в омут, но его спугнули два голоса из лесной крушинки, щедро затканной все тем же хмелем. Какая-то человеческая пара плотно засела в этот комариный альков.

— ...ты скупой!—заговорил женский голос,—...хоть бы на кофточку подарил. Девкам ходить не в чем, а они весь кумач на флаки извели!

— Пусти! пока я туда дохромаю... небось ищут!—и стал подниматься, потому что камешек вдруг булькнул в воду.

Потом шорохи замолкли, и Увадьева заметили.

— Ишь, все ходит, деревья считает... чтоб не покрали! — достаточно громко произнес женский голос.

Чья-то голова неосторожно просунулась в хмелевой паутине, и Увадьев подивился, до какой степени человеческому лицу свойственны насекомые выраженья. Люди за кустом притаились и ждали его ухода. Тогда, кашлянув для приличия, он стал выбираться вверх, по склону; из-под сапогов, скользивших по сохлой траве, поминутно вырывались то уж, то птица. В этот день он мешал везде, где ни появлялся, потому что все сущее в мире вовсе не для человека, а само по себе.

Всякие мелочи привлекали теперь его обостренное внимание: и птица на дереве — совсем Жеглов, только бы пенснэ для сходства! и дрожка, преждевременная латунь ржи, и собственная его длинная тень, вз'ерошенная травой. Солнце садилось, и замшевая теневая мягкость обволакивала природу. Никто не попадался на пути. Из деревни понеслась разухабистая песня, — повидимому, начиналась там все-таки мужицкая пьянка. За редкодеревной рощицей объявилась насыпь строительной ветки; Увадьев поднялся. Босые дети, пятеро, бежали по нагретым рельсам; ему показалось, что одну девочку он узнал... наверно, это

была, смешно сказать, мать той самой Кати, для которой в таких муках переплавлялась планета. Увидев хозяина ветки, дети сбились в стайку и привычно ждали брани. Он был совсем черным и безликим на застывших пламенах неба. Он глядел сурово и без улыбки, на это второе поколение, которому — хочет он или не хочет — все равно будет однажды принадлежать жизнь. Не слыша брани, девочка несмело предложила ему с такой же резвостью пробежать по одной рельсе; в ее глазах он прочел искусительный вызов разделить с ними игру, но не сделал и попытки. «Стар, чтобы по рельсам. Сорок — ступенька вниз, а чем дальше, тем все мельче и легче ступеньки, сами под ноги бегут...» Он молчал. Ежевечерне в девятом часу проходила моторная дрезина с почтой, и шофер всегда гнал в этом месте, торопясь к ужину и пользуясь прямизной пути.

— Спать, спать, тараканы! — сказал он тихо, а сердце еще билось от под'ема.

Дождавшись ухода детей, он свернул на дорогу и вошел в поселок. Всюду рос папоротник, так как вчера еще тут был лес. Под ногами хрустела щепка, из которой только-что начали вылупливаться свежие, с толевыми крышами, бараки. В третьем налево тускло горел огонь; мелькнуло желание — войти, присесть на жесткую койку, устланную лоскутным одеялом, слушать затаенные раздумья этих вчерашних земледельцев и хоть на полчаса заглушить в себе другую потребность, в которой не сознался бы и сам себе. «Подумают, с ревизией на ночь глядя притащился!» В окнах у Потемкина было темно: «наверно, спит, пускай отоспится за весь год!» Ничто на протяжении полуверсты не остановило его. Верхнее, угловое окно двухэтажного дома, где помещалась химическая лаборатория, зеленовато светилось. Не замедляя шага, он круто повернул к крыльцу и с иронической усмешкой на самого себя стал подыматься по лестнице.

Она скрипела, точно втаскивали вверх неуклюжую какую-то мебель; и опять билось сердце, но теперь это было совсем не то. Дверь он распахнул сразу, не стучась, как бы намереваясь застать кого-то врасплох. И правда, у Сузанны сидел Бураго; обхватив колено руками, он пристально глядел на нее, склоненную над микроскопом. Зеленый колпак лампы наполнял комнату приятными глазу сумерками. Молча поздоровавшись, Увадьев со странным облегченьем присел на подоконник; именно неудача его посещения, которому он придавал непонятную значительность, и радовала его.

— Так, очень гут, — сказал Бураго, и Увадьев догадался не сразу, что речь идет о сотинской воде. — Как кислород?

— Здесь — пять запятая семь, — на память ответила Сузанна.

Бураго лениво сунул себе в рот папиросу.

— Значит, рыбки тоскуют?.. от предчувствия, что ли?

— Не знаю... но на стрежне десять с небольшой дробью миллиграммов на литр. — Она мельком оглянулась на Увадьева, который ни-

когда не приходил без дела да и вообще мало имел отношения к ее работе. — Есть гуминовые вещества...

— Это ничего, это болотца за Пыслой, мы их прикроем! — Взяв со стола склянку с оранжевой жидкостью, он одним глазком посмотрел ее на просвет. — Иван Абрамыч, Потемкин-то серьезно кранкен, а? — Он знал, что Увадьев в секрете от всех изучает немецкий язык. — Лейкимия... а вы знаете, что это... — он не договорил, — у вас никогда не будет лейкимии, да. Быть вам начальником Сотьстрою, помяните мое слово. Что это? — спросил он, ставя склянку на стол.

— Это...? Просто спирт метиловый, — сказала Сузанна и стала сменять объектив.

— Жителей на кубический сантиметр много? — продолжал допрашивать Бураго.

Она покрутила кремальерку и привстала из-за стола:

— Хотите взглянуть?

Инженер громоздко поднялся со стула и всей тушей наклонился над микроскопом. Увадьев все еще видел мелочи, ненужные ему: волосатые ноздри Бураго раскрылись, он что-то нюхал, этот умный и сильный человек, а глядел куда-то мимо окуляра, в розовую ладонь Сузанна, кинутую на столе. Вдруг, ощутив неловкость минутного промедленья, он нехотя отвалился на свое место.

— Да, житель суетится не меньше нас с вами, Иван Абрамыч, — сказал он, сипло дыша. — А у вас цвет лица хуже стал, товарищ Сузанна.

— ...устаю! — Она что-то записала на разграфленной полоске бумаги. — Днем приходится ездить за пробами, а ночью работать...

— Я сейчас в овраге, под кустом, видел Буланина... с девицей, — совершенно неожиданно произнес Увадьев, и Сузанна посмотрела на него с вопросительным и испуганным вниманьем: это походило одинаково и на грубость и на преднамеренный намек.

— Что ж, монажу любовь в диковину. — Бураго пожевал мундштук папиросы, шурясь от дыма. — Хм, Виссарион? Это смешно, да. Вот тоже, вчера наш немец притащил мне клопа в спичечной коробке... распух весь, бедняга, от негодования. «Что это? — кричит. — Это меня кусает...» Я очень серьезно ему, по-немецки же: это, говорю, взрослый русский клоп, человекососущий... по-латыни называется Цимекс Лектулария. Хорошо я им отдам выговор в приказе по строительству...

И вдруг Увадьев, не отводя глаз, острым голосом спросил инженера:

— Кстати, Бураго, вы женаты?

Сузанна с нетерпением оглянулась на него, совершавшего вторую и, наверно, предумышленную оплошность. «Почему вам интересно именно это, Увадьев? Мы не звали вас, но ведь и не гоним...» — хотелось ей сказать.

Бураго предупредил ее вопрос:

— Так же, как и вы, Увадьев, как и вы! — В безразличную улыбку он переключил все раздражение, уже засквозившее в голосе. — Кстати, Иван Абрамыч, выпишите пузырьков сорок клопину... для сохранения международных отношений. Это уж по вашей отрасли, всякая там дипломатия.

Увадьев перемолчал издевку; в конце концов, он сам полез в эту несостоящуюся драку. Чутье подсказывало ему, что здесь он мешает более, чем во всяком другом месте, и все-таки продолжал сидеть с тусклым, канцелярским каким-то лицом. Для этой, в сущности, женщины он бросил жену и вот полгода ходит бараном вокруг заколдованного слова, которое и в мыслях страшится произнести: нежностей он бежал пуще пошлости, этот нелюдимый солдат и предок. В усиленной перегрузке себя работой думал он найти исцеление, а какая-то неутоленная частица его существа все жаловалась и скулила, как увертливая шелудивая собачонка, которой хочется засыпать глаза песком... Он имел странную способность к воображаемым разговорам; она-то и давала ему право на природную молчаливость. Исход ему представлялся так: зажмурясь и со сжатыми кулаками, он произносит, наконец, это неминуемое слово. «Не то, Увадьев, вы путаете, — насмешливо говорит Сузанна, и он знает, что она права. — Я для вас только ступенька лестницы, по которой вы идете все вверх и вверх. Вам нужно вернуться к жене...» — «Я все равно перешагну тебя!» В душевной дрожи, точно все слышали этот неродившийся никогда крик, он воровски протянул руку и взял папиросу из раскрытого портсигара Бураго. Кажется, никто не заметил его движенья, и тогда еще осторожней он украл со стола и спички; крал он, разумеется, у самого себя. Вслед затем, устыдясь минутной слабости, он раздавил папиросу в кулаке и, не прощаясь, пошел вон.

— Что-то в сон ударило. Привык рано ложиться! — откровенно зевнул он на деланно спокойный вопрос Сузанны; спичечная коробка все еще похрустывала у него в кулаке. — А клопину я вам до стану.

Спать ему не хотелось, путь его был к берегу. Раздевшись под кустом, он почти свалился в реку. Нагретая за день, вода совсем не охлаждала; ему пришлось долго нырять во всех направлениях, прежде чем напал на холодную родниковую струю. Она обжигала раздраженное от зноя тело и возвращала ему волю. «Эко бревно кувыркается!» усмехнулся он на самого себя. Фыркая и отряхиваясь, он вылез на берег час спустя; мир снова приобрел утерянную было простоту, необходимую для существования в нем. Попрыгивая, чтоб вытрясти воду из ушей, он легонько постучал себя в грудь: «Эге, звучит как колокол, — с удовольствием отметил он. — Нет, еще не отстают моя кожа от костей...» С воды поднялась вспугнутая чайка. Опять мимо избяных ям старой Макарихи он выбрался наверх; спать совсем расхотелось, и оттого, что одиночество тяготило, а первой постройкой, какая встретилась, был клуб, он вошел туда.

Сторожиха бесстрастно подметала пол; в пыльном облаке она горой так и надвигалась на Увадьева. Теперь здесь владычила метла. В клубе никого не оставалось; только два арматурщика доигрывали партию в шашки у окна. Увадьев обошел комнаты и, увидев в одной из них ящик радио, с любопытством вскинул на голову холодящее кольцо наушников. На черной панельке магически зажглись зеркальные лампы. В безмолвии ночи кто-то пискнул сперва, и вдруг оглушительные свисты и грохот как бы ссыпаемых камней ворвались в мембраны. Морщась, он покрутил слегка рычаги настройки, и в ту же минуту услышал веселую музыку. Это был несомненный танец, расплывчатый и отдаленный, точно Увадьев внимал ему в слуховой бинокль. Мельком он покосился на стену, где висела таблица волн европейских станций. «Германия... танцует!» Ему было так, точно приложил ухо к искромсанному войною телу и слушает самую душу ее. Тотчас он снова завертел рычаги, оглушая самого себя и волшебным шагом просекая Европу. Игривая, щекотальная мелодия, постигаемая лишь пятками, возникла в трубках. «Ха, Франция... танцует! Это 33 процента бюджета на содержание государственных ростовщиков, 15 на пенсии недобрым героям и 18 на подготовку новой войны». В трубках пронзительно свистнула переменяемая волна. «Англия... танцует! Ха, 44 процента средств на платежи долгов, 10—на содержание живых улик недавнего безумья и 14 на то, чтоб было чем убивать и впредь... на что вы тратите чужое черное золото, милорды?..»

Он быстрее завращал вариометры, лишь изредка справляясь с таблицей, точно с адресной книгой. Наряженные в треск грозových разрядов и вой чарльстонов, проходили души стран. В атмосфере было неладно, новые бури сбирались над миром. Мембраны до отказа насытились их взрывчатой силой и грозили лопнуть. Склеившись в пары, мир плясал, в мире происходило чрезвычайное веселье, и даже мелкие державы, задрав подолы, приплясывали в своих захолустьях. Звуки были необычные, словно каленым железом играли на жильцах зоологического парка; звериный этот вопль странно искажался страдальческим акцентом человека. Увадьев слушал и, может быть, он был единственный человек, которого воистину веселила эта музыка; он смеялся беззвучно, боясь помешать танцевальному сему неистовству. Временами слуховое поле загромождал грохот артиллерийской пальбы и непонятный вкрадчивый шелест... может быть, где-то уже наползал иприт?

В медные подобья гусиных глоток дули грустные безработные полковники; это было в Девентри, а в Будапеште кто-то во всеуслышание ломал рояль. В Тулузе тихо пели негры; в синкопированных, как бы на дыбу вздернутых тактах, звенела натуго закрученная пружина. «О, она еще расхлестнется, когда над миром снова полетят гремучие бутылки войны!» Он почти прошептал эту мысль и, вот, насторожился. Знакомая песня поднялась вдали и, хотя ее тубафонили чужие люди, он узнал ее. Эта песня катилась впереди голодных солдат революции

и за право вложить в нее новое содержание было заплачено кровью лучших. Искаженная до гримасы, взнузданная похотью, она еще не потеряла своей страшной призывающей силы, хотя и сопровождало ее явственное шарканье лакированных ног. Он защурился и вдруг почувствовал, как и у него задрожали колени. Тогда он бросил трубки на стол и с минуту они шипели подобно головешкам в воде. Лампы потухли, наважденье кончилось.

Мимо сторожихи, ждавшей его ухода, чтоб запереть на ночь, он с закушенной губой вышел на двор. Подувал ветер и лес шумел. Издалека несся чудной, жалобный стон; наверно, осина терлась об осину или кричал лесной чорт, придавленный деревом. Небо застлали тучи. В реке плеснулась рыба: может быть, и ей приснился скверный сон... На лугу, который тотчас же за лесной биржей, поржали кони. Увадьев шел спать, день его был закончен. Тропинка приводила, прямоком к одной из старых изб, сохраненных для жилья. Увадьев вскинул бровь: дверь его избы стояла раскрытой, а красть у него было нечего. На синем пятне окна чернел острый и знакомый профиль Геласия, который не обернулся даже и на шорох хозяйских шагов.

В кармане еще сохранился украденный у Бурого коробок. Спичка брызнула серой: Увадьев торопился выбраться из этих подозрительных потемок. В руках у Геласия не было ничего; он потому и пришел, что вообще ничего у него не оставалось. Волосы свисали на лоб; к расщеченной при каком-то паденьи безбородой щеке его пристала земля. Простиранная, милостынная рубаха забрана была в белесые, грубого тканья штаны. Только и оставалось в нем от монаха—широкий ремень с продольной бороздкой, который стягивал тощее брюхо. Спичка стала жечь пальцы Увадьеву.

— Дай-ка лампу... вон со стенки. Да не разбей! — коротко приказал он. Тот вздрогнул, но не двинулся, и Увадьеву самому пришлось возиться с лампой. — Что ж, братец, убивать пришел, а сидишь — хоть дегтем тебя мажь. Действуй, вообще, шуми!

— Водчонки... — прохрипел Геласий.

— Вот-вот, счас в кабак для тебя побегу!

От Геласия несло луком; последнее время, видимо он и питался только хлебом да луком, который начал поспевать на огородах. Не спуская глаз с него, Увадьев присел рядом и тронул его плечо; тот взглянул испуганно, точно ждал побоев. Теперь он сидел сутуло, пряча ладони в коленях и с закрытыми глазами; теперь это было распаханное поле, в котором всякое, что ни сунь, вырастет вдесятеро.

— Огорбел, вымазался, несет от тебя... теперь тебя и помелом не вымоешь. Ну, о чем же нам с тобой говорить! Где скуфья-то у тебя, ты в ермолке-то больно хорош был...

— На заплатки извел, — без выраженья солгал тот.

— Епитрахиль свою чинил, что ли? Где ж она, чиненая-то... прогулял епитрахиль... или как она там называется?

— Рясу ребята у меня стащили... для смеху. — После ряда бессонных ночей губы его стали тверды, как роговые, и болели, когда понуждал он их пропустить слово.

— Ну, станешь в картузе ходить. Только постричься тебе, инок, придется. На такую швабру и бадья мала!

— Водчонки, — опять проскулил тот, царапая ногтями лавку.

Увадьев надвинулся и смаху стукнул кулаком по столу:

— Брось, выгоню! — прикрикнул он и почти с повадкой Варвары поглядел исподлобья, много ли напустил страху. — Где, когда живешь, дубина? Я хожу да гвозди на дороге подбираю, потому что... — он оборвал и тоскливо поморщился на пятно куриного помета, приставшее к плечу Геласия. — В курятниках видно ночевал. Ну, раздевайся весь к чорту! Ишь, рубаха-то прямо корешки в тело пустила. Так... Теперь марш в огород, там у меня бочка врыта. Иди, говорю!

— Отвернись, не зриай на меня... — проскрежетал Геласий, все еще дрожа и повинуюсь неохотно.

— Ничего, брат, я не девушка. Я тово... не девушка я, — говорил Увадьев и хлопал, как коня, по тугой и голой спине; на дворе уже накрапывало. — Ну, плещись теперь, не жалея воды... воды не жалея, говорю, новая натечет! Смывай свои струпья, балбеска...

Была тепла вода, замшевшая и слизкая от перестоя, а тот жался: тошнее смерти было ему, питомцу Евсевия, мытье. Увадьев зачерпывал ковшом и плескал в него как попало, пока не обнажилось днище бочки.

— ...домой теперь! Да не спеши, не простудишься. Ну, вот, и крестили парня в новую веру. Лоб давай я тебе иодом намажу, ничего, потерпи. Получай амуницию теперь — сапоги, рубаха, штаны. Бери, бери, у меня трое штанов: заработаешь — отдашь. Теперь ешь, пружину смазать надо... — Он сам нарезал ему хлеба, налил молока, сбегал надергать на огороде тощих морковных хвостиков: — ешь, велю, ешь!

Есть ему не хотелось, зато пил жадно и много; излишек воды тек у него по рубахе. Умытый, в чистой рубахе и с волосами, налипшими на уши, с коричневой отметиной на щеке, он еще более выглядел чудовищем, вылезшим в жизнь из дупла. Пробагровевшие глаза смыкались.

— Гроб у меня тут... — неожиданно тихо молвил Геласий и показал себе на грудь.

Увадьев откровенно рассмеялся:

— ...и говоришь-то все еще под титлами. Клейкая душа у русского человека: налипнет на нее, а там хоть с кожей сымай. На тебе, на чорте, бутовый камень возить надо, вот... тебе жить надо, и так жить, чтоб — спросят тебя «что, человек, делаешь?» и тебе б не стыдно ответить было. Предайся делу науки, безграмотный ты человек! Учись, соси соки, читай умные книги... — Он запнулся, сам не зная мно-

гих из тех, которые хотел бы перечислить, и в досаде раскрыл книжку, валявшуюся на столе. — Вот, это немецкий язык, например... эс лебе ди вельтреволюцион! Это очень полезно, братец, знать, очень полезно. На свете уйма книг, и, когда все прочтешь, не верь, а ищи сам продолженья, делай наново, по-своему.

Так ковал он Геласиево железо, пока было оно раскалено. Тот уже спал с открытыми глазами, и не понять было, насколько прочна была увадьевская ковка. Тогда он уложил его спать на овчине, у порога, а сам сел за письмо к Жеглову, которое несколько дней спустя должен был отвезти к нему Геласий. «Будешь браниться, друг,—писал он там,—что развлекаюсь этакими пустяками, но ведь сам же ты отыскал в людском навозе Ренне, сам же настаивал, что всякой ошибке надо меньше огорчаться, чем радоваться каждому лишнему успеху. Верится мне, что можно кое-что выстругать из этого обревна. Определи его куда-нибудь, в школу десятников, например, если таковая найдется. Поставь его на умственные колеса в этом смысле...»

В никелированной ламповой жестянке отражался он сам, с расплюснутым носом и тесно составленными глазами: таким, наверно, представлялся он Геласию. Приподняв лампу, он взглянул на разметавшееся на полу. В овчине водились блохи, но тот не слышал; почти фиолетовый румянец выступил на его скулах, а пальцы впились в шерсть овчины: он высыпался на всю свою жизнь. Подумав с минутку, Увадьев старательно спрятал к себе под койку все режущее и колющее; не веря ни в какие загадочные натуры, он понимал, однако, что в подобных случаях осторожность с русским человеком не повредит. Потом он снова сел за письмо: «...боюсь, что сезонникам придется прибавить процентов пятнадцать, чтоб удержать от отлива на полевые работы. Потемкин лежит, и удастся ли починить его местными средствами—неизвестно. Думается, первое перекрытие бумажного зала поспеет недели на две раньше календарного срока, и, если не удержишь с чертежами...»

С вопросительным лицом он прислушался к крику ворон на огороде.

*(Продолжение следует)*

---

# И з м е н а

Рассказ

ИГ. МАЛЕЕВ

У вавилонских рек, тоской томим,  
Рыдал еврей, скорбя о днях счастливых.  
Так плакал и Жуан. Я б плакал с ним,  
Да муза-то моя не из слезливых.

(Б а й р о н. «Дон-Жуан»)

**Л**еночка жила в полуподвальном этаже рядом со столовкой. Вернее, рядом с бывшей столовкой. Угрюмый зал теперь назывался клубом. Я отлично помню, как это случилось.

Накануне мы пообедали в последний раз, а утром завхоз вывесил объявление, что с сегодняшнего дня выдача продуктов прекращается. Объявление краткое: никаких посулов, никаких обещаний — оно было написано рукой голодного человека. Да и что можно обещать, если последние запасы кукурузы съедены, если немка, объясняя правила склонения в женском роде, ежится от страшных криков, доносящихся с улицы:

— голодую-у, —

если на дворе январь месяц и если пшеница в этих благодатных краях созревает только к июлю.

Все те, кто остались после занятий в физической аудитории, прочли объявление. Поэтому, вероятно, Андрей Малыгин, поднявшись на кафедру, выбирал такую позу, чтобы можно было не смотреть людям в глаза. Он заговорил, наконец, обращаясь к воздушному насосу:

— Почему бы нам, ребята, вместо этой дурацкой столовки не открыть клуб? А то все еда, еда — умереть можно со скуки. После занятий рабфаковцу отдохнуть негде. А в клубе у нас будут кружки, читальня, оркестр... Слышите, ребята, — оркестр...

Маленькая Кулагина застучала откидной доской своей парты. Андрей побледнел, запнулся, да и я почувствовал себя скверно: «Неужели девчонка начнет бузить?» Долго она стучала и, только когда Андрей совсем растерялся, догадалась крикнуть:

— Клуб, обязательно клуб! И чтобы с оркестром!..

Как видите, все обошлось благополучно. Теперь уже кричали хором:

— К чорту столовку!

— Клуб!

— Даешь клуб!

А накричавшись вдоволь, приступили к обсуждению работы будущего клуба. Если кто-нибудь и вспоминал о столовке, то не иначе, как с неприязнью, с негодованием. Кривые столы, эмалированные мисочки, кухонный запах, даже самый процесс пищеварения, — все, все было ошельмовано. Общее беспокойство возбудила речь Пети Савушкина:

— Подумали ли вы над тем, что президиум не захочет закрывать столовку? А ведь это совершенно ясно. Кто, например, обломает декана? Боюсь, что для переговоров трудно будет выбрать действительно авторитетную комиссию...

Проникнувшись Петькиным скептицизмом, мы долго спорили из-за кандидатур. Давались отводы. Специально назначенные счетчики руководили выборами, при чем большая полемика разгорелась вокруг вопроса: голосовать «посписочно» или «персонально». Наконец, комиссия была сформирована. Савушкин прочел наказ, принятый единогласно, и депутаты ушли. Мы остались ждать их возвращения.

Минут через пять при гробовой тишине Андрей объявил:

— Товарищи, ваш наказ выполнен: вместо столовки будет открыт клуб!

У нас не нашлось лаврового венка для Андрея, но зато его подняли на руки и несли до-самого общежития. Мне досталась левая нога триумфатора. Это было лестно, это кружило голову, взмывало чувства, но не настолько, однако, чтобы я перестал видеть в двух сантиметрах от своего лица грязный, дурно пахнущий сапог нашего героя. Я громче всех кричал «ура» и отворачивался насколько возможно. Именно благодаря такому повороту головы я обратил внимание на завхозовское объявление, которое попрежнему висело в вестибюле. Сорвать объявление — дело одной минуты. Я его спрятал в голенище малыгинского сапога...

Уже через неделю в новом клубе состоялось комсомольское собрание. С помещением распорядились отлично: стены, прежде хмурые, сырые по углам, теперь были сплошь увешаны географическими картами. Эти карты мы получили из бывшей женской гимназии, и они очень пришились ко двору. Над столом президиума висели два полшария. Шестую часть суши вымазали суриком в красный цвет, на странах же, поработанных капиталом, распластался змий, вырезанный из плакатов общества трезвости.

На этом собрании избиралось бюро. Кто-то выдвинул мою кандидатуру. Девушки встретили ее неодобрительно: зароптали, зашумели между собой, и этот предвыборный шопот ничего доброго не предвещал. Тогда это меня совсем не огорчило. Напротив — я был рад: мне только-что исполнилось семнадцать лет, и я терпеть не мог девчо-

нок. В сущности я вел себя отвратительно: фрондировал, заносился и с девушками говорил только в третьем лице:

— Она думает! Кто ее спрашивает!

А каким тоном я это произносил?.. Вы были трижды правы, девушки, когда голосовали против меня.

Итак, оппозиция женской части собрания казалась мне совершенно естественной и почти желанной. («Что можно ожидать от этих баб!?!») Представьте же себе, что одна маленькая ручка поднялась за мою кандидатуру. Факт. За меня голосовала Леночка. Я был смущен, подавлен, я был напуган: Леночка, которая никогда не слыхала от меня других слов, кроме бранных, — она голосует!.. Не может быть! Здесь — ошибка.

— Это «за»! — крикнул я со своего места. Девчонки зашикали на нее, но Леночка только улыбалась; руку не опустила. Я убежал к себе и долго предавался раздумьям: почему она за меня голосовала? И это были скорее горестные раздумия, нежели сладостные.

Ну, а вечером следующего дня я постучался у ее дверей. Леночка как-будто меня ждала. Я постарался не заметить этого и спросил деловым басом:

— Хочешь, мы его с'едим?

— Хочу, — ответила Леночка, и я пошел на черный двор убивать только-что пойманного кролика. Со мной был штык германского образца — универсальное орудие, — им я рубил мебель на дрова, чинил карандаши, а вот теперь обезглавливал хорошеньких красноглазых грызунов... Вокруг помойки громоздились ледяные глыбы, уходя под самую крышу низенького сарая, и там сливались с фиолетовыми сосульками. В глубине за всем этим блестящим великолепием чернела помойка, как вход в какую-то сказочную пещеру, и оттуда поднимался пар — голубоватый, легкий, феерический. Я пробирался в ледяной грот, стараясь не поцарапать кованым сапогом гладкой поверхности, стараясь не задеть плечом ни одной сосульки, даже самой маленькой. Было холодно; стальной тесак липнул к пальцам, а кролик дрожал за бортом шинели. Я ощущал сквозь рубаху эту мелкую дрожь. И все-таки кролик умирал с достоинством: он не пошевелился на плахе, и если бы мог, то, наверное, скрестил бы лапки на груди. Когда все было кончено, я поднял свою жертву и стал ждать, пока кровь сбегит в помойку. Прошло, должно быть, много времени, а я все стоял, так мне не хотелось запачкать кровью чудесный грот. Сосульки освещались из окон; они были совсем розовые и, наверно, сладкие. Прозрачные глыбы льда двигались под мерцающим светом как большие медузы. Я обернулся, чтобы еще раз посмотреть на грот, и с сожалением закрыл дверь за собой.

С тех пор, как мы постановили организовать клуб, я кормился кроликами. Ловил их голыми руками в маленьком саду, примыкавшем к лабораториям Медицинского Института. Родоначальники этого племени бежали в свое время из клеток, с операционных столов и укры-

лись здесь среди кустарника. Их убежище я обнаружил случайно, проходя через сад на базовое собрание ячейки. Увидев кролика, я произвел тщательный осмотр и в фундаменте развалившейся часовни нашел их целый выводок. Очень кстати. Теперь я прихожу каждое утро сюда на охоту. Еще темно. Еще только-только розовеет небо. Кролики шмыгают среди камней, по клумбам, между кустами. Это я поднял их из нор. И я бегу, задыхаюсь в изнеможении, падаю, обливаюсь потом. Погоня длится час. Нет больше сил. Я сбрасываю шинель и стараюсь накинуть ее на зазевавшегося грызуна. О, если это удастся, — я счастлив. Теперь кролик от меня не уйдет! Я держу его крепко, обеими руками и уношу к себе, чтобы до вечера запереть в корзину. Первого же кролика я изжарил по способу моего друга Федора Комарова. Для этого намесил глины и толстым слоем ее покрыл маленький трупик. Получилась глиняная тумба, в роде бревна, и ее я сунул в горящую печь. Часа через два глина высохла и растрескалась. Стоило больших трудов извлечь ее наружу. Зато теперь кора легко спадала вместе со шкурой. Мне досталось дымящееся жаркое.

Так я распорядился с шестью кроликами, ну, а седьмого отнес Леночке. Видит бог, я боролся с собой, я порицал себя за слабость, но сопротивляться не мог. Ах, зачем она за меня голосовала! Как это всегда бывает, я успокоился на жалкой версии: «На то она и баба, чтобы хорошо стряпать».

Леночка взяла кролика, взвесила его на ладони и улыбнулась довольной, светлой улыбкой:

— О, какой тяжелый, — фунтов на пять!

Слова эти показались мне чем-то в роде комплимента. Из скромности я стал озираться по сторонам. Каморка была маленькая, предназначалась она для номерной прислуги и, кроме кровати, самоварного столика, большого комода да ящика, заменявшего стул, ничего не держала.

— Может быть, ты разрубишь подоконник на дрова?

— Ну, разрублю, — ответил я угрюмо и нехотя, хотя втайне очень обрадовался этому предложению, так как решительно не знал, что с собой делать. Рубил здесь же, в комнате. Рубил лихо, как кавалерист рубит лозу на полковом празднике. Если не удавалось сломать щепку одним ударом штыка, я волновался и кусал губы.

Тем временем Леночка нарезала жесткое мясо и стала разбивать его бутылкой. Потом она достала сковородку, скляночку с сурепным маслом, и я уже по собственной инициативе вызвался помогать ей развести огонь в маленькой печурке. Подоконник горел отлично; в комнате становилось тепло.

— Разденься, сними пальто.

Я разделся. Шинель некуда было повесить. Где-то в углу я нашел гвоздь и рукояткой штыка стал забивать его в стенку. Это была приятная работа: в комнате у Леночки — мой гвоздь, специально для *моей*

шинели. Ржавый гвоздь, погнутый, но для начала и это совсем неплохо.

Леночка держала двумя пальцами ножик и, когда нужно было, переворачивала зарумянившиеся ломтики.

— Вот и хорошо! Теперь пододвинь сюда ящик и мы будем ужинать.

У Леночки даже вилка нашлась. Она отдала ее мне, а сама ела с кончика ножа. Леночка умела есть. Кусочки мяса вспархивали со сковородки, навстречу им сверкали зубы, а маленький рот жевал сдержанно и не претенциозно.

За этим ужином я впервые обратил внимание на то, как едят люди. Прежде речь могла идти только о двух категориях: одни едят много, другие — мало. Все остальные тонкости, оттенки в поведении человека за едой я не умел замечать. А вот сейчас это умение пришло. Я, оказывается, хранил в памяти целые галереи жующих и теперь классифицировал их с робостью новичка. Леночка помогла завершиться сложному процессу расслоения чувств. В несколько минут я осложнился, вырос, обременил себя новым аппаратом восприятий.

— Почему тебя не любят наши девчонки?

— Я их первый не люблю.

— За что это?

— Так.

— За так?! — Леночка смеялась почти снисходительно. — Сколько же тебе лет, парень?

К чести моей скажу: я понимал, что нахожусь в глупом положении.

— С восемнадцатого года.

— Что с восемнадцатого года?

— В комсомоле...

Сознание собственной неловкости запутывало меня все больше и больше. Я как-то ушел в это сознание и что говорил, какую нес чепуху — не помню. Леночка пожалела меня.

— Не сердись, не надо, — я больше не буду.

Мне стало легче, потому что это уже не были изолированные, непонятые чувства. Она дала им выход, приняла их на себя... Вероятно, даже краска уравнилась на наших лицах: я был гораздо спокойнее, а Леночка покраснела... Когда через несколько дней физик объяснял нам закон о сообщающихся сосудах, я вспомнил этот эпизод. Мне почудилось здесь что-то общее...

Остаток вечера мы провели без скуки, в разговоре об ячейке, о рабфаке, о профессорах. На прощание Леночка спросила:

— Завтра придешь?

— Конечно, — ответил я и тотчас же смутился от этой определенности. — Наверно, приду, не знаю, как время будет.

Я поспешил поднять воротник и нахлобучил шапку. Это было кстати: в коридоре трещал мороз.

Все следующие вечера мы коротали вместе. В положенный час я входил и спрашивал без промедлений:

— Что сегодня будем рубить?

Леночка показала на комод.

— Только, пожалуйста, заднюю стенку, а то будет некрасиво...

Поужинав, мы садились заниматься. Ей с трудом давалась геометрия, особенно, когда речь шла об объемных фигурах. Я помогал как умел, старался быть терпеливым, но иногда, когда Леночка, казалось, нарочно заставляла меня повторять объяснения, чтобы только позлить, я вскакивал и топал ногами:

— Ты же поняла, чорт возьми, ты же поняла!

— Ей-богу, нет.

— Не может быть, что ты такая дура!..

— Дура, честное слово, дура...

— Ах, — сдавался я и шел клеить для вящшей наглядности модель из старых газет.

К нам в комнату заходили редко. По вечерам студенты, свободные от лекций, бегали в порт разбирать эстокаду. Там во всякое время были рады паре здоровых рук и за восемь часов работы платили натурой: полфунта хлеба. Другие искали пропитания на волнорезе. Они охотились на черных моллюсков, на мидий, как их называют местные жители. Если наловить целое ведро мидий, то этого, пожалуй, хватит поужинать одному человеку. Все же сытые отправлялись в клуб почитывать, побалагурить, сыграть на трубе. Так приходится говорить, потому что особого оркестра не существовало, а духовые инструменты лежали на столе общего пользования, как журналы в читальне. Кто хотел, тот в них и дул. Через тонкую перегородку к нам доносился ужасный рев, но это не коробило. Наоборот, мы прислушивались и старались угадать: на флейте это играют или на корнете.

Иногда Леночка пела. Не помню что, какие-то украинские мотивы. Голосок у ней был приятный, и я слушал с удовольствием. Но с еще большим удовольствием я смотрел на Леночку. Она неизменно принимала одну и ту же позу: голову склоняла набок, а руками обхватывала колено. Правое или левое? Кажется, правое колено. Стриженные волосы касались почти плеча, рот шевелился как-то несообразно звукам и нельзя было сказать заранее — низкую или высокую ноту возьмет сейчас Леночка. Замечала ли певунья, как я люблюсь ею? Думаю, что замечала. Показная индифферентность, гримасы скуки, которые я кустарным способом старался вызвать на своем лице, неестественно-быстрые зевки, — все это выдавало меня с головой. И мне кажется, Леночке нравилось, что я именно так, в таких формах выражаю свою приязнь к ней. Семнадцать лет — в этом возрасте мужчина имеет право объясняться в любви, нахмутив брови, и это ему даже к лицу...

Потом мы вместе убрали со стола. Обглоданный скелет заворачивался в газету, и я его ежевечерне выносил на помойку. Раз только мы отдали кости голодному, который свалился тут же под окном и

страшно стонал. Я бросил скелет через форточку и, когда спрыгнул, Леночка схватила меня за руку:

— Что, если он не уйдет?!

Я отнял руку:

— Тебе хочется, чтоб он обязательно умер не здесь?

Она молчала, сраженная этим вопросом, а я с какой-то радостной злобой продолжал свою нотацию:

— Нет, тут косточками не отделаешься! Подумаешь, — благодетельствовала человека. Вот умрет он, как миленький, у тебя под окном.

Леночка побледнела. Я видел это, но не мог сразу унять.

— Обязательно умрет. Вот пойду к нему и скажу, чтоб умирал здесь.

Мне не пришлось привести в исполнение эту угрозу. Я, правда, ушел спустя несколько минут, но не на улицу, а к себе. Об этом просила Леночка. Уткнувшись головой в подушку она рыдала. Я стоял рядом.

— Я — сволочь. Хорошо?

Ответа не было.

— Слышишь, — я сволочь!..

— Уйди, уйди...

Ну, я и ушел. О продолжении дружбы нечего было думать. Но как вести себя при неизбежных встречах в аудитории? Почему-то этот второстепенный вопрос волновал меня больше всего. Разрешился же он очень просто. Сама Леночка подошла ко мне во время большой перемены:

— Я наглумилась вчера. Ты не подумай — это все от геометрии.

— Брось, пожалуйста, — я виноват.

— Да нет же, геометрия меня замучила. Вот и случилось.

Так мы все и свалили на геометрию. В тот же вечер ссора была забыта.

Несколькими днями позже я вошел к Леночке. Швырнул кролика на стол и стал ходить по комнате с озабоченным видом. Мое волнение не скрылось от Леночки:

— Что случилось?

Я усмехнулся желчно и продолжал ходить. Так, вероятно, ведет себя кормилец семьи, который только-что получил расчет от хозяина. А положение мое было близко к этому: сегодня я убил последнего кролика. Ни в саду, ни на развалинах их больше не было. Помогал ли мне тайный конкурент или я сам оказался таким прожорой, — во всяком случае, весь род был истреблен. Оставалась только одна беременная кроличиха. Глупо убивать будущую мать раньше, чем она принесет приплод. Правда, на чердаке нашего дома есть кошки. Но там орудует Федя Комаров. Я не мирюсь с мыслью о браконьерстве. Его кошек съест он сам. Мне же придется итти на эстокаду. Но что такое полфунта хлеба для двоих?..

— Почему же ты волнуешься, наконец?

Я рассказал. Леночка слушала очень внимательно. Она меня перебила только когда речь зашла о беременной кроличихе:

— А скоро она родит?

— Шут ее знает — живот большой. Родит когда-нибудь... Да ведь это всего один кролик и несколько малышей.

Мы крепко задумались над горестным нашим положением.

— Некоторые ребята кормятся галками, — начал я нерешительно, — была бы приманка — силки поставили. А так, без зерна, птица не пойдет.

Леночка ухватила за эту мысль. Голосом, рассчитанным на то, чтобы разбудить во мне самолюбие, она сказала:

— А как же ребята? Ведь они тоже без зерна.

— У ребят — рогатки. Теперь резины такой нет.

«Меня ребятами не подковырнешь» — думал я и смотрел на Леночку. Несколько раз она порывалась открыть рот, но что-то ее удерживало.

— Скажи, — и она снова запнулась, — скажи, может быть, подойдет моя подвязка? Не смейся. Дать?

Куда уж там смеяться! Ее предложение смутило меня. Я не мог утаить это чувство: покраснел, покрылся испариной, а Леночка, которая минуту назад так боялась смеха, сама принялась хохотать. Вероятно, надо мной.

— Давай попробуем... Чудак ты с восемнадцатого года!

Юбка слегка приподнялась. Я увидел колено, оно стягивало ногу, делило ее на две половины: таиную и явную. Чулок кончался где-то очень высоко. Нога открывалась моему взору по мере того, как юбка уходила вверх легкими складками. И вдруг розовая полоска, полоска тела, освобожденного от всего.

Я закрыл глаза. Леночка вернула меня на землю.

— Ну, возьми же, не бойся, не укусит.

В руке у меня была подвязка — зеленая с матерчатой каемкой по краям.

— Резина крепкая, а пряжку можно отодрать. Попробуй.

Подвязка у меня. Да, резина, действительно, крепкая. Боясь собственного голоса, я кивнул Леночке.

— Значит завтра у нас будут галки?

Я снова кивнул.

— Ура! — Леночка от удовольствия затопала ногами. — Ура! Ура!

Теперь я стал выстругивать рогатку. Моя хозяйка взялась было за книгу, но отбросила ее скоро. Она запела. Как всегда, в обычной позе. Я не догадался во-время оставить свою работу и в результате порезал палец. Довольно глубоко. Крови не было в первое мгновение, но потом она потекла ручьем на рубашку, на брюки. Леночка тотчас заметила мое несчастье и бросилась помогать. Чистой косынкой она перевязала царапину. Боли я почти не ощущал, ничто не мешало мне радоваться этим легким прикосновениям.

— Теперь тебе хорошо?

Пришлось сознаться: да, хорошо.

— Рубашка-то вся в крови. Сейчас замою.

Концом полотенца, смоченным теплой водой, Леночка стала оттирать пятна. Для удобства она расстегнула засаленный ворот гимнастерки. Ее ладонь касалась моей обнаженной груди. Тогда у меня и созрело твердое намерение поцеловать Леночку. Только я не знал куда: в лицо или в руку. Целовать сразу в лицо я не решался. Просто боязно было. А целовать руки я считал предосудительным для комсомольца. В тяжелых сомнениях прошли несколько минут. Вот она уже взялась за последнее пятнышко. Сейчас все будет кончено. «Куда же, чорт возьми, целовать?» Я посмотрел на губы, собранные в деловую гримасу, — разве можно целовать такое строгое лицо? Оставалась рука. Я уже потянулся к ней, забыв всякую честь, но в этот момент Леночка поднялась и ушла с полотенцем, перекинутым через плечо.

— Смотри, как получилось? Почти незаметно.

Знай Леночка о моем намерении, и она, пожалуй бы, повременила, но я молчал. Время было упущено, и нового случая в этот вечер не представилось.

«Ну, ничего, — утешался я по дороге домой, — зато мы поженимся».

Первая охота на галок оказалась удачной: какие-нибудь полчаса на морозе — и я убил трех птиц. Леночка их отлично изжарила. В этот день мы не занимались и сразу после ужина ушли на собрание. Вопрос, вероятно, разбирался важный, потому что докладывать приехал председатель губпрофсовета. А это — редкий гость на студенческой сходке.

Провозившись с галками, мы опоздали к началу. Люди толпились у дверей, и стоило большого труда разыскать местечко в дальнем углу. Докладчик, обеспокоенный шумом, прервал свою речь. Это был молодой еще человек, типичный русак: глаза голубые и волосы почти белокурые. На руке у него без видимой цели болталась ременная плетка.

Соседи наши, наконец, перестали шикать. Оратор повторил фразу, прерванную на полуслове. Помнится, мне понравилась его манера выступать. Губпрофсоветчик не повышал голоса, воли рукам не давал, говорил дельно, уверенно, а когда шутил, то не смеялся над собственными остротами. Трудно было угадать, какое он произвел впечатление на Леночку. После слов, казавшихся мне особенно удачными, я обращившись к ней, искал одобрения на ее лице, но оно было только внимательным, безотносительно внимательным. Мне было даже немножко обидно за губпрофсоветчика. Чорт возьми, он заслуживал большего.

Речь покрыли аплодисментами. Я хлопал громче всех. А Леночка и не пошевелилась.

— Почему ты не хлопаешь? Хлопай!

Нет, как лежали у ней руки на коленях, так и остались лежать. «Эх, баба, баба — не может по достоинству оценить человека!..»

Председатель объявил перерыв. Меня захороволили ребята, Леночку я потерял.

Абрам Страж, мой приятель, облокотясь на холодную печку, курил махорку. Здесь было еще несколько человек из нашей группы.

— Ужасно тяжело курить натошак... А я теперь почти всегда курю натошак...

— Эх, Страж, — вмешался Федя Комаров, — ты вот куришь, запиваешь водой и тем жив. Ну, а этот дяденька, докладчик, не станет говорить свои речи на пустой желудок.

Мне обидно стало за губпрофсоветчика:

— Может быть, и на пустой.

— Вот и дурак! Он ответственный паек получает: хлеб, сахар сколько-то золотников, крупу...

Техсекретарь забежал с колокольчиком. Нужно было итти из курилки. Федя все продолжал ехидничать:

— Видел плетку? Значит и лошадь есть. Приедет сейчас на квартиру и сладкие свои речи сладким чаем запивать будет.

Я защищал председателя губпрофсовета:

— Что ж, умирать, по-твоему, такой человек должен? Если завидуешь, прямо говори — нечего вола крутить.

— Я — завидую?!

Комаров решил рассердиться, но нечто более важное отвлекло его внимание.

— Смотри, кому это заливает твой ответственный?

В коридоре было совсем темно. Только из дверей зала пробивался луч света. И вот на этом фоне Комаров разглядел фигуру губпрофсоветчика. Одним плечом он прислонился к стене, а голова его почти скрывалась в амбразуре окна. Там должен был сидеть невидимый собеседник.

— Ну, что ж ты замолчал? При нем боишься?

— Я боюсь!? — шопотом спросил Комаров. — Я боюсь!?! Ой, так это ж баба! Смотри, ноги в юбке.

Губпрофсоветчик кончил свой рассказ. Он хлопал рассеянно хлыстом по голенищам в ожидании, когда заговорит наша незнакомка. И она заговорила:

— Хорошо, что так кончилось. Вас могли бы убить...

— Ленка! Так я и знал, — шепнул Комаров с потрясающим апломбом.

Да, это была она. Мы прошли мимо. Я хотел радоваться их встрече, но что-то мешало широко и свободно развернуться моему чувству. Его теснили сомнения: «Зачем же обязательно в темноте? Неужели нет светлых мест?..»

— Так я и знал, — продолжал Комаров, поминутно оборачиваясь, — так я и знал: Ленке ответственные по вкусу. Ты, брат, прав, бабы поганый народ.

Я остановился и сказал:

— Прав-то я прав, а морду тебе все-таки побью.

— За Ленку!? — В голосе Комарова не было ни злости, ни обиды, одно только изумление. — За Ленку?.. За девчонку?!

Я покраснел и сдался.

— Нет, за губпрофсоветчика...

Бычок задыхается в петле, если он хочет уйти от столба, к которому привязан, дальше, чем это ему позволяет веревка. Он роет землю копытами, мычит, брызжет пеной, но веревка крепка, и бычок, изнуренный, подгибает колени. Так и я был отброшен на прежние позиции, к своему столбу. В семнадцать лет не дерутся из-за женщины. По крайней мере, у нас на юге. Признаться перед лицом друга, что я готов переступить этот рубеж, было мне не по силам. Это казалось изменой своим убеждениям. Я предпочел изменить Леночке.

Комарова удовлетворил мой ответ:

— А, за губпрофсоветчика. Ну, понимаю!

Он сказал это так, как-будто разрешил мне себя ударить. Я не воспользовался этим разрешением. Драться за губпрофсоветчика? С какой стати? Обыкновенный парень, только плетку для фасона носит и истории жалобные рассказывает... А Леночка уши развесила... «Чорт, хоть бы луна была» — подумал я тоскливо.

Мы вошли в зал. Заседание еще не открывалось. В первом ряду я занял два места — для себя и для Леночки. А пока стул оставался свободным и служил приманкой для завистливых взоров.

— Занято! — отвечал я всем, кто подходил справляться, и ребята устраивались на полу.

Председатель открыл собрание. Леночка все не шла. Больше того: новый докладчик успел исчерпать свое время, а стул оставался свободным. Свирепо поглядывали ребята. Я даже шопот их слышал:

— Вот сволочь: занял место для своей шапки и не хочет уступить!

И в самом деле — к чему этот смешной стул, когда Леночке так хорошо на холодном каменном подоконнике? А может быть, этот белобрый подстелил ей свой френч?!» Ужасная мысль! Она уже не вызвала никаких сомнений, как-будто я видел это собственными глазами. «А еще они могут целоваться!» Могут. И, наверно, целуются, раз в коридоре темно, а Ленка такая...

Я убрал шлем со стула и отвернулся. Один из завистников тотчас занял освободившееся место. Он распахнул пальто и широко расставил локти:

— Ну, слава богу!

— Подумаешь, божий человек нашелся. Гнать таких с рабфака!

Он попробовал огрызнуться, но я не слушал. Гипотезы созревали в воображении, громоздились одна на другую. «Они целуются!.. На его френче!..» В результате этих размышлений я встал и направился к двери. Даже в несчастье надо быть мужественным, нужно заставить себя испить горькую чашу до дна.

За моей спиной закрывали собрание. На разные голоса пели «Интернационал».

Теперь в коридоре было совсем темно. Безо всяких стеснений я вынул коробок со спичками. Серная спичка распространяла удушливо-сладкий запах, долго тлела и, не пожелав вознаградить меня за все эти неприятности, вдруг потухла. То же случилось и со второй спичкой. Ну, что делать? Эх, наудачу! И я зажег сразу несколько спичек. Как медленно, как лениво разгоралось фиолетовое пламя. И все-таки свет бежит уже по стене, по окнам. Я делаю шаг вперед, вытягиваю руку насколько это возможно. И я достаю губпрофсоветчика. Я достаю его!

Не знаю, как назвать это чувство. Скорее всего я был разочарован, когда увидел на губпрофсоветчике френч — гладкий без одной морщиночки. Да, разочарован, а не обрадован. В противном случае разве могла б у меня возникнуть такая мысль: «Чистенький, гладенький, ответственный... — вот сволочь!»

Спичка догорела и обожгла мне пальцы. Губпрофсоветчик спросил:

— Кончили?

Я так жадно вдумывался в интонацию, с которой он произнес это слово, что не ответил.

— Мне с секретарем поговорить надо. Я пойду. Вы не очень соскучились со мной?.. Будьте здоровы.

Они распрощались, и губпрофсоветчик ушел. Леночка спрыгнула с подоконника и с шутливой неловкостью стала шарить руками в темноте.

— Где же ты? Где же ты?

— А тебе зачем? — осведомился я угрюмо. Она побежала на мой голос.

— Чудак, сердисься? Ведь там ничего интересного не было.

— На собраниях всегда интересно...

Этот пуританский ответ рассмешил Леночку:

— Ну, ну, злюка! Скорей домой!

«Неужели она не возьмет меня под руку» — думал я и демонстративно убрал свои руки, когда Леночка хотела это сделать. По улице шли молча. Только у самых дверей своей комнаты Леночка на минуту задержалась, чтобы сказать:

— Ты был прав: он очень симпатичный товарищ.

Уже второй раз за этот вечер со мной соглашались, признавали мою правоту. О, эти признания звучали, как насмешка, как издевательство, но у меня не было слов, чтобы на них ответить. Наученный опытом с Комаровым, я опустил голову и сказал только:

— Вот видишь...

Так закончился первый день в моей жизни, когда я дважды пожалел о сказанном. Это — начало: я становился взрослым человеком.

На следующее утро мне удалось убить двух галок. Рука после бессонной ночи дрожала — плохое качество для стрелка. Всякий охотник вам скажет то же самое.

Я был рассеян на лекциях, отвечал невпопад и всю большую перемену просидел в курилке, чтобы только не встречаться с Леночкой. Здесь, на этих шумных коридорах, мне не хотелось ее видеть. Другое дело в комнате, когда мы будем одни. Ничто, ни один след, ни одна мимолетная тень не укроется от моих глаз. Я буду, чорт возьми, знать правду... Ах, друзья, никогда мужчина так не верит в свои силы, как в тот период, когда у него ломается голос. Я бы и теперь мирился с фальцетом, лишь бы сохранить былую самоуверенность...

Итак, в положенный час я постучался к Леночке, испытывая острое, почти свирепое желание узнать все, сразу и до конца.

Леночка стояла ко мне спиной у круглого столика.

— Давай их сюда! Я так проголодалась. Ты ведь тоже есть хочешь? Правда?

Не получив ответа, она медленно обернулась ко мне и повторила с добродушным нетерпением:

— Давай же птиц! Куда ты их спрятал?

Я был сражен. Нет, уничтожен. Чего ты хотел, чего домогался от этой девушки? Вот она стоит пред тобой, — в руках бутылка с маслом, на лице обычная улыбка и вся она такая обычная, давно знакомая в своем сереньком платьице. Где же твои галки, дурак? Ты их бросил под стол, закружившись в подозрениях, ты забыл о них, забыл, думая только о ней.

Леночка подошла, расстегнула на мне шинель и стала шутя шарить за поясом, по карманам.

— Как?! — воскликнула она, наконец, громко. — Как?!

Разбуженный от столбняка этим криком, я пулей бросился из комнаты и через минуту вручил бедных пичужек своей возлюбленной. Она смеялась:

— Ну, быть тебе профессором: профессора всегда что-нибудь забывают.

Все пошло своим чередом: Леночка ошипала галок, приготовила прекрасное жаркое, и мы поужинали. Потом уселись заниматься. Как всегда, я топал ногами и швырял об пол учебник Киселсева. В заключение Леночка спела. Я недовольно морщился и просил:

— А ну, «Поддай рученьку». Ужасно глупая песня...

За эти несколько часов о губпрофсоветчике не было сказано ни слова. О нем я вспомнил уже значительно позже, в постели. Вспомнил без злобы и тотчас же уснул.

Утром вывесили расписание зачетов. Зимний семестр вот-вот кончался, и каждому из нас предстояло ответить ученой комиссии по двенадцати предметам.

— Готовиться будем вместе?

— Можно и вместе, — ответил я, как всегда уклончиво.

Едва поужинав, отказавшись от обычных развлечений, мы стали просиживать целые вечера над книгами. Я занимался не хуже других товарищей по группе, но все-таки немножко трусил перед этими первыми зачетами. Жульничать, «сдавать на арапа» в те поры не умели. Даже простое подсказывание на лекциях квалифицировалось у нас как проступок глубоко антиобщественный, за который виновных частенько бивали.

— Не устраивай гимназию из рабфака! — учил своих жертв Андрей Малыгин — наш староста, судья и палач.

Леночка помогала мне готовить немецкий, но я зато старался быть добросовестным ее экзаменатором по геометрии. Строгий и педантичный, я усаживался и говорил Леночке:

— Расскажите нам, что вы знаете о вертикальных углах.

Она молчала некоторое время, а потом поспешно справлялась:

— О вертикальных углах?

— Да, о вертикальных.

Леночка смотрела в потолок.

— Постой, на какой же это странице?

— Вот тебе раз! — удивлялся я. — Так это ты и у комиссии будешь спрашивать? Говори прямо — знаешь теорему или нет!

— Скажи страницу.

— Брось!

— Подумаешь, задается. Комиссию из себя разыгрывает! Говори страницу.

— Не скажу.

— Ага, не скажешь? Так вот: ты провалишься по биологии. Ручаюсь. Сколько желудков у коровы? Товарищ, скажите, пожалуйста, сколько желудков у коровы?

Леночка ранила жестоко и без промаха. Я терпеть не мог биологии, и коровьи желудки меня смутили. Еще вчера кто-то из друзей поймал меня на ехидном вопросе: «Сколько ножек у сороконожки?» Теперь я уже не считал себя в праве быть учителем.

— При чем здесь это?.. Ну, на сорок восьмой, если тебе так легче.

Леночка победила.

— Вот так бы сразу. А теперь прочти мне это место. Я забыла о вертикальных углах... Постой, постой, еще раз, сначала; и не так спеши, более внятно. Вообще глупо спрашивать такие легкие теоремы!

Нам перестало хватать вечерних часов. Запасшись дровами, мы просиживали ночи иногда до рассвета. В таких случаях я прямо из Леночкиной комнаты отправлялся на охоту. Леночка меня провожала. Она застегивала крючки на моей шинели, помогала затянуть пояс и, забываясь о том, чтобы я не отморозил себе пальцы, мазала их сурепным маслом.

— Теперь ты готов. Иди. А я протру дырочку в стекле и буду на тебя смотреть.

Она дышала на заиндевевшее стекло, а я, вместо того, чтобы подойти и поцеловать ее, зевал, страшно раздирая рот...

— Смотри, ворону проглотить.

Это был каламбур: я шел стрелять галок и ворон.

«Нет, сейчас не время целоваться. Вот зачеты пройдут — тогда...»

Даже в робости я был дерзким.

Кончилась неделя. Два дня оставалось до первого экзамена. Два дня и две ночи. Я отправился к Леночке, неся в руках бумажку, на которой был подробно изложен план занятий. Перечитывая его дорожкой, я медленно спустился по лестнице и стал отворять дверь. На стене висело мужское пальто, рыжее с меховым воротником. «Фу, чорт возьми, куда меня угораздило?» Я решил, что ошибся комнатой, и захлопнул дверь.

Но нет, здесь, именно здесь жила Леночка. Ошибиться было невозможно: я слишком хорошо знал дорогу сюда. Эта дверь, — она ли мне незнакома? И, наконец, вот записка: на ней крупным почерком написана фамилия Леночки. Через стенку я слышу ее голос: кто же там? Впрочем, по боку анализ. «Глаза более точные свидетели, чем уши» — сказал Гераклит, и я отворил дверь.

Рыжее пальто — на прежнем месте. Что это?.. Оно висит на моем гвозде! Я его вбивал для себя одного, я не хочу разделять ни с кем мой гвоздь!

На комодѣ лежит мохнатая шапка и из-под нее, как хвост большой крысы, обернувшейся ко мне спиной, свисает длинная ременная плеть.

Теперь я знаю, кто в гостях у Леночки.

Губпрофсоветчик сидел на ящике. Он рассеянно перелистывал мой конспект по истории и улыбался. Чему? Может быть, орфографическим ошибкам. На губпрофсоветчике высокие сапоги, они почти касаются Леночкиных туфель. Однако, как она владеет собой! Ничто на этом лице не выдает волнения. А в том, что Леночка волнуется, что она смущена, я не сомневался тогда, хотя для такой уверенности у меня не было никаких серьезных оснований. Леночка могла свободно и не волноваться.

Губпрофсоветчик захлопнул тетрадь:

— Спойте еще. Мы с товарищем послушаем.

Она пела ему. Все кончено. На меня нашла сонливая апатия, я даже заулыбался, обретя вдруг безмятежное спокойствие, как замерзающий путник. Только бумажка выпала из моих рук и мягко спланировала на пол.

— Споете?

— Нет, нам нужно заниматься.

И сказала она это так деловито, так просто, что надежды снова стали возвращаться ко мне. А с надеждами — и возбуждение и гнев.

Губпрофсоветчик поднялся и надел пальто.

— Ладно, не буду мешать. Но вы помните о нашем условии?

— Помню, — ответила все тем же тоном Леночка, и я при всей своей мнительности не мог заподозрить здесь ничего ужасного.

Они распрощались. Губпрофсоветчик вышел. Леночка подобрала с пола мою бумажку, прочла ее очень внимательно и сказала:

— Почему же только до декабристов? Мне кажется, что сегодня можно повторить всю историю.

Я молчал, стараясь разгадать, думала ли она в самом деле о декабристах. Потом мне вдруг захотелось попросить ее спеть. И я сделал бы это, но Леночка опередила меня:

— Ты еще не раздет? Ведь и так он столько времени отнял. Раздевайся.

Я снял шинель, долго держал ее в руках и, наконец, положил на ящик. Леночка доставала учебники, потом стала крошить анилиновый карандаш, чтобы развести чернила.

— Он славный парень. Только не во-время пришел: самая горячка... Садись поближе к свету и читай.

Я читал про Иоанна Грозного. Страницу за страницей. А думалось совсем о другом: «Если они просто товарищи, как говорит Леночка, то почему же они называют друг друга на вы?» Это казалось очень подозрительным.

К полуночи мы разделались с историей. Леночка была довольна.

— Вот хорошо! Теперь давай математику, чтобы сегодня закончить.

Такой академический азарт окрылил меня. Губпрофсоветчик не так уж страшен, если Леночка готова всю ночь просидеть над книгами.

Только с рассветом я ушел к себе, усталый, без сил и без мыслей. Зато весь курс был пройден, и у нас оставался целый день на повторения. Ох, как бы добраться до койки! Уж я наверстаю за все бессонные ночи. А лекции? бог с ними, — лекции прочтут и без меня.

Проснулся я много часов спустя. Ужасно хотелось есть. Но ведь есть-то нечего. Решил попытать счастья на кладбище. Там, мне говорили, гнездятся особенно большие и жирные галки.

Далеко за заставой хоронили людей. Дорогу найти было нетрудно: меня поминутно обгоняли мертвецы. Они неслись рысью в крытых фургонах, просторных и вместительных. Единственный катафалк, предназначенный специально для покойников, промчался хорошим аллюром, громяхая стекляннм кузовом на поворотах. Я едва разобрал надпись: «господи, прими душу усопшего раба твоего». А сзади уже догоняла почтовая карета с лозунгом во всю стенку: «почта сближает людей». Случайно распахнувшаяся дверца выдала тайну кареты: ее тоже мобилизовали для санитарных надобностей.

За кладбищенской оградой у самых ворот красноармейцы рыли братские могилы, широкие, как траншеи. Я прыгал через них с разбега. И только одну траншею обошел: как-будто скошенные пулеметным огнем неприятеля, на дне ее лежали мертвецы.

Мне сказали правду: подальше, среди старых акаций, водилось множество галок. Превосходство этих птиц над городскими можно было заметить при первом же взгляде на их добротное оперение и гордый, независимый стан. Я прятался за крестами, выслеживая стайку, и стрелял почти без промаха. Не помню точно размеров добычи, но она была велика. Нас с Леночкой ждет небывалый ужин. Хватило бы только масла. Обвешанный галками, я не стал возвращаться прежним путем, а попросту перемахнул через забор. И здесь повезло: только что я ступил несколько шагов, слышу, мне кричат с фургона:

— Садись, прокачу!

Оказывается, товарищ-политехник служит кучером в коммунальном хозяйстве. Всю дорогу он прохвастался:

— Санитарам действительно скверно, а у меня работа чистая. Только за лошадьми смотрю.

Из чувства признательности я радовался вместе с ним. Зато в полчаса он довез меня до самого общежития.

Справившись со своими делами, я отобрал лучших птиц и пошел к Леночке. Странно, ее комната оказалась запертой. Пришлось возвращаться к себе. Голод меня одолевал и тем тяжелей было переносить ожидание. Прошел час, а может, и больше; чтобы как-нибудь отвлечься, я переписал несколько протоколов бюро ячейки... «Ну, теперь то она дома». Что за оказия — дверь попрежнему под замком! Я сбегал на рабфак, посмотрел доску объявлений — не на собрании ли Леночка? Но в этот день не было ни одного собрания. Так значит самому готовить ужин? Да, ничего лучшего не придумаешь.

На черном дворе, разбросав снег, я накопал глины. Было совсем темно. Дворик не освещался даже из окон. Народ спал.

Огонь разгорался медленно. Я приготовил тесто. Галки, покрытые глиной, лежали в печке, словно вылепленные.

Хорошо отдохнуть в ожидании ужина, раскинувшись на кровати и протянув ноги к теплу. Но я не воспользовался этими благами. Началось с маленького: хочется есть, галки сейчас поспеют, если Леночка к тому времени не придет, — ужинать мне или не ужинать? «Почему же ее все-таки нет?» Я стал вспоминать во всех подробностях события вчерашнего дня и чем дальше углублялся в воспоминания, тем тревожнее себя чувствовал. «О чем они улавливались? Может быть, он пригласил ее в гости или в театр?» За несколько минут мною была создана довольно стройная теория. Вчерашнее Леночкино усердие я объяснял уже не иначе, как порочными побуждениями: попросту ей хотелось от меня избавиться. Они в театре. Я даже знаю ложу губпрофсовета во втором ярусе.

Но, нужно сказать, ни один из самых пессимистических вариантов не предусматривал возможности, что Леночка вовсе не придет ночевать к себе в комнату.

А случилось именно так.

Галки давно были готовы. Я с полчаса раздумывал, ужинать ли мне одному, и, наконец, с'ел трех птиц, выбирая, которые помельче. Огонь в печке еще не погас. Я все лежал на кровати и так, незаметно для себя, не раздеваясь, уснул. Уж очень я, видно, утомился, потому что спал беспросыпу и без сновидений до утра.

Собственная нога, обутая в сапог, было первое, что я увидел, открыв глаза. Она напомнила мне всю вчерашнюю ситуацию.

«Так поздно пришла, что постеснялась зайти» — думал я, поднимаясь и отряхивая измятую одежду. «Послушаем, что она будет брехать. Любопытно». С полотенцем в руках я отправился вниз к умывальникам.

На Леночкиной двери висел замок и моя записка. Она пожелтела, углы повисли вниз, как лепестки на увядшем цветке.

Спасительная Апатия пришла мне на помощь. Довольно спокойно я скомкал бумажку, не забыл воткнуть кнопку в каблук и пошел умываться. Покончив с этим, я вернулся и сел завтракать. Волнение, может быть, выразилось только в том, что незаметно для себя я одолел четырех галок, самых крупных.

В коридоре зазвонили. Начинался первый день зачетов.

Леночка вошла в аудиторию уже когда члены комиссии сидели за своим столом. Вошла, кивнула кому-то из подруг и заняла место на первой скамье.

Моя соседка Кулагина сказала:

— Бедная Ленка, ее сейчас вызовут. Нехорошо, когда фамилия начинается на «А».

Я мрачно пожевал губами:

— Ладно, теперь она может называться другой фамилией.

На Кулагину эта фраза произвела неожиданно большое впечатление. Она приблизила ко мне свое лицо. Глаза ее и рот улыбались:

— Расскажи!

До чего девчонки любопытны. Кулагина шептала почти с мольбой:

— Расскажи, пожалуйста!..

Я отмахнулся от нее:

— Не приставай.

Действительно, Леночку вызвали одной из первых. Она, как всегда, гладко отвечала по алгебре. Комиссия была довольна и только преподаватель геометрии улыбался, как-будто хотел сказать: «Погодите, она у меня попляшет!» Мне казалось, что я разгадал эту улыбку. «Правильно!—кричал я про себя.—Она попляшет!» Я ничуть не стыдился этого чувства: «Руку, профессор!»

— Теперь побеседуйте с Петром Ивановичем, — сказал наш декан Леночке. Мой союзник поклонился ей очень вежливо и стал диктовать теорему. Это была та самая теорема о вертикальных углах. Леночка ее доказала.

— Так, — сказал профессор с довольной улыбкой (я нашел ее почти изменнической), а каковы свойства параллелограмма?

«Ну, это безобразие! Спрашивает как раз то, что Ленка знает. Пифагором, Пифагором кройте ее!» Профессор задал еще несколько вопросов и, выслушав ответы на них, приятно удивился.

«У-у, интеллигентишка, размазня!»

— Можете итти, — сказал декан, — до завтрашнего дня вы свободны.

«Сдала, — думал я, провожая глазами Леночку. — Ну, а разве без меня она б выкрутилась? Теперь — свободна. Верно, опять убежит на всю ночь». В подобных размышлениях прошло несколько часов. Я сидел на «горе». Профессора отсюда казались все низенькими и толстыми. Скамьи по соседству давно пустовали. Наконец, была прочитана и моя фамилия. Я отвечал медленно, с усталой сдержанностью. Это придавало убедительность моим ответам, и через десять минут я вышел из аудитории.

Дома было грязно и холодно. Скелеты птиц валялись на столе среди учебников и глиняных черепков. Весь этот мусор я хотел высыпать в платяной шкаф, но потом решил, что и мусору и шкапу лучше сгореть в огне. Мой штык должен был участвовать в этой операции. За ним пришлось итти к Леночке. «Просто попрошу штык и уйду» — наметил я образ своего поведения.

— Можно войти?

— Конечно, — ответили мне.

Посреди комнаты стояла Кулагина со щеткой в руках.

— Что ж ты не сказал сразу? Теперь я все знаю!.. А комнату отдали мне. Ты здесь был прежде? Правда, хорошо?

Я страдал как-будто от резкой перемены температуры. В этой комнате живет другая. Здесь все по-старому: старая мебель, мой гвоздь в стене, матерчатый абажур, и только кровать покрыта непривычным ярко-зеленым одеялом. Сутки переполнены событиями. Думал ли я вчера, на кладбище, что это кончится так?

— Слушай, Кулагина, Лена брала у меня штык. Отдай-ка его.

— Штык?.. Ах, вот этот, противный? Я хотела его выбросить.

— Попробовала бы!

— А что? — пусть не оставляет вещей в чужих комнатах.

«В чужих комнатах?» И верно — ведь это чужая комната. Я вышел в коридор. По лестнице поднимался Федя Комаров.

— Вот хорошо. Зайди ко мне.

У Феде топилась печка. Уже ради этого одного стоило зайти. Хозяин превратил свою комнату в мастерскую. К столу были привинчены тиски и маленькая наковальня. У стен по углам лежали куски водопроводных труб. Под ногами хрустели металлические опилки.

Федя занялся производством могильных крестов. С тех пор как на православном кладбище в одну ночь пропали все деревянные кресты, родственники умерших стали предпочитать памятники из водо-

проводных труб. Федя работал у подрядчика. Трубы доставались даром — их много было на развалинах бани.

— Кошек ты забросил?

— Пока да. — Федя поставил перед собой стул, как это делают некоторые ораторы, и продолжал громко:

— Ленка женилась.

— Слышал.

— И знаешь на ком? На твоём любимчике, который ответственный паек получает.

— Тоже слышал.

— Прекрасно. Так вот: я знаю, что ты думаешь о наших девчонках, вполне с этим согласен и именно потому хочу договориться с тобой. То, что сделала Ленка, не имеет себе названия. Это измена!..

«Измена? Неужели он знает, что Леночка изменила мне?»

— Это — измена пролетарскому делу, — успокоил меня Комаров, — это — шкурничество, это — дезертирство! В то время как весь рабфак голодает, она будет роскошествовать, есть на серебре бутерброды с маслом, будет ходить в калошах, как последняя гимназистка!..

И все-таки его гнев был ничтожен по сравнению с моим. Именно поэтому я мог сохранить внешнее спокойствие.

— Верно я говорю?

— Ну...

— Таким не место в комсомоле. Нужно поставить вопрос об ее исключении. Пусть десять раз он ответственный: дезертировать с фронта нельзя ни к какому мужу. Я рассчитываю на твою поддержку.

— Посмотрим. Боюсь, что из этого ничего не выйдет.

— Эх, ты, революционер! Добиваться надо. Давай руку!

Я очень вяло ответил на рукопожатие. К чему? В этом мире не найти равного мне союзника. Комаров говорит, в конце концов, глупости. «Дезертирство, шкурничество» — пустое. О, если б Леночку можно было исключить за измену! Но разве за измену мне исключат?..

На завтра уже весь рабфак знал о Леночкином грехопадении. Комаров рассылал гневные послания с надписями в правом углу: «Прочти сам и передай другому». Большинство читало их с улыбкой. Но, прочтя, передавали соседям. В аудитории становилось весело; декан несколько раз стучал карандашом по графину, стараясь водворить тишину. Федя дулся. Он не рассчитывал на такой эффект и теперь послал эстафету вдогонку своим декларациям: «Прошу добавить — только для действительных членов РКСМ».

Я следил за Леночкой. Она уткнулась в книгу, не придавая значения приглушенным взрывам смеха, хотя, по-моему, в ее положении всякий смех должен был казаться подозрительным.

В этот день зачеты сдавались коллективно, опросом всей аудитории. Когда, наконец, члены комиссии ушли, Абрам Страж взобрался на кафедру и попросил закрыть дверь. Свою речь он начал обычной

кислой гримасой, под которой всегда скрывалась ракета остроумного злословия.

— Товарищи, поздравляю, нас отметил бог. Или не бог, так губпрофсовет.

Смеялись все: и сдавшие и провалившиеся на зачетах. Только я заставил себя сохранить невозмутимое спокойствие. Абрам продолжал:

— Говорю вам, как Страж, этот факт не должен лежать под сукном. Мы вывесим мраморную доску и напишем: «Здесь училась наша радость и наша гордость: Леночка-губпрофсоветчица».

— Дурак! — крикнула Леночка, срываясь с места.

— Bravo! — кричали в аудитории. Леночка скользнула глазами по амфитеатру. Один я не смеялся и не хлопал в ладоши.

— Дураки! — и она убежала прочь.

Федя Комаров решил воспользоваться моментом:

— Товарищи, нельзя терпеть. Всей группе нанесено публичное оскорбление.

Эта фраза послужила новым поводом для смеха. Малыгин толкнул Федю в бок:

— Чего раскудахтался? Смейся, когда смешно, а трагедию разыгрывать нечего. Подумаешь, — оскорбление!

Но и в следующие дни Комаров не унимался. За полной своей подписью он вывесил в коридоре «Открытое письмо дезертиру». Письмо сняли по постановлению бюро ячейки. Я не присутствовал на заседании. Эта была первая в моей жизни дипломатическая болезнь. Кулагина, ярая приверженка комаровской партии, охотно делилась своими сведениями:

— Понимаешь, иду по Пушкинской, и вдруг — Ленка! Тащит за собой саночки, а на них кулечки, кулечки... Полно жратвы. Наверно, мужнин ответственный паек получила. Не успела замуж выскочить, а уже паек.

Собеседники обычно над ней посмеивались:

— Вот бы тебе такого мужа!

Леночка приходила в аудиторию всегда после звонка. Она не искала встреч ни с кем из нашей группы. Вызовут ее, — она ответит и уйдет тотчас же. Малыгин ухмылялся:

— Ничего, пусть перебесится...

Прошли последние зачеты. Начались зимние каникулы. Я скучал. Раза два ходил на кладбище, потом дрова пилил для детского дома, — вот и все развлечения. Галки надоели. Перешел на воробьев. Их нужно с полсотни, чтобы пообедать. Ничего, зато охота интересная: попади-ка в воробья! О Леночке думал много. Я ничего не забыл, и чувства горькие отравляли меня.

Однажды под вечер зашел Петя Савушкин.

— Пойдем в партийный клуб.

— Можно.

До своего знакомства с Леночкой я часто бывал в этом старом особняке. Готика всегда молодеет, и дом этот, построенный бог весть когда, походил на старичка, вечно бодрого, вечно стройного и сухого. Даже клубную вывеску он носил легко, изящно, как человек, привыкший одеваться по моде, носит свой костюм.

Комнаты и залы дворца были обставлены с роскошью. Я любил ступать по мягким коврам, прикасаться к холодной меди статуэток или гладить рукой безукоризненные изгибы кресел. Хороша была и столовая, отделанная темным дубом. По членским книжкам здесь отпустили морковный чай с монпансье.

Мы прошли с Петей через все эти комнаты в бильярдную. Народу было мало, и маркер Николай Семенович, инвалид гражданской войны, поставил нам пирамидку. На бильярде я выучился играть этой зимой здесь же, в клубе. Вечером, когда дома пустынно и холодно, я приходил сюда, искал своего учителя — заведующего здравотделом, — и мы гоняли шары иногда до полуночи.

Петя проигрывал мне одну партию за другой, но это его не огорчало нисколько.

— Между прочим, — говорил он, — «Джойнт» выдает одежду еврейским ребятам. Ты свободно можешь сойти за еврея. Правда, остались только жилетки и шапокляки, но и это верный фунт хлеба.

— Ладно, сойду за еврея, — и я положил последний; тринадцатый шар. — Бросим?

— Бросим, — охотно согласился Савушкин. — Я поднимусь в библиотеку.

Николай Семенович убирал шары в ящик, инкрустированный перламутром. На соседних столах играли новички. Смотреть на них было скучно. Не спеша, я вышел в буфет.

За столом направо сидело несколько человек. Двух я узнал сразу: это была Леночка с мужем. Губпрофсоветчик обжегся о жестяную кружку и держал палец во рту. Он меня не заметил. Зато Леночка видела меня и, кажется, не спускала глаз. Я весь ушел в походку. Как удержать ноги от слишком поспешных шагов, как заставить их ступать легко, спокойно и непринужденно?

Вот, наконец, маленькая гостиная. Здесь тихо. Глубокое кресло поглощает меня целиком. Жалко, что нельзя так уснуть. А спать хочется: мне даже лень обернуться на шаги, которые я слышу у себя за спиной.

— Ты здесь? Давай поговорим.

Леночка подошла и облокотилась на золоченую шифоньерку.

«Она не боится со мной говорить!» Это был страшный удар. Он пригвоздил меня к креслу. Леночка продолжала:

— Ты один из тех, кто просто и по-товарищески может отнестись к маленькому событию, которое произошло в моей жизни. Ну, я вышла замуж за коммуниста. Что тут зазорного? А ребята травят меня, не дают прохода. Шуточки, насмешки, — это кого не выведет из терпения! Ведь я же человек... и комсомолка.

«Она обращается ко мне за помощью. Она всегда считала меня мальчишкой. Я — не мальчишка, я — любящий мужчина!»

— Почему ты волнуешься? Мне кажется, наши отношения... Скажи, — прибавила она неожиданно быстро, — у тебя не примешивается что-нибудь личное?

«Ах, вот как! Маркиза начинает догадываться!» Я вскочил взъяренный.

— Это ты про что! Знай, я подобной чепухой не занимаюсь! Свои качества прошу не распространять на других!

Леночка, трепещущая, бедная Леночка, попятилась от меня.

— И ты тоже...

— Обязательно. Буду бичевать, как мне подсказывает революционная совесть.

Черные бровки надломились, и рот стал совсем мягким.

— За что же?

— Как за что? Очень просто...

Я силился припомнить всю комаровскую аргументацию.

— Во-первых, — это дезертирство. Дезертировать с фронта нельзя ни к какому мужу. Потом — шкурничество... Потом — измена пролетарскому делу... Вот!..

Рояль стоял поблизости. Леночка уронила головку на его блестящую клавиатуру. Я засунул руки в карманы, собираясь уйти. Но, нет — это не все. Под рукой — рогатка. «Отдать, отдать сейчас же». Резина со стоном отделялась от дерева.

— На, возьми свою принадлежность.

— А чем же ты будешь стрелять птиц? — И она зарыдала.

Я побежал отсюда, сшибая мебель, топча ковры, — побежал, чтобы самому не расплакаться.

Ветер разбойничал на улице, во всем ему покорной. Редкие окна светились умоляющими огоньками, деревья заламывали руки в безмолвии, и лихому ветру стало тоскливо от этой животной покорности: он ушел к морю. Город шевелился, оправляясь от страха. Кто-то невидимый у стены твердым голосом звал маму и просил хлеба; одинокий звонок дребезжал в переулке.

Я шел посреди мостовой. Я пел громко.

Ах, зачем ты меня целовала,  
Жар безумный в груди затая,  
Ненаглядным...

— Товарищ, документы пред'яви. — Матросы в куцах бушлатах прочли мое удостоверение.

Ненаглядным меня называла  
И клялась: я твоя, я твоя.

Совсем близко завязалась перестрелка. Город-трусишка открыл пальбу, когда ветер уже искал счастья в море, под Очаковым.

# Жена комиссара

П. БОЛОХИН

И щебень, и развороченная земля,  
И птицы кричащие: «Снег! Снег!»,  
И волки, и ветер орут в поля:  
— Война! Идет человек и еще сто тысяч человек!  
Жена комиссара в шляпке и в бусах  
Сошла с подводы: — Какой мороз! —  
И — в церковь, где лошади ели овес,  
Уткнувшись в разбитые ноги Иисуса.  
У царских врат валялись ключи,  
И под лампадами шаркали тени,  
И запах ладана и мочи  
В ее груди рос — и волнение.  
Их две жены идут за полком.  
Промчится ли туча, стороной, несмело,  
И кажется им, что снежным ковром  
Покрыто любимое тело,  
Иль солнце шумное ввалится в гости —  
Оно обжигает родные кости.  
— Ворон, выключи глаза другому:  
Моего мужа ждут дома! —

Ветер гуляет напропалую,  
Конь спокойно стучит ногой.  
Приедет пыльный и поцелует  
И снова в бой, и снова в бой:  
Нет, лучше б седые глаза слезились,  
Нет, лучше бы волос выцвел совсем,  
Чем слушать, как перекачываются мили,  
Говорит земля: — Всё с'ем,  
Мне лошадь подковами череп разбила,  
Танк наступил пьян и груб,  
От меня отшатнулась в страхе могила,  
Жена комиссара, это не труп,  
И нет уже тела во мне, кроме колких  
Глаз, но, слушай, они на войне,  
И если она прекратится, то только  
По женской, по глупой моей вине! —  
Осенний ветер трубит, натужась,  
В рога, в поля, на весь белый свет.

...Жена комиссара идет к мужу  
На фабрику, в душный его кабинет.  
Но скучно. Бумаги. Куда деваться?  
Куда деваться? Все то же, опять,  
И нет ребенка, чтобы смеяться,  
И пушек нет, чтобы рыдать.  
Густой, холодный чай запакован  
В облезлых ящиках, как лишай.  
Он давит её, этот груз стопудовый:  
— Утром чай! Вечером чай!  
Что делать? Глаза обжигают ресницы.  
Родная, чужая рука у плеча.  
Уходит муж и возвратится.  
Утром чай! Вечером чай!  
И лишь иногда червивые ноты,  
Высокие тучи шипят и плывут.  
Что делать? Быть может, и мне на работу,  
И к чорту уют! —  
Он говорит: — Лишний труд! —  
А тучи идут, идут...

---

# Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение <sup>1</sup>)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У т р о

1

**Н**У так как же, дети, с чего начинается утро?  
Молчанье, и только один звонкий голос выпалил:  
— С домов!

Дело происходит в классе. Впрочем, можно ли это назвать классом? Дует из-под дверей, где могла бы пройти старая крыса с выводком. Дует из окон, из щелей в стенах, из щелей в полу. За окнами носится мартовский ветер. Облака в лебе лежат колечками, точь-в-точь дешевый крем из мыльного корня для кондитерских трубочек. А за столиками, свесив вниз ноги в стоптанных чевячках, калошах, ботиночках поновее, три десятка ребят обоего пола впились глазами в новую «руководительницу». Старую они спровадили. Старая всхлипывала на уроках. Ее провожала в школу мамаша. В уши она закладывала вату, потом затыкала уши пальцами, кричала громче всех в классе и в учительской закатывала истерики: она оборонялась от детей. Но сейчас, когда старая ушла, в классе нашлась ее партия. Эта партия острыми глазами следила за новой, готовясь поймать в ней тысячу смешных сторон, — и с безошибочной зоркостью уже заметила: муфта!

Руководительница была пожилая, лицо квадратное, шотландского типа, с квадратным большим лбом. Руки ее пахли дымом, не отмываемым ни водой, ни мылом, — многолетняя возня у железной печки. Одета она была без всяких претензий, но и неплохо, а муфта из старого плюша, огромнейшая, сразу удивила ребят. Плюш на муфте до того обносился, что уже не осталось ворсинок, только желтели отпо-

---

<sup>1</sup>) См. «Новый Мир», кн. 1 с. г.

лированные временем крупные редкие нитки. Подкладка висела из муфты подшитыми, но все же бахромчатыми кусочками. Муфта была набита, и руководительница положила ее возле себя с такой осторожностью, словно там были все ее драгоценности. Оппозиция начала строить догадки: «живой кот, она его с собой носит», «новорожденный ребеночек», «теплые вязаные штаны», «чай с самоваром и булками». Но тут предположенья были сразу прерваны, и оппозиция против желанья взята за шиворот неожиданнейшим открытием урока:

— С чего в нашей стране начинается утро?

Раскрыв рты, ребята принялись догадываться, куда маленький человек, встав с места, не выпалил «с домов». Один его чулок, подстегнутый к резинке английской булавкой, неизменно срывался и скользил к башмаку, ножка была красная и вся в синяках и царапинах от бесчисленных походов. Для мальчугана, -- самого маленького в классе, -- дело было яснее ясного. Труднее всего в городе приходилось домам, они и вставали раньше всех. Домов было очень мало, на восемь школ один только дом в три комнаты. С утра он начинал прибираться, протирать окна. Но объяснить это в двух словах, когда весь класс смотрит на тебя, не так-то легко. Мальчик ограничился кратким и загадочным:

— С домов! — Потом прибавил для девочек только еще одно пояснительное слово, закруглив его туманным жестом по воздуху: — Снаружи!

И сел на место.

Руководительница подождала еще некоторое время и собрала неуверенные ответы. Девочки: «с умыванья и одеванья», «с доброго утра», «с первого урока», «с жаворонков», «с восхода солнца». Мальчики: «с извозчиков», «с хлебной торговли», «с вокзала», — последнее означало, повидимому, вокзальные часы, по которым сверялись все часы в городе, но тут же сосед шепнул: «дурак, там московское время, а у нас наше собственное», — и представитель вокзала взял свой ответ обратно. Руководительница сидела в несомненном волнении. Она затеяла опыт на свой страх и риск, — старые руки ее слегка похолодели. Там, дома, лежали учебники, одобренные Гусом, и от них она была в ужасе. Эти крикливые книжки с бессодержательным материалом ничего не давали детям — ни знания, ни настроенья, ни образов, ни чувств. Они не могли разбудить мысль. Они портили детям язык, и родной и русский. В Наркомпросе взгляды ее были известны и повели к вынужденной безработице. Ей скучновато говорил полный человек, не глядя на нее и карандашиком отбивая по столу:

— Нельзя же, в конце концов, товарищ. Мы получаем директивы, весь Союз учит по этим учебникам, там сидят настоящие головы, а вы старый чиновник, дореволюционный педагог. Вас посылали на курсы, для чего вы переподготавливались? Ваша критика для нас не может быть авторитетна. Да наконец, — он вдруг оживился, потому что вспомнил очевидное доказательство, — никогда

еще дети не учились с таким наслаждением, как в наших школах. Что это доказывает? Если б учебники были, как вы выражаетесь...

— Не в учебниках дело, — ответила она тогда с полным отчаяньем, — учатся, потому что мы творим уроки, на севере, по крайней мере. Там учителя работают, как артисты, от урока к уроку, наконец, там лабораторный метод, дальтон-план, общественная работа, детям зубрить на дом не задают, все проходится в классе. А у нас четыре часа держат детей в школе, раздеться негде, приучить к аккуратности негде, шкафчика для калош нет, печей нет, через четыре часа вторая смена в коридоре землетрясение устраивает, кончить не успеешь, — что мы им в эти четыре часа даем?

— Довольно, товарищ! — Полноватый человек встал, раздув усы. Это случилось в его учрежденьи впервые. Отсутствие прецедентов делало его беспомощным. И старая учительница стала кочевать между биржей труда и комнатой, разделяемой ею с племянницей. Она проговорила сгоряча. Ей совсем не хотелось потерять место, полезть в реформаторы. Но уж так бывает с человеком: жест, вырвавшийся у него невольно, как парус, надутый ветром, становится вдруг его двигательной энергией. Днем и ночью, лишняя работы, она собирала мысли и силы к сраженью. У стратегов — завоевание вселенной. У нее, старой учительницы, Аннуш Малхазян, — первый «лабораторный урок» для третьей группы... И сегодня, побывав до урока в учительской, она уже знала, что препятствий множество.

Вот что означал ее немного дрожащий, но громкий и необычный для ребят вопрос: «С чего в нашей стране начинается утро?»

## 2

Подождав ровно столько времени, сколько нужно, чтоб исчерпать «ответоспособность» класса, она мысленно осмотрела и как бы взвесила эти ответы. Они были именно такие, какими могли быть. Ни один не ответил: утро начинается с гудка на фабрике, с пастушьей свирели. Потому что фабрик в городе не было, фабрики стояли — только-что выстроенные, новенькие, редкие, как зубы во рту грудного, — декоративной кучкой за городским вокзалом. А земля посылала сюда детей «выдвиженцев», тех, кто уже выдвинулся из нищеты в мелочную торговлю, в садовладельцы. Перед нею была реальная, а не выдуманная социальная стихия. Ей было приятно начать с точного определения факта: «У нас пока нет пролетариата, наше крестьянство покуда нищее, оно не может учить детей в городе. Вот этих мы должны обучить, эти в наших руках. И надо, чтобы они, вырастая, стали тянуть тех, а не загоразивать им дорогу собой».

— Ребята! — начала она звонко и дотронулась до муфты, — таинственная эта муфта вдруг словно ожила, и дети уставились на нее в ожиданьи. — Вот представьте себе, это наша земля. Она поворачивается к солнцу, и на этом боку, где у нас была ночь, наступает

день. Солнышко начинает захватывать эту сторону, сперва все, самые верхние точки, потом то, что пониже и еще ниже. Ну-ка, ребята, ежели это у нас Армения, с чего солнышко начинает?

— С Масиса! — крикнул тот самый маленький мальчик, который раньше кричал «с домов».

Руководительница улыбнулась ему. Положительно, он ей нравился.

— С Масиса, это верно; мальчик, но Масис ведь не в нашей стране. Ты не знал? Масис — в другой стране, в Турции. А у нас тоже есть высокие горы, Арагац и другие горы, пониже. Вот давайте-ка прогуляемся вместе с солнцем по всей Армении, посмотрим, как и с чего в каждом месте начинается утро.

Она все держала муфту перед собой, но ничего из нее не вынимала. Только в таинственные недра муфты скользнула ее собственная рука и по мере надобности придавала муфте нужные очертанья. Тут-то и оправдала себя старая муфта с желтовато-бурым обглоданным плюшем. Руководительница говорила, а вместе с губами двигались на столе желтые волны, то выпрямляясь, то горбясь, и левой рукой подсобляла себе рассказчица, указывая на очертанья муфты.

— Вот на самом верху солнце лизнуло горные вершины. Там еще лежит снег. Это хороший снег, он поит Армению водой, дает пищу рекам, ведь Армения страна сухая, воды у нее мало, а без воды не вырастет хлеба, не будет травы, нечем кормить себя и скотину. Солнце пошло ниже, на горные склоны. Здесь нет деревьев. Нет и жилья. Но летом здесь густая хорошая трава, а потому сюда выгоняют кочевники свой скот. Эти склоны так и зовутся пастбищами, яйлаками. На все длинное лето приходит сюда кочевник и не один, а с семейством. За десятки верст, даже за сотни он пригоняет худой, за зиму отощавший скот, занимает кочевку, годами считавшуюся его местом. В арбах он привозит одежду, посуду, семья его живет под арбой или в шалаше, и так они проводят все лето, пока не придет август, а с ним первые холодные ночи. Это место, дети, называется пастбищной зоной, и люди занимаются тут скотоводством. Пониже лежат их деревни, куда они возвращаются на зиму.

Тут муфта зашевелилась опять, как живая, и рука вытянула из нее коробочку—не коробочку. Когда дети, тесня друг друга, столпились вокруг столика, Аннуш Малхазян уже расправила на нем модель крестьянской хижины-землянки. Два столба в земляной дыре, дверь между ними, внутри земляной очаг и дыра в потолке для дыму; за перегородкой — помещенье для скота. Одна за другой вынимались из муфты игрушечные вещицы: прялка, дубовая люлька, чтоб сбивать масло, плетеные блюда, кожаные сандалии. Высоко живут скотоводы, далеко до них и далеко им до других людей. У них нет денег, чтоб купить себе городской товар,—и вот они все, что нужно, делают себе сами. Но солнышко бежит вниз, вниз от скотоводов, туда, где теплее и где уже есть деревья. Это зона садов. Тут растут вкусные

и полезные вещи: виноград, персики, абрикосы, груши, гранаты, грецкий орех, инжирное дерево, айва и много другого. Жителям здесь уже скот держать невыгодно, есть ему нечего, гонять его на пастбище далеко, а земля нужна под плодовые деревья и виноградники. У людей тут сады, много садов, и каждый ходит за своим садом, перекапывает, поливает, лечит, если деревья заболели, чистит от гусениц и жуков. У каждого осенью больше плодов, чем нужно ему самому в пищу. Излишки он везет в город и продает; учится сушить фрукты, делать из винограда вино и водку. За проданное он получает деньги, а раз у него есть деньги, можно купить в городе все нужное: одежду, посуду, инструменты. Здесь уже люди богаче и больше знают, больше видели, чем скотоводы. Они отдают своих детей учиться. Но солнышко бежит еще ниже и вот оно доходит до ровного места. Тут, детки, горам конец. На ровном месте проведены железные дороги, лежат города, и земля тут родит еще более нужные вещи: она родит хлопок, из которого делают бумажные ткани, рис, пшеницу, ячмень, табак и другие злаки. Это — зона хлебопашеская, и сейчас, ранним утром, крестьянин встает, чтоб чистить заржавелые за зиму инструменты, готовить соху и борону, заготавливать для запашки зерно.

Эти крестьяне тоже имеют излишки, они сеют для продажи, им нужны городские товары. Откуда же город достает все эти товары? Городу, чтоб люди в нем могли жить и питаться, нужно много хлеба, масла, овощей, мяса, а в обмен на это он должен дать крестьянам и садоводам инструменты, посуду, материю. Когда-нибудь я вам расскажу, откуда все это берется, и как мы начинаем понемножку строить фабрики, а сейчас, дети, еще два слова об одном друге и товарище солнышка. Покуда оно бежало сверху вниз, — и он бежал с ним тоже сверху вниз. Этот друг и товарищ солнца — вода.

Здесь учительница передохнула. Уже давно в коридоре трещал звонок. Длинная фигура ее коллеги Сатеник Мелконовы взволнованно маячила перед дверью класса, клоня стриженную по моде горбоносую голову с длиннейшими на ушах побрякушками к замочной скважине. Лихорадочные глаза Сатеник Мелконовой, всегда обведенные темными кругами, блестели от любопытства. Но в замочной скважине ничего не слышалось, кроме смутного гула голосов.

Муфта, как замученное животное, лежала сейчас на столике перед учительницей. Недра ее опустели. Бахромка безжизненно вывалилась. А дети, столпившись попрежнему и не желая расходиться, протягивали к ней щупальцы-руки. Каждый хотел дотронуться до нее и узнать, нет ли в ней еще чего-нибудь.

— С завтрашнего дня, дети, весь класс делится на три зоны. По две скамьи, считая от стены. Знаете, что должна сделать каждая зона? Завести у себя коллективное, общими силами, хозяйство. Я дам вам книжки, картинки, бумагу, клей, карандаши, и больше вы не должны ни о чем спрашивать, покуда не сделаете, что нужно.

Пастбищная зона должна приготовить вот такую модель хижины, как у меня, кибитку, потом вырезать и раскрасить стадо — барашков, коз, коров, буйволов, ишаков, лошадей. Хозяйство должно иметь свою конторскую книгу с подробной записью, из чего оно состоит.

Скотоводы в восторге запыгали. Им досталось самое интересное. Но четыре передних скамьи громко запротестовали. Деревья надо рисовать в тетрадку, а не вырезать, учить разные названия, и домиков нет склеивать, а читать гораздо больше, — так выяснилось при подробном объяснении учительницы. Четыре скамьи решительно не пожелали такой несправедливости. Они объявили, что не хотят двух других зон и присоединяются к скотоводам. Но скотоводы цепко держали модель хижинки. Пусть передние скамьи занимаются своим делом, у них в зоне и без того много людей.

Аннуш Малхазян слушала, трепеща от удовольствия. На лице ее, впрочем, ничего не отражалось.

— Вы забываете, ребята, что про первые две зоны еще не кончено! У них будет машина, трактор, — когда подучитесь, я дам вам ее склеивать. Они будут ездить в город. Имейте в виду, я — город. Вот на этом столе, — она опять положила руку на муфту, — я устраиваю город со всеми городскими вещами. У меня тут базар будет, фабрика будет, мельница будет...

— И кино?

— И кино, и аптека. Ну, кто хочет из двух передних зон перейти к скотоводам, пусть переходит. Решайте.

Соблазн ездить в город победил. И только один маленький мальчик с опущенным на башмачке чулком решительно встал и пошел к скотоводам. Городские дома надоели ему. Он захотел нарисовать лошадь и взялся вести в конторской книге лошадиные дела. Узнав, что его звали Суриком, учительница дала свое согласие, и на большой грифельной доске было написано:

«Сурэн переходит из хлебопашеской зоны в пастбищную зону».

Дела было еще так много! Дети решили для каждой зоны взять цветной значок, чтоб не перепутываться на первых порах. А звонок в коридоре уже перестал звонить, перемена кончилась, и Сатеник Мелконова с вытянутым лицом проследовала в свою группу, досадливо растягивая коротенькую по колено и узкую юбочку из трико. Встретив в коридоре подругу, она дернула плечом. Сумасшедшая Малхазян делает с детьми, что взбредет ей в голову, она уже раз вылетела с места, теперь развеет тут свои затеи, и все группы начнут бунтовать, не дадут заниматься. Лабораторный метод, подумаешь. Все отлично знают лабораторный метод. Она не ездила дальше Тифлиса, что она может им показать нового? Подруга ответила: «Посмотрим».

У Малхазян лежал еще наготове рассказ про воду, но она поняла, что сегодня о нем нечего и думать. Дети требовали подробностей про зоны. Тогда она разделила по группам свои записки, вырезки, газетные и журнальные статьи, фотографии, статистические от-

четы, все, что собирала, разыскивала, списывала, срисовывала в течение долгой безработицы, и показала, как пользоваться этим матерьялом. Были выбраны письмоводители, статистики и завхозы.

Тихо и торжественно возвращалась она домой. Муфта ее почти опустела. Руки лежали в ней и судорожно сжимали одна другую. Войдя во дворик, она увидела привычную картину развороченного и оскорбительно-тесного людского жилья: внизу на трех веревках, радиусами от балкона, колыхалось свежее-постиранное белье. Толстая жена коммуниста кричала на продавца керосина, стоявшего со своими бидонами и кружкой. Чад от мангалки вместе с синим дымом возносился к небу, распространяя вкусный запах печеного мяса. Дети — их было пятеро — носились, крича, по дворику, и вылитая сизая полойка, стекля на камнях, примешивала ко всему свой нудный запах гниющего пара. Надо было пройти сквозь все это, добраться до крутой деревянной лестницы и долго карабкаться во второй этаж, где учительница Малхазян жила в одной комнатухе со своею племянницей, или, чтоб сказать точнее, ютилась у своей племянницы, инструктора Цека, товарища Марджик Малхазян.

## 3

Еще в дверях она увидела, что племянница ее стоит неподвижно посреди комнаты, свесив вдоль платья руку, сжатую в кулачок. На тетушкины шаги она как бы отмахнулась от глубокого раздумья и вскинула голову. Две пары глаз встретились. Обе женщины, привыкнув отгадывать друг друга с первого взгляда, тотчас же поняли, что каждая из них взволнована и у каждой есть многое на душе, о чем нужно рассказать другой. Но тетка была экспансивней племянницы, и по молчаливому сговору ей всегда принадлежало первое слово. Снимая в углу калоши, она уже говорила:

— Марджана, я сейчас провела пробный урок.

— По лицу вижу, тетя, что хорошо.

Учительница улыбнулась, повесила на крючок пальто и уже только после этого, со свежей влагой в глазах и в носу, к которому она поднесла теперь свежий от холода носовой платочек, подошла к племяннице, задушевно поглядывая на нее.

— Ты обедала? Садись к столу, я тебе все подробно расскажу.

Марджик села к столу, но ни тетка, ни она не прикоснулись к еде. Разгорячась, тетка перескакивала от одного к другому. Grimасы коллег в учительской при ее появлении, мальчик с опущенным чулочком, злющие улыбочки Сатеник Мелконовой на прощанье, замечательный урок про воду, который она не успела провести, три зоны—все это сливалось в одно бурное повествование, украшенное взлетами жестикулирующих рук, похожих на ветки хвороста, пожираемые все усиливающимся пламенем костра. Если б теперь заглянула незамеченной в комнату какая-нибудь из завистливых коллег учительницы Малха-

зян, то - то была бы она довольна и побежала бы шушукаться с кем следует, выкатывая круглые глаза:

— Самомнение, дорогие мои! Что она воображает о себе, какие рожи строит! Ну и учительница, прямо шут гороховый, а про нас-то, про нас-то! Базарная торговка так не тараторит, как это молчальница затараторила.

Но злых свидетелей в комнате не было, а Марджана слушала и понимала не то, что лилось у тетушки с языка, а то, чем была охвачена тетушка, что она провела сейчас, в этот день своего торжества, после многомесячной подготовки, и от чего, как отработанный пар, струилась теперь ее разбуженная энергия потоками необдуманных слов.

— Не увлекайся, тетечка, они тебе еще ножки будут подставлять.

Да, учительница знала это. Но когда под ногой есть тяга, когда знаешь, что ты встал хорошо и тебя везет теперь, везет именно туда, куда надо, — мы еще поборемся, милая моя, за настоящее-то дело! Взяв вилку и ножик, она приподняла глубокую тарелку, под которой лежала вчерашняя холодная курица, и спросила Марджик:

— Начнем, а?

Минуты две они ели в глубоком молчании, и задумчивость Марджик, легшая на ее красивых бровях тихим каким-то облаком, все еще не разрешалась ни единым словом признанья. Она аккуратно разжевывала пищу и глотала ее мелкими кусочками, почти не глядя на то, что ест. Пальцы ее подносили ко рту такие же маленькие корочки хлеба, и тетка видела, что в пальцах нет удовольствия от еды, нет его и в губах, и что Марджик совсем не голодна, вернее, ужасно сыта, если не от хлеба, то от чего-то, что стоит у нее комочком поперек горла. Но не такая девушка Марджик, чтоб задавать ей вопросы.

Учительница зажгла керосинку, поставила чайник и собирала грязную посуду, выглядывая на полках, что осталось с утра непомытым. Комната их служила предметом постоянной и всеобщей зависти. Два маленьких окошечка выходили прямо на плоскую крышу, укатанную песком и асфальтом. Здесь стояли два ящика с зеленью и зимние горшки с цветами, выставленные на солнце. Отсюда, прямо им в комнату, сияли две снежных вершины Арарата, сегодня окутанные клочьями тумана, предвещавшего ветер и бурю. Чисто побелена была комната. Маляр в свое время осведомлялся у них, как сделать побелку, просто или с мотивчиком, и, увидя мельком лицо Марджик, не ответившей на вопрос, вдруг про себя решил сделать с мотивчиком и сделал: под потолком, опоясывая комнату, шли золотистые разводы, похожие на павлиний хвост. Краска, правда, скоро вылиняла, но все же розовое сиянье осталось под потолком, где у других людей скапливаются паутина и копать. Тетка спала на кровати, племянница на красивой тахте, покрытой «мутаками» — длинными валиками подушек из полосатого красного шелка. Да, милейшая у них

комнатка, надо сказать правду. Тетка подумала, а племянница произнесла, и опять мысли их совпали на одном предмете:

— Тетя Аннуш, останешься ты теперь одна в этой комнате. Я утром узнала в Цека. Меня в уезд посылают.

Марджик не сказала, что этого перевода в уезд она добивалась сама. Тетка сильно подозревала это. Сказать по совести, лучшего выхода сейчас нельзя было бы придумать. Сердцем, смотревшим на людские страсти с высоты своего женского, давно отжившего жизнь возраста, Аннуш Малхазян представляла себе положение племянницы совсем с другой стороны, нежели это сделала бы женщина помоложе. Ей казалось, что самолюбие во всей истории этой — главное. Марджик болезненно горда; ее ударили по самолюбию, оскорбили, и надо теперь, чтоб зажила рана.

— Этот скот когда-нибудь раскается, Марджик, вот увидишь!

Что-то молнией прошло по лицу девушки. Не следовало так говорить.

— Ты меня прости, дорогая. В уезде, конечно, тебе больше будет работы, чем здесь. Таким, как мы с тобой, в городе нечего делать, говорила и повторяю это. Вот у меня эти ребята, ты думаешь, я не вижу, чем кончится моя работа? Даже если меня не слопают, ведь это чьи дети? Помнишь, ты сама сказала «они вырастают, загромождавая дорогу настоящим»? Мещане, все тут мещане, партийцы не лучше лавочников. А там в уезде ты будешь целину поднимать. Каждый раз, как ты по деревням ездила, такая возвращалась свежая, бодрая, любо было глядеть на тебя. Нет, право же, завидую тебе...

«Впрочем, что же это говорю я ей, пошлости какие» — перебила она себя мысленно. И горячо колыхнулось внутри: «ребят своих обидела, ребята все-таки хорошие, их можно, можно вырвать из мещанства». Как у нее всегда бывало в такие минуты, она схватилась за свою муфту, валявшуюся не на месте, и села с муфтой к себе на кровать.

— А знаешь, Марджик, удивительный это был тогда человек на бирже! — И на этот раз старая учительница говорила из глубины души и без всякой задней мысли. — Помнишь, я тебе рассказала, рыжий, в разбитых очках? Странно, право, как взгляну на муфту, вспоминаю его. Удивительно он про мою муфту сказал. Не похожий такой человек, вот бы тебе с кем познакомиться!

Они обе лежали теперь и отдыхали,—одна со своей муфтой на кровати, другая спиной к ней на тахте. Учительница уже забыла про невзгоды племянницы и со счастливой улыбкой повторяла самой себе интересный урок про воду: как бежит вода сверху и как люди пользуются ею. Сперва только для питья, пьют и скот поят; потом для садов, огородов, полей, но сады, огороды, поля не могут сами подойти к реке, надо, чтоб вода подошла к ним, --- и люди научились делать каналы. Как делаются каналы, плотины, шлюзы; как человек регулирует пропуск воды сквозь шлюзы; как деревенский «сторож

воды», мираб, распределяет ее поровну, кому сколько нужно, по маленьким канавкам — арыкам... Но люди, поделив землю, никак не могут поделить воду. Одному мираб недодаст, другому передаст. Стали мирабы, как попы, брать потихоньку за воду подарочки, кто больше даст, тому и воды отведет больше... Рассказать, как в старину были смертные бои между деревнями, как до сих пор еще крестьяне убивают друг друга из-за воды. А вода течет и учит: нельзя меня делить, я слитная, единая, будьте и вы слитные, тогда всех напою ровно. И тут, дети, вся нижняя зона организовалась в колхоз. Не стало теперь прежних мирабов: отдали мираба в музей... А потом еще дальше про воду, — как люди вздумали использовать ее силу, сделать, чтоб она служила им своим движением. А для этого нет лучше армянских речек, потому что это сильные речки, они текут с высоких гор вниз... Тут маленький рассказ про мельницу и можно даже сделать модель мельницы, поставить ее в школьном дворе на канаве... Колесо, турбина, главный принцип... Потом экскурсия на гидростанцию, понятие об электричестве. Ах, смутно, неясно знала сама Аннуш Малхазян про электрическую энергию и про то, как строятся станции. Это было ее самое слабое место. Вздыхая, она вспоминала, как выскивала всюду книги, и не было таких книг. Как спрашивала у спецов, и не умели ответить спецы, не находили простых и образных слов, того, что нужно ей и детям.

— Марджик, ты в какой уезд поедешь?

Но племянница ничего не ответила и даже не двинулась. Должно быть заснула. Руки, ноги и всю себя она подобрала под вязаный платочек, растянутый над нею, как панцырь.

#### 4

В это же самое утро Клавдия Ивановна Малько вышла из дому, чтоб исполнить поручение мужа своего, начканца. Клавдия Ивановна шла мелкой поступью, притоптывая каблукками. К большому ее телу очень шло мелкое, — и дробный шажок, и посаженная у губ искусственная маленькая родинка, и мелкие зубы во рту, и кудряшки по самые брови, и особенно эти две открытые дырочки ноздрей, поднимающие нос вверх, как у деревянных лошадок. Даже в полном одиночестве Клавдия Ивановна суживала зеленые глаза в постоянном смешке и хохоточке, словно невидимые руки щекотали ее где-нибудь подмышками. Поводя пышными плечами и рыбой плескаясь в неудержимых, щекотных улыбочках, постукивала она по мостовой, замечая, как одеты идущие впереди женщины и что выставлено на окнах. Мысли ее на улицах были всегда одинаковы: «вот бы мне такое пальто» или «вот бы мне такого мужчину»; теплеющие зеленые глаза все пробовали на себе, приближали, снимали, высчитывали. Муж зарабатывал так мало, прибавки его считались рублями. У Клавдии Ивановны не было дорогих платьев, не было вкуса, не было портнихи.

Она душилась фиалками русского производства, напоминавшими вальерьяну, разбавленную китайским чаем. И все же, когда она проходила, большим своим телом рассекая воздух и блестя в волосах гребешком с мелкими камушками, — шляпы Клавдия Ивановна не носила ни зимою, ни летом, — от нее как бы шел теплый ветер, необыкновенно душистый теплый ветер, обласкивающий, опархивающий, обегаящий встречных. Ежась в приятном холодке, оглядывались ей вслед мужчины. Бродячие собаки останавливались, обнюхивая следы каблучков. Хохоча, Клавдия Ивановна клонила голову, будто собиралась фыркнуть в ладошку, как горничная: «Ох, уж эти армяшки, ужасно какие они потешные...»

Город, обдаваемый ветром и пылью, дыбился неказистым туфом плоских построек. Казалось, не было в нем защиты от ветра и пыли, и плоские серые постройки, выпираемые нагорьем под самое небо, пузырями лопаются от разреженного, пустынного воздуха, беспрепятственно в них разгуливающего. Качаясь в пальто, пряди каштановых волос по ветру, Клавдия Ивановна вступила под сень базара и проходила его, ища, где посуше. Отсюда рассасывались по городу в плетенках предметы ежедневной необходимости, и только тут можно было увидеть страну лицом к лицу. На корточках, свесив по-обезьяньи задки, у высоких корзин и кувшинчиков глиняными фигурками сидели крестьяне, и коричневая кожа на щеках, обтягивавшая косточки скул, блестела. Глубокими впадинами мерцали натруженные, красноватые от дыму глаза; выражение их ускользало от наблюдателя. И только руки, — всю расу, все тайны, все слабые возможности крестьянского хозяйства, больше того, всю экономику страны можно было прочесть по этим рукам, по их письменам, узорчатым, подобно сухим листьям. Руки висели плетью. Дотрагиваясь и отпуская товар, они были не быстры. Дрожа, проливали рука мацун, и пальцы небрежливо обирали у кувшинного горла остатки жидкости. Не умела рука брать вещи крепко, ставить их твердо. Не держалась рука независимо. Она тянулась к вам ладошкой вверх, выразительно растопыривая пальцы, и этот мучительный жест говорил больше слов, произносимых на незнакомом языке: что же я могу? Видишь, — ничего нет. Гол, как сокол, сижу, каков есть, вот и все мое богатство. Тихие, голодные куры, равнодушные к смерти, связанные вместе лапами, свисали у продавца, не подходившего к покупателю. И куриные переносицы, жидкою кожей сбегавшие к клюву, казались продолженьем этих коричневых рук, жидкою кожей сбегавших к ногтям. Мешки с ячменем, лужи ослиной мочи, нудный запах рыбы из крытого рынка, все было нище и рассудительно-неподвижно. Собаки тут не бродили, воришек не водилось, только амбалы, армяне и персы с деревянными приступочками за спиной, стояли кучками, ловя покупателя. А поймавав, показывали чересчур длинные руки и чересчур стоптанную шапочку, накидывая на спину многопудовую ношу. Мешок увязывался, амбал профессионально раздвигал ноги, крикал, будто вгонял в себя

тяжесть и уминал ее для большей плотности, — и вот уже уходил ровной походкой, дыша тяжело и часто, за четвертак или за двугри-венный пересечь весь город.

Персы расступились перед русской женщиной, их длинные глаза стали томными, сквозь бронзу пробился румянец: хорошая русская женщина, добрый товар, якши. В персах не было грубости. Их жадность не оскорбляла. «Посмотреть бы, как любят они» — любопытно подумала Клавдия Ивановна и тотчас же, притушив глаза веками, девичьей походочкой прошла мимо. Ей вспомнилась вдруг, без всякой связи, уверенная спина рыжего и его большие руки на столе, не крошившие зря хлеба, не суетливые, — вот дался этот рыжий Клавдии Ивановне!

А рыжий тем временем доканчивал крышу художника-лефа и, кончив, прыгнул вниз с эластичностью большого кота. Спортивные узкие туфли придали ему вид акробата. Он собирался пойти на биржу.

Художник сидел на бревне, растрепанный, с мешочками под глазами, чесал заспанно поясницу, мучил себя воспоминаньями. Он оправдывался перед невозмутимо-спокойными разбитыми очками гостя.

— Ну и пускай свинство и головотяпство, — говорил он голосом, жалобящим его самого, — но нация, нация... Хорошо вам, вас немка немецким молоком накачала. Если я этот тип не переносу! Если я арийские носы люблю, высокие бедра люблю, впрочем — согласен. Нахамил. Она вам что сказала про меня?

— Кто именно?

— Она, русская женщина, Клавочка.

Рыжий плечами пожал.

— Вы презираете меня! — грустно сказал леф. — Вижу. Крышу вы сделали и затемнили мне комнату, это ничего. Но за что вы меня презираете? Вы не видите форм. Клавочка, она совсем не то, что вам кажется. Ее из теста вылепили, булавочкой ноздри прокололи. Эти ноздри — флейта. Весь мир ходит ветром в Клавочке, затыкайте ей ноздри пальцами, дуйте в нее, — свирель, — честное слово свирель, недурно сказано, а? Нет, не поют наши носы, друг мой, они землю ковыряют.

— У сифилитиков носы еще лучше поют, — без юмора произнес рыжий. Он подсел к Аршаку и положил ему на плечо руку. — Комнату я вам не затемнил, — вы для работы другую выберите. Насчет нации — неверно. Никаких наций не вижу. Что есть нация?

— Вы говорите глупости.

— Что есть нация? Кто понимает неподвижную машину? Валяется колесо, вы на него смотрите, возмущаетесь, «бессмыслица!» Один зоолог написал книжку для детей про птичьи носы «Чей нос лучше», — там носы всех мыслимых фасонов: иглой, лопатой, крючками, мешками, — птицы начинают объяснять, для чего им эти носы. Целесообразность, друг Аршак, вот. Форму ищите в действии. Дайте колесу завертеться. Вы армянин, вы художник, и сидите тут в четырех сте-

нах, изрезывая брезент, а я исходил за шесть месяцев всю страну, я видел колеса в действии. Как они по горам ходят, да еще с пудовой тяжестью на плечах. Как они прыгают из арбы буйволу на ярмо и сидят на корточках, спиной к дороге, лицом к арбе, — это ведь грация, красота. Немец так не сделает, у немца зад толстый, у него мясо тяжелое, воды в теле много. Длинные ноги не всегда хороши. Дайте армянам работу, разбудите их руки, — египетское терпенье, египетская тонкость получится, ручаюсь.

— За кого это вы ручаетесь?

В отверстии глиняного заборчика стояла, улыбаясь, Клавочка. Она была в восторге, что, наконец, разыскала их и что рыжий тут тоже. Кошачьи глаза ее с любопытством бегали по пыльному дворику, безглазой коробочке сырца, земляной крыше и веревке на дворе с висящими штанами в полоску. Вскрикнув от ужаса, художник подпрыгнул, как заяц, подхватил несчастные штаны и молниеносно удрал в домик.

— Ха-ха-ха, — хохотала Клавочка, закидывая голову, — вот чудак, чего вы стесняетесь? Чудак-человек, да что я штанов не видела?

Рыжий учтиво поклонился ей и отодвинулся, давая дорогу. Он указал на бревно жестом, каким придвинули б мягкое кресло. Войти было некуда. Ветер вздымал пыль и колол щеки. Но гостей принимать приходилось на улице.

— Не совсем понимаю, — сказал рыжий.

В Клавочке так и метнулась странная, ей непонятная радость. Клавочка раздувала рваные ноздри. Вот он стоит перед ней, этот большой, спокойный, учтивый человек с разбитыми стеклами в очках, с рыжими вьющимися волосами над круглым лбом, и она опять видит его замечательный твердый подбородок, его крепко сложенные красивые губы и эти его руки — Клавочка видела их во сне, честное слово. С дрожью обрадованного животного она выхватила из кармана сложенную записку и тотчас же отвела руку за спину.

— Чего не понимаете?

— Как вы могли нас разыскать?

— Да я бы с завязанными глазами нашла! Ведь он мне вчера план нарисовал, вы не видели, — она кивнула в сторону домика, — описал, куда итти, сколько шагов, где завернуть, где повернуть. Рекомендовался знаменитым художником, обещал с меня портрет написать. Рисует он? Вы мне правду скажите!

— Товарищ Аршак Гнуни большой художник, — серьезно ответил рыжий.

Но художник уже вышел из домика, приглаженный, помолодевший. Глаза его сияли: он никак не ожидал. Он не верил себе.

— Клавдия Ивановна, Клавочка, я вас на весь мир прославлю. Я напишу вас так, что вы с полотна выскочите.

— Ну-с, я иду на биржу...

Но тут, прерывая болтовню лефа и кидаясь в сторону рыжего, Клавочка вдруг вытянула из-за спины руку с запиской:

— Куда же вы, досказать не даете. Час целый хожу по камням, туфли топчу, а вы уходить? Муж мой вам записку написал, вот нате, читайте. И если вы только вздумаете уходить, я тоже уйду. Любезные какие. Дама к ним в гости приходит, а они!

Рыжий развернул записку. Он перечитал ее дважды. Начканц гидростроя, напоминая вчерашний разговор, просил «выручить и принять место архивариуса, место, конечно, маленькое, жалованье гроши, но если товарищ, насколько он понял, безработный, интересуется «электрофипакостью», — выехать надо сегодня же, дорога и под'емные... Необходимость итти сегодня на биржу счастливо отпадала. Осталось собраться, на что рыжему требовалось пять минут.

— Муж велел спросить, как вас зовут, — ах, неужели вы соглашаетесь? В дыру такую, на шестьдесят рублей? Я ужасно рада, если вы соглашаетесь. Оригинально как, имени-фамилии не знают, а на службу берут. Еще велел муж спросить, записаны ли вы в союз?

— Он — парикмахер, — сказал леф. Пока рыжий читал записку, а Клавочка юлила, художник установил самодельный мольберт и, натягивая полотно, ходил вокруг Клавочки, приглядываясь к ней острыми глазами профессионала. Он чувствовал холодок и покальванье в пальцах — предвестники работы. Великое нетерпенье овладело им. Шагая туда и сюда, клоня голову, заглядывая сбоку, спереди, сзади, он как бы брал Клавочку на прицел, не вытерпел, выхватил гребень с камушками, вскрикнул даже «гадость какая» и бросил на камни.

— Ай! — рассердилась Клавочка. — Ведь так сломать можно. Только какой же он парикмахер, если его на конторскую должность приглашают. Ну, что это, вот теперь он уходит куда-то, и так и не ответил. Все вы с вашими глупостями!

— Клавочка, сядьте, сделайте сумасшедшие глаза. Ноздри, ноздри вперед! Рыжего вы не трогайте, рыжий абсолютно для вас недостижимая мечта.

— Вот еще чепуха-то!

— Недостижимая, я вам говорю, мечта. Миф. идеал. Вы на меня обратите вниманье, я восточный мужчина... Губы, губы не облизывайте! Это еще что там у вас за дрянь, чем вы ее намазали, чернилами что ли?

— Родинка, — неуверенно сообщила Клавдия Ивановна. Рыжий ушел все-таки. Правда, через неделю она поедет к мужу и увидит его. Но сладостное возбужденье, похожее на наркоз, проходило, как тепло от солнца, зашедшего за тучу... Впрочем, настоящее солнце именно сейчас и выглянуло, залило дворик, татарский домик, Клавочку, ее каштановые, стоймя начесанные волосы и бархатную куртку художника, и вместе с солнцем неожиданно воротился рыжий. Он даже как будто прибежал в странной поспешности. Бежать — это не шло к

нему. Сунулся куда-то за стену. Художник подмигнул Клавочке, почесав себе углем щеку.

— На часы прибежал посмотреть!

— На часы?

За двориком на ровной площадке стояла в земле одинокая палка, и тень ее ходила по вычерченному кругу. Арно Арэвьян устроил солнечные часы, потому что других часов у них не было. Поглядев, он крикнул художнику «четверть двенадцатого» и опять ушел, на этот раз прочно.

## 5

Непонятные чувства мучили Клавочку. Солнечные часы доканали ее. «Независимый какой, — думала она про рыжего, — часы палкой устроил!»

— Но все-таки вы обя'сните, почему парикмахер?

Художник вглядывался, отступал, пыхтел. Как всегда при работе, страшная сосредоточенность мешала ему взяться за дело, и он вынужден был отводить ее в десятке лишних движений, во вздохах, подобно тому, как выпускают из машины чересчур конденсированный пар. Вот, наконец, плавный толчок урегулированной энергии. Пальцы бросили уголь, схватили кисть. Лево́й рукой искал художник нужный ему кусок разбитой палитры. Глаза приняли страшное выражение, губы приказывали: цыц, ни гу-гу, сиди теперь, сиди смирно!

Через четверть часа Клавочка, втянутая в круг его напряженья, ослабла и мелко зевнула. Ей нетерпелось, что там такое нарисовал художник. По смягченному и все еще очень бледному его лицу Клавочка видела: он счастлив и доволен. Теперь можно было поговорить. Не отряхивая мелких капелек пота и вдруг ощутив учащенное свое сердцебиенье, художник как бы подбежал к старту. Первая волна творчества, огромный пережитый под'ем, сходила на нет, но уже он знал, что вещь есть и начало положено. Теперь его движенья сделались более свободными, не страшно было упустить, потерять. «Я работаю, работаю, — мельком бросилось в голову, — в сущности, есть только это в мире. Как давно этого со мной не было. Слава богу, слава богу!»

— Ну-с, Клавочка, можете пошевелиться. Что вы такое—еще неизвестно. Я только знаю, что у вас рваные ноздри, тело греческой богини, золотое сечение, а может быть, все выйдет наоборот. Когда мы поехали, Клавочка, мы узнаем, какие мы дураки. Эта самая тенденция и все прочее, это как перья в хвосте. Рожает не хвост. Рожает, пардоне муа, что под хвостом.

— Я сидеть не буду, если вы такие гадости бормочете! Вы меня за кого принимаете? — вдруг всполошилась Клавдия Ивановна, густо, по-настоящему краснея от самолюбия. — Вы привыкли, наверно, со всякими натурщицами. Я вот мужу, Захар Петровичу, скажу, он вам разницу обя'снит.

Она даже попытку сделала встать, хотя на бревне под солнышком было сейчас уютно и успокоительно. Но художник кинулся к ней стремительно, удерживая ее локтями; она пофокусничала еще, повертела плечами, потом любопытство взяло верх. Ей захотелось узнать, сколько он зарабатывает. Нисколько? Вот новости! Значит рыжий наврал, что он большой художник. Ах, этот рыжий. Странный мужчина. Одет плохо, пиджак верно на американке купил. Очки разбитые, полтинник стоит новое стекло вставить,—даже полтинника у человека нет. На улице с ним показаться совестно.

— Вы в рыжего врезались, Клавдия Ивановна, вот в чем дело.

— Я!? В рыжего?!— Она ахнула от возмущенья и тотчас же опрокинулась в мелком, бисерном хохоте, словно рванула веревочку и бусы посыпались. Хохот дал ему новые мысли. Кисть заплясала в руке, и опять страшные глаза, тяжеловатое сопенье, опять шаг к полотну, шаг обратно, и эти творческие, переносящие взгляды от природы к картине, от картины к натуре, человеческая камер-обскура, весь вздыбленный, вз'ерошенный, вытянувшийся магнетизм безошибочного жеста. Тише, тише, он заклинал и молил ее глазами. Вернее, он не обращал на нее никакого вниманья. Его сопенье раздражало Клавочку; как-будто нельзя сдерживаться или сопеть тише, про себя! Она вдруг вспомнила далекое прошлое, восемь лет, десять лет назад, свою первую беременность и первый аборт. В родильной, куда привели ее дожидаться, стояла женщина в рубашке. Она держалась руками за железную спинку кровати и как-то странно изгибалась всем телом. Рубашка была залита зеленоватою жидкостью, живот у женщины ходил ходуном. Рожает,—об'яснила санитарка,—садиться не желает, всяк по-своему. — Худое лицо женщины блестело от пота, волосы спутанные мокры на лбу, выраженье лица рабочее, как вот теперь говорят, — трудящееся, и она, изгибаясь туловищем, деловито, сосредоточенно сопела. Глаза ее скользнули по Клавочке, и видно было, что глядят мимо, во что-то внутри себя, в глубину производимой работы. Вот если б Клавочка умела мыслить и обобщать, она задумалась бы над этим сходством. Но ей было понятно только внешнее.

— Сопит, как роженица!

Досадно и как-то безглаголиво сделалось Клавочке, как тогда на рожавшую женщину. Вот она ни разу не довела себя (молнией вспомнились зеленые воды на рубашке, усилие работающего тела, грязища какая!), ни разу, ни разу не допустила она себя до родов, только три аборта,— и фигура осталась и здоровье,—здоровья не занимать—стать, а дураки трудятся, выламывают нутро, и—тут художник, весь побледнев, скосил глаза на нее. Последняя тайна вещи, неуловимое выраженье, сущность вот этой машинки с дырочками, музыка флейты, душа Клавочки, идея, содержанье, названье картины, дуновенье последней тайны предмета, установка на цель или на причину,—все равно, чорт побери, все равно, лишь бы схватить это, перенести, оторвать ему голову. Вз'ерошенный, как петух, почти прыгая, бешено

воззрился художник на мелькнувшее в Клавочке выражение, и яростно забегала кисть по полотну, а мурашки побежали по позвоночнику.

— Ах, мать честная! — взвизгнул он вдруг тонким голоском наивульгарнейшим тоном.— Довольно! Не переборщить! — Бросил кисть, схватил с мольберта картину и побежал в домик. Когда возвратился, вид у него был обмокший, распаренный, руки он вытирал тряпочкой, жирной от скипидара. Глаза сияли обыкновенным, всегдашним своим блеском, и шутком гороховым он захопотал вокруг вставшей с бревна Клавочки:

— Кем я вас напишу, красавица моя, кем напишу! Паразитом вы у меня будете, Клавочка, вот кем!

— Паразитом?

— Да, да замечательным паразитом! Ах, Клавочка! Таким, в кого вкладывает дурак-человек душу свою, на кого он семя выматывает, но, впрочем, виноват, этого нельзя объяснить. На картине вы будете замечательной красоты. На выставку повезу! Завтра в это самое время— согласны?

Зеленые глаза Клавочки впервые блеснули сознательной злостью.

«Ну погоди ж ты. Я тебе покажу паразита»—так она медленно про себя думала, выходя мелкой походкой из мертвого квартала на базарную площадь. И если б сейчас внимательный кто-нибудь заглянул ей в опущенное лицо, — он содрогнулся бы. Неизвестно почему, ему стало бы страшновато и не по себе.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### Железная дорога

#### 1

В облаках пыли под'езжали к вокзалу линейки, фаэтоны и деловитые комиссариатские машины. Так часто ездили тут одни и те же люди с одними и теми же портфелями, что носильщики знали их всех в лицо. Путь между столицами Армении и Грузии, почти единственный железнодорожный путь на всю страну, напоминал по бесчисленным от'ездам и возвращеньям, по шмыганью всех сортов людей, обходившихся без чемоданов и соскакивавших со ступенек вагона торопливо и рассеянно, словно сходили со ступенек жилья своего, путь этот напоминал отчасти железнодорожное следованье портфелей и командировок между Москвой и Питером. Изредка ругал какой-нибудь новичок, еще свежий от российских впечатлений, несносный поездный состав: «что же это у вас вагонов приличных нету», или же пожимал плечами на неуваженье кондуктора к ночному времени, потому что входил кондуктор в любое купе и дергал за любой предмет, будь то нога или рука спящего пассажира, и как бы вносил с собою обязательную бессонницу, деловитую сноровку человека, выполняющего в служебные часы служебный долг. Оттого, может быть, и привыкли все

следовавшие от одной столицы к другой проводить эту ночь как бы на ходу и даже засиживаться до позднего часу в буфете, огороженном углом жесткого вагона с маленькими деревянными столиками не то пивной, не то погребка. Под шум и дерганье износившегося состава по износившимся рельсам здесь, в скудном свете красноватых лампочек, толстый буфетчик-грузин качался за стойкой, небогато украшенной пожилыми твердыми курицами, сыром, зеленью и всякого рода сдобными булками. Посетители мало интересовались едою; вертелся беспрерывно пробочник в руках официанта и задыхался от пару толстый, как буфетчик, самовар. А мимо с воем и свистом ночного ветра, со скрежетом вагонов пролетали пустынные станции, как мячи, подкинутые к небу. Казалось, у этих станций нет ничего под ногами: ни земли, ни людей, ни быта, и сваями, выносящими их над пустотой, пронеслись мимо столбы.

При посадке жизнь скапливалась у жестких бесплацкартных вагонов, где место доставалось с бою. В этот день, как обычно, туда кинулась, давя друг друга, волна пассажиров попроще, путешествующих с детьми, женами, корзинами, двугорбой колбасой курджина на плечах, мешками, жестяными бидонами и всем прочим скарбом. Единственный мягкий вагон оберегался кондуктором, и пассажир в него шел крупною рыбой, не густо, без суматохи. На этот раз, впрочем, маленькая заминка произошла от деревянной дамской картонки, застрявшей на незначительное время поперек дороги; и покуда носильщик протаскивал ее в двери, а кондуктор, привстав на ступеньку, больше для виду подгонял ладонью, несколько человек пассажиров устроило необычный для мягкого вагона затор. Тут были как раз те, кто ездит часто и по делу. Все они были знакомы друг с другом и даже успели надоест друг другу, встречаясь на всяческих заседаниях. Две-три фуражки инженеров, кепка, еще кепка, котелок; когда последний в этой кучке, защищая перед собою молоденькую женщину с чемоданчиком, помог ей подняться и прыгнул сам, торопливо приблизилась к мягкому вагону еще одна пассажирка. В руках у нее были целые две вещи, по виду не очень лёгкие. Короткая юбка открывала высокие, шитые по мужски, сапожки. Пальтецо на девушке раскрылось на ходу, и длинное полосатое кашне, распустившись, почти касалось платформы. Уже она собралась вскочить и подбородком протянуть зажатый во рту билет кондуктору, как, поднявши глаза, увидела на площадке вагона пару: молоденькую женщину и взявшего ее под руку мужчину, ничем особенным не замечательного. В ту же секунду, даже четверть секунды, чтоб быть точными, девушка рванулась и от кондуктора и от поезда, но лениво прозвучавший в воздухе второй звонок заставил ее броситься, путаясь ногами в кашне и роняя плечи под тяжестью вещей, к отдаленнейшему вагону. Она успела вскочить на ступеньку. Прижавшись головой к чугунным перилам, она, задыхаясь немного, втаскивала обе свои вещи на площадку и уже в этом отчаялась, когда чья-то рука приняла их сверху и помогла ей взобраться.

— Благодарю вас, — сказала девушка наверху, подтягивая кашне вокруг шеи и вынимая изо рта билет. Больше она ничего не сказала, и по ее лицу было видно, что экспансивность не в ее характере, что эта странная поспешность и бегство из одного вагона в другой никак не вяжется с ее внешностью и что теперь от нее не дождаться ни одного из естественных восклицаний, в роде: «вот ужас, чуть не опоздала», «насилу добежала» и тому подобное.

В жестком вагоне, набитом бесплацкартною публикой, было тесно. Не глядя, она уселась в первый же свободный угол, ногой прижала свои вещи и вдруг с горячею краской на лице как бы охнула про себя и крепко прикусила нижнюю губу. Так бывает с человеком, когда он неожиданно вспоминает что-нибудь очень постыдное и хочет отмахнуться от воспоминанья, как отмахиваются от боли, махая в воздухе ушибленным пальцем. Прогоняя воспоминанье, девушка даже головой тряхнула, даже руки к ушам подняла, словно собираясь взять себя ладонями за щеки, но тут же и опомнилась, и прежнее выражение, с каким она стояла на площадке, снова вернулось на ее лицо. Все эти быстрые движенья ее внутреннего существа наблюдал с интересом рыжий. Он сидел возле нее в своем дамском пиджачке и все в тех же спортивных туфлях, закинувши ногу на ногу, спокойно оперев спину о жесткую спинку дивана, обе руки по привычке в карманах. Его разбитые стекла, тускло поблескивавшие под косыми лучами солнца, опускались и поднимались вместе с качаньем вагона. Когда девушка опустила приподнятые руки и, совладав с собой, кинула взгляд на соседей, он отметил про себя: «красивые брови».

Между тем девушка внимательно осмотрелась вокруг. Семейство джувльфинских тюрок сидело перед ней. Две мусульманки, открыв грязные ситцевые чадры, держали на коленях и у раскрытых грудей ребят, и от них шел запах бараньего жира. Их утомленные ноги, раскрытые в коленях, с отвисающей широчайшею между коленями юбкой, их повернутые кнаружи ступни в стоптанных шлепанцах без каблуков делали их похожими на иконы богоматери. Даже истомленные рты раскрыли мусульманки—символ высосанности и иссохнутости. Возле них, подняв ногу по-турецки на лавку, а другую свесив, старый тюрок молча глядел перед собой из-под бараньей шапки. Глаза у него были мечтательные, точь-в-точь как у армянского крестьянина, примостившегося внизу между лавками на двух крепко увязанных мешках. Дальше, из соседнего отделения, шел запах лука и вина. Дверь в отделение стукнула, и девушка так неожиданно вздрогнула, что рыжий перестал качаться. Белокурый человек в коричневом свитере шел мимо, посвистывая. Он не глядел ни на кого, но прищуренный глаз на рябоватом лице тотчас же отпечатывал в памяти каждую мелочь: мешки под крестьянином, два подозрительно раздутых курджина на полке, корзины с яйцами, слишком уже четко выглядывавшими из сена,—это был агент ГПУ по борьбе с персидской контрабандой. Когда он прошел, девушка вынула свой билет. Потом, решившись, повернула голову к

ближайшему соседу. На этот раз она увидела рыжего, хотя солнце било ей в глаза. Его разбитые очки и внимательное лицо с добродушным носом смутно что-то такое ей напомнили. Сдвинув брови, девушка протянула ему билет:

— Я хочу поменяться с кем-нибудь, кто едет до этой станции. У меня мягкое место. Но мне по некоторым причинам надо остаться в жестком.

Рыжий принял билет, и девушка видела, как он близоруко поднес его к разбитым стеклам. Потом, встав с места и заложив место небольшим сверточком, ни слова не говоря, пошел к соседнему отделению. Девушке было видно, а потом слышно, как он — левая рука в кармане, правая с билетом поднята—вопросительно, со смешною учтивостью обращался с предложением поменяться. Его голос все удалялся и удалялся. Но вот он стал приближаться. В повторных вопросах звучал некоторый юмор. Вернувшись, он пожал плечами, вынул левой рукой из кармана нечто в роде кошелечка, сшитого из клеенчатой тетрадной обложки, и опустил туда пальцы. Девушка нетерпеливо глядела на его большую, спокойную руку, золотившуюся в солнечных лучах. Рукава, слишком короткие, открывали молочно-белую, как у женщины, кисть. Он достал, наконец, свой собственный билет и молча передал его соседке. Билет был как раз до нужной станции.

— Так чего ж вы!

С удивленьем она следила, как он приподнял свой сверточек и вытянулся, чтоб достать шапку. Фалдочки его странного в талию пиджака смешно оттопырились, приподнялись, и ей стала видна облезлая металлическая пряжка сзади на штанах. «Чучело какое»—мелькнуло у нее в мыслях.

— Контроль сейчас пройдет, — вежливо объяснил рыжий, достав, наконец, шапку. И направился к выходу.

## 2

С ловкостью акробата он проделывал путь, только-что в обратном направлении пройденный агентом. Поезд напоминал колбасу, начиненную человеческим мясом. Один за другим разворачивали вагоны свою начинку, и жизнь всей страны, превращенная в фарш, проходила перед ним. Если б сейчас вот, пользуясь случаем и насильственным ничегонеделаньем, чья-нибудь терпеливая рука раздала всем едущим анкеты и потом собрала их, и если б грамотные, натрудив за себя карандаш, обслужили тех, кто, подолгу поездиваясь, ищет слова, с усилием провозящие смысл, подобно допотопной сохе, — тогда, да, тогда поймал бы статистик, быть может, легко и просто экономические закономерности, причину отливов и приливов человека из столицы в столицу, точную подоплеку того, что делается в этой стране, и того, что, быть может, не делается в ней, — словом, терпеливой руки и анкеты не было и никто лишний раз не имел повода выругаться «бю-

рократизмом». Только острые зрачки рыжего и его серо-голубые маленькие глаза прокалывали на булавочку своего вниманья всех, кто барахтался в вагонной колбасе, да пересекший этот путь агент запомнил, что следовало ему запомнить.

Нищета меняла место не в одиночку: семьи мусульман из пограничной полосы передвигались от голода и безработицы в 'Азербайджан; крестьяне из самых глухих местностей Армении, доев ячмень и выждав дорогу, расползались по местам, где нужны рабочие руки. Их хилые спины, их буйволиные сандалии, сквозь дырочки подвязанные к ноге веревками, их поникшие плечи, коричневатые лица с широкою лицевой костью, так что можно было бы положить руку за выступ щеки, как за рыбу шею, и ястребом спущенный отошальный нос, в очерке своем все же хранивший своеобразное, хищное благородство, — это был особый тип армянина, горный тип, приближавшийся к курдскому. Опустив голову, сидели переселенцы на скамьях и на мешках, слушали, как любитель какой-нибудь бродил осторожно и медленно косточкой по таре, да смотрели от нечего делать на свои руки, то на поднятую вверх ладонь с ссадинами и набухшими темными занозами, то, повернувши ее, на загорелый тыл с миндалинами длинных ногтей — особенностью древней расы. Служащие с женами раскладывали на лавках цветные одеяла, выбрасывали поверх подушки, и перед ними на столиках качались медные чайнички или же просто жбанчики с проволокой вместо ручки. По плацкартным вагонам пробегал в белом фартуке помощник буфетчика, насупив сросшиеся у переносицы брови. Он жонглировал стаканами чая, щедро разбрасывая их с подноса по столикам и окуная в них оловянную ложку с потребным количеством сахара. Прогуливались худощавые граждане с подобранными на манер английского короля брюками. Худощавые граждане наизусть знали все станции, им не надо было даже в окно взглянуть, чтоб произнести название, и следование их было незначительное: они останавливались в Эчмиадзине, Сардарабаде, Улуханлу, чтоб тотчас же, помахивая небольшим чемоданчиком, скрыться в недрах вокзала. Это были маклера, путешествующие виноторговцы, подрядчики, неунывающие частники. Страна втягивала их в места, где расширялись вены бюджета и где шло крупное строительство.

Рыжий все шел и шел, угадывая, где его будущие сослуживцы и кто едет вместе с ним на гидрострой. Но вот он попал в шумящий, как улей, вагон, где кондуктор, посмеиваясь, прислушивался к своей вагонной начинке, заинтересованно и не без почтительности просунув голову в дверь. Рыжий пробормотал «виноват», что, впрочем, с одинаковым успехом он мог бы сделать и перед деревянным чурбаном. Протиснувшись боком и пронеся свое ловкое тело сквозь тесноту людской гущи, он тотчас же поднял брови, говоря себе «а!». Так и есть, это были неизбежные по всему пространству Союза счастливые птицы железных дорог, чьи регулярные перелеты скопом, чей радостный гомон и озабоченность, чьи руки, занятые листовками, книжками, бро-

шюрками, блокнотиками, галдеж с повтореньем одних и тех же слов, охваченность могучим единством темы, — вставали, казалось, вскипающим перпендикуляром к монотонному продвиженью колес, словно река, бегущая вдоль русла, вдруг переметнулась через него прямо вверх, над гигантской плотиной. Это была делегация, одна из бесчисленных, ехавшая на с'езд, в самый центр Союза, тоже один из бесчисленных. Рыжий вспомнил чью-то прочитанную филиппику против обилия с'ездов, подписанную наркомом (Семашко, припомнил он), и протестующе сложил губы в улыбку. Протест относился не к с'езду, — к газетной филиппике. На делегатов стоило посмотреть. Деревенского можно было тотчас узнать по принаряженности, по необычной для него чистоте и новизне одежды, торжественности и даже прямизне, с какою держался он возле других. И волосы его, подстриженные и помытые, лоснились чинно и радостно. Городской, напротив, щеголял нараспашку потертой ежедневной одеждой, заплатками, даже несчищенными пятнами. Он вез с собой профессиональную грязь на руках, жаргон производства или же учрежденья, и его радость проскальзывала лишь в некоторой задорной, безобиднейшей, впрочем, заносчивости. Он брал опеку над деревенским. В стране, где крик о всеобщем обучении, как ответным эхо, встречался стоном «школу дайте», где нехватало учащихся, учебников, были с'езды громадной школой для взрослого, фильтром, всасывающим, перерабатывающим и выбрасывающим население по местам с сотнею новых навыков, сведений, с единством полученного метода, с веселой зарядкой к труду, расширенным горизонтом и неутомимой охотой поделиться всем этим.

Рыжий шел дальше, обуреваемый фактами своего вагонного шествия. Но когда он вступил на новую площадку и перед ним, качаясь боками, лязгая, стуча железом, вырос новый вагон, окрашенный в желтую краску, — мягкий, — мысли его вдруг вернулись к молчаливой девушке с красивыми бровями. От кого или от чего она убежала из мягкого вагона?

## 3

Здесь были молчанье и относительная тишина. Из открытых дверей синеватыми облачками шел папиросный дым. Мужчина, ничем особенным не замечательный, давно уже вошел со своей молоденькой спутницей в купе, где два осанистых человека, хорошо одетых, макали носы в газету. Подняв голову, они вошедших узнали, и последовало товарищеское «ага» и даже «эге», что в применении к спутнице вошедшего прозвучало, как «ого-го, брат». Очень хорошенькая, с прекрасным цветом лица, бархатистыми щеками, юная, плотненькая, она куколкой уселась у окна, тотчас же сняла перчатки, поглядела на ногти свои и, откинув борт сумочки, стала припудривать себе подбородок с обезьяньей быстротой кусочком розового бархата, глядя глазами барашка в откиннутое зеркальце. Мужчина, ничем не замечательный, сел рядом, вынул портсигар, взял папиросу, потом предложил соседям.

— В Тифлис?

— В Тифлис. Ее к матери везу!—легонький кивок в сторону женщины, подхваченный ею, как приглашение. Замкнув пальцем плоскую пряжку сумочки и подвинувши на глаза букольки стриженных волос, осторожно, как если б они были искусственные, молоденькая его спутница наклонилась в сторону двух спрашивающих. Ее вступление в разговор произошло так мягко и неприметливо, что даже и вспомнить, какими словами и при каких обстоятельствах влился в беседу ее очень подвижной, открытый и дребезжащий от качанья поезда голосок, не мог бы никто из в купе сидящих. Бойко, с большим облегченьем для мужчин, хорошенькая женщина вела болтовню, и спутник ее самодовольно покуривал, с наслаждением следя за собственными жемами заправского курильщика, усугублявшими для него удовольствие и отдых этого переезда: закрывал и раскрывал сухо трещавшую между пальцами спичечную коробку, отводил мягко левой рукой дым от себя, и указательным пальцем правой руки с чувственной медленностью отряхивал папиросный пепел прямо под ноги. За спиной его по грязному бархату сиденья полз клоп.

И в наружности пассажира было что-то, напоминавшее клопа на бархате: сухощавый рисунок плеч и груди, военная выправка, тугой воротник, подпирающий суховатые, гладко выбритые щеки; суховатые волосы бобриком, стриженные аккуратно и с проседью на висках, впечатление жилистости, подобранности, чего-то европейского, и только лоб чуть ниже, чем следует, и ноги в крагах, выдающие легкую кривизну, и этот запах ножного пота, невыносимый запах, пропитавший весь город Масиса. «Я отрубил бы всем армянам ноги по щиколотку и поставил в домах раковины, а тогда заводите социализм»—говаривал художник Аршак.

Но человек знал себе цену. Не глядя на раскрытую к коридору дверь, он видел, как публика из других купе, прогуливаясь по коридору, заглядывает сюда, будто невзначай. Одни бегали глазами по его спутнице, другие разглядывали его самого. Негусто, биллиардными шарами, откатываясь и набираясь, они уже несколько запрудили коридор, когда еще одна примечательная пара, энергично проталкиваясь, прошла к купе. Это были — юркая личность типа секретарей и старый немецкий писатель, член делегации. Юркая личность, проталкиваясь бочком, вела в фарватере писателя, и то, что она проплывает не для себя, а для оберегаемого на буксире беспомощного человека, делало ее нахальство законным и непреодолимым. Бедняга писатель был стар, глуховат и до крайности утомлен. Его заграничный костюм говорил о бедности, скитаньях, неудачах у себя на родине. Лицо холерического типа, с мешками под глазами, болезненно раздражено: он устал ездить с вокзала на вокзал, из дома в дом, устал от феерического перелета по деревням, городам, аулам, заводам, промыслам, где приходилось выслушивать и произносить речи, жать руки. Писатель был благовоспитан по-европейски, он казался уступчивым;

эта уступчивость удесятряла и облегчала чужую навязчивость, каждый думал, что убедил и подействовал,—и чем больше думал каждый, что убедил и подействовал, тем более копил в себе писатель упорную ответную силу протеста: закон противодействия, одинаковый для мостов и для людского общения.

Юркий человек между тем очень мало заботился о настроении своего патрона. Он шустро кинулся подбородком в дверь, охваченный волнением: знакомить великих мира сего. Подхалимство—одна из бескорыстнейших способностей души человеческой! Нервно юля подбородком и как бы вторгаясь им в высшую для него сферу, юркий человек был сейчас бесконечно утешен и обласкан, как маленькие дети, принятые в игру больших. Тучный немецкий писатель пожал руку суховатого мужчины во френче, соседи сдвинулись, и писатель сел против него внушительно и с уважением зараз,—так привыкли на Западе относиться к лицам официальным. А из дверей, налезая на юркого человечка, уже стеной надвинулись соглядатаи: почтительно послушать, как и о чем тут будут разговаривать.

## 4

Немецкий писатель говорил по-русски. Выговор у него был твердый и слегка шипящий—признак славянина. Человек во френче старался говорить по-немецки, и его глуховатый, носовой выговор, ударенья на окончаньях даже там, где ненужны они, с головой выдавали азиата.

— Wenigstèns,—в нос, крепко обрушиваясь на последний слог,—венигстèнс, по крайней мере, корошо ли показали вам нашу молодую социалистическую страну?—спрашивал тоном хозяина, но, правда, очень редко бывающего дома, человек во френче.—Венигстèнс, по крайней мере, видели вы наши фабрики, коньячный завод, новые кварталы? Едете ли вы сейчас в Ленинакан или на гидрострой?

Роль хозяина была исчерпана. Человек во френче откинулся на бархат и тотчас же стал нервно дергать скулой и кончиком уха, борясь с мелкими клопинами укусами.

Юркий вставил, радостно давясь словами, что как же, об'ехали и видели, и еще поедут, если понадобится, но тут именно писателя и взорвали скрытые, накопленные им без выхода пары протеста. Тщетно силился он унять дрожь кончиков пальцев, искавших по карманам носовой платок. Говорить было неприлично, не принято, и все-таки он говорил, его твердый, шипящий рот брызгал слюной, усы щетинились, и казалось, что слюна и усы пахнут чем-то не нашим, а заграничным, вероятно, запахом второсортной берлинской сигареты.

— Я видел,—сказал писатель, и тотчас же, подняв брови, оглядел всех, приготовляясь сопротивляться,—я видел очень многое. Строящиеся дома, новые фабрики, постановку нового дела, какова плавка баэальта, у вас, в вашей стране, нового, но у нас, в нашей стране, старого.

— Какого же вы, геноссе...

Но поднятый вверх палец перебил человека во френче.

— Я говорю, и я хочу сказать,—начал писатель, отчеканивая,— вы, да, вы начали делать вещи и начали очень много говорить, что делаете вещи. Но мы очень давно и очень хорошо делаем вещи, мы молчим, мы жалеем время. Приезжая к вам, мы, европейцы, ищем видеть не вещи, а новый принцип, очень новый для нас принцип. И—о, что же я могу видеть в вашей стране, господа, если вы разрешаете мне сказать правду? Я видел много, много мест, много, много людей. Но я не видел ни одного уваженья к человеку, нигде, нигде. Если мы мешаем работать, это есть неуважение к человеку. Вы собираете людей в разные места делать вещи и что происходит потом? Потом у вас все начинают,—под ряд, под ряд, rings herum,—мешать этим бедным людям, тормозить этим бедным людям, сердить этим бедным людям...

— Кто такой?—шопотом спросил в коридоре один другого.

— Синдикалист, кажется...

А писатель, волнуясь и портя речь, продолжал:

— Чем мешать? Чем тормозить? Чем сердить? Jawohl, я очень знаю чем. Я скажу очень подробно чем. Место работ есть фронт. Люди работ, есть в данное время солдаты, Soldaten. Начальник работ есть в данное время командир. Первый вопрос: вы собирали людей, надо им хороший фураж, хороший корм, иначе их энергия не даст максимум,— и везде я наблюдал ревизия, ревизия, ревизия кооператив, потому что везде были недочеты, недочеты, недочеты кооператив. Лучше делать сначала хорошо — и после хорошо, чем сначала плохо—и после ревизия. Второй вопрос—кого слушать людям? Много хозяин—нет хозяин. Один бедный работник работает,—у него восемь, девять, десять командир: инженер командир, директор командир, рабочий комитет командир, секретарь ячейка командир, рабочий контроль командир, рабочий инспекция командир, охрана труда командир, уездный исполком командир, рабочий печать командир, приезжие люди командиры, тогда работник тоже хочет быть командир и пишет доносы Гепеу, кричит и делает себя выше всех. Один пугает другого, другой пугает третьего, работа в одну сторону, работа в другую сторону, и все идет плохо, все очень идет плохо, время, силы, деньги идет больше, чем надо. Я это видел, я это слышал. Есть правило: хочешь приказывать, учись слушаться. У вас все хотят приказывать и никто не хочет слушаться.

— До сих пор заграничная печать нас в другом винила,—снисходительно ответил человек во френче.—Выходит, по вашим словам, у нас анархизм какой-то дикий, а вовсе не диктатура. Полнейшая свобода, не так ли?

— Нет, о, нет! Диктатура страха, это есть, да, это есть. Один другому мешает и один другому боится.

В коридоре давно уже толкали друг друга локтями. Спецы, сняв пенсне, сконфуженно перетирали их,—спасительный жест, неизвестно

с какого времени введенный в употребление. Один рыжеусенький, полноватый ехидно шептал соседу, пофыркивавшему в платок:

— Валаамова-то, а? Заговорила, а? Кормили, поили, возили... ха-ха! Хронометражистов забыл, ей-богу, забыл хронометражистов... Что? Ты не знаешь? На Волховстрое у нас... умора, потеха была! Прислали порцию несовершеннолетних с часами и карандашиками, стоят у тебя за душой, записывают: полминуты встал, минута поднял, сорок секунд чихнул, минута перевернул, две минуты глядел... Для чего, ты говоришь? А что, я в мыслях читаю, для чего? Хиромант я,—для чего? Мало у нас фантазии, лишнюю ко... командную высоту выдумать?

Он хрюкнул. Пришепetyвая, другой инженер, постарше, с элегантною выправкою путейца и очень алыми из-под пышных усов губами, почтительно поддержал немца, обращаясь главным образом к человеку во френче:

— Нам в работе очень мешают приезжающие. Туризм нового типа. Это, конечно, может быть, хорошо, интерес не к природе и древностям, а к хозяйству, но это очень убыточно для государства. Мы обязаны всякому давать транспорт, предоставлять помещение, снимать нужного человека с производства, чтоб ходил и об'яснял, и потом, знаете, каждый рабочий чувствует в приезде начальство и обязательно начинает жаловаться, много выдумывает. Производительность труда в такой день безусловно падает, а таких дней у нас...

— Четырнадцать в неделю!—крикнули из коридора.

Уже у человека во френче прошло что-то по лицу. Сухость какая-то наметилась у человека во френче. Он вскинул глазами в окошко, поискал глазами на столике,—те, кто близко знал его, поняли б, что он ищет журнала или газетки или чего-нибудь во внешней природе, для перемены разговора: жест, вполне обязательный для окружающих. Но в журнальчик углубилась его молоденькая, искренне сучавшая жена, а в окне проплывало сейчас, озаренное красным закатом, снеговое седло Арарата. И пустынейшая земля вокруг, истоптанная, с залежалым в морщинах снегом, дышала в окно. все тем же тревожным запахом пробужденья, весеннего поту, близкой весны, тревогой надвигающейся малярии. Крестьяне, провожая глазами поезд, глядели все теми же сфинксами из-под бессмертных барашковых шапок. Тощий их скот щипал землю белыми деснами. «Бескормица, скот, кажется, уже погиб»—мелькнуло совсем некстати в мыслях у человека во френче, мысль, впрочем, не из его ведомства и к нему не причастная. А писатель, выговорившись, все не мог успокоиться и бормотал, уже теперь потише, о различных примерах неуваженья к людям, сильно напирая на то, что и сна не уважают. у нас и будят в поездах спящих людей то дерганьем, то стуком, то разговором, то даже и метаньем вещей. прямо тебе на голову...

Тут, может, после некоторого замиренья и весь разговор сошел бы на-нет, оставив немца явным победителем. Но в двери купе легонько, с учтивыми извинениями, протолкался новый человек. Это

был рыжий. Сунув руки глубоко в карманы и щурясь под стеклами,— от заката, — он поклонился писателю и заговорил с ним на прекраснейшем немецком языке, языке Зиммеля и филолога Чемберлена, языке, полном символической крепости, устоявшейся культуры мысли, того высокого дилетантизма, что жестом хозяина пользуется аналогиями, взятыми из багажа точных наук.

— Вы хотели увидеть у нас новый принцип, неправда ли,— так начал свою речь рыжий,— но чтобы увидеть новый принцип, надо мыслить каузально. Почему, по какой причине творятся у нас эти факты, о которых вы говорите? Потому что это есть явление общественной теплоты. Когда молекулы подогреты, они начинают двигаться, толкаться, расширяться. Мы сейчас все молекулы, мы подогреты революционным взрывом, мы двигаемся, толкаемся, расширяемся, может быть, это и выражается в том, что вы называете «мешать друг другу». Но как иначе построить новое общество? Как найти меру? И что такое мера? Ведь вы ее не выдумаете искусственно в кабинете, как воинский устав, не напишете на бумажке, не выйдете и не скажете; смирно, товарищи, вот мера! Местком, твое дело отсюда—досюда. Директор, твое дело отсюда—досюда. Рабочий, твое дело отсюда—досюда. Кто залезет дальше—того в карцер. Это же совершенно невозможно, потому что мы еще не только не знаем или очень мало знаем свою практику, но мы еще и не проделали эту практику, мы не накопили ее. В том, что мы толкаемся, мешаем друг другу, в этом и есть встреча сил, путь к равновесию, поиски меры. Это и есть начало новой системы. И потом еще одно замечанье. Вы сказали, что мы не экономны, что мы не экономно относимся к человеку, к трате его сил. И вот этот товарищ, инженер-путеец, поддержал вас, приведя очень красноречивые факты, как все, кому не лень, наезжают на производство, мешают работе, отрывают рабочих. Он произнес очень верное слово—туризм: он это назвал туризмом. Но ведь это опять новый принцип,—это новый принцип всеобщего обучения. Мы, правда, теряем в одном. Но мы выгадываем в другом. Эти миллионы молекул, которые мы подняли, подогрели, они не могут научиться в школе, ни один Наркомпрос не сможет научить их. У нас огромный бюджет по Наркомпросу, но он катастрофически мал по сравнению с тем, что нам требуется. И вот накладной расход нашего хозяйства—на обучение, на просвещение масс; мы эти массы учим вот таким бесплатным туризмом, и мы сами непрерывно учимся от них, от их присутствия, от их критики, от их требовательности. Вы сказали: мы делаем вещи, и Европа тоже делает вещи, делает их лучше, дешевле, чище, скорее нас. Да, но Европа делает вещи, а мы делаем вовсе не вещи! Вот в этом вся суть, вот этого вы не увидели, вот тут новый принцип, вот тут объяснение!

— Не вещи? Так что же вы делаете?

— Мы делаем п л а н о в у ю вещь, уважаемый херр! Разница? Разница, огромная, колоссальная. На каждой фабрике, на каждом строительстве, в каждом производстве, которое вы у нас сейчас посетите,

выделяется или обрабатывается или строится вещь плюс новое общество, вещь плюс профсоюз, плюс броня подростков, плюс клубная работа, плюс производственное совещанье, плюс контроль, плюс учет, плюс план! Вещь плюс план,—это сверху, вещь плюс контроль,—это снизу. Вам кажется — десятки хозяев, но вы ошибаетесь,—десятки факторов, а не хозяев. И то, что каждый фактор расширяется за счет другого, это и есть борьба за меру, борьба за систему, борьба за новое общество, потому что, если мы вот такой сегмент нарисуем, вот такой кусочек, излишек, отросток, зашедший в чужой круг, то этот отросток и есть накладной расход на обучение. Благодаря ему, мы строим новый механизм, отмечаем силовую точку, устанавливаем веху. Вот новый принцип, который вы искали и не нашли,—хозяйство без собственника! Не десятки хозяев, а десятки факторов, и люди, как их представители, — увлекательный мир, а вы посетили его и не увидели!

— Хорошо сказано, — сказал человек во френче, кое-что понявший.

— Спор двух беспартийных,—точно формулировал в дверях тот, кто раньше на взгляд определил немца «синдикалист», кажется». Кроме них немецкого языка никто не знал. Но молодежь в коридоре, поддавшись заразной интонации рыжего и блеску его очков, теснее налегла на плечи равнодушных, и красные щеки, блестящие глаза, полуоткрытые рты поощряли: так его, дуй его, крой по-нашински!

Немец, уже сильно утомленный и перенесенный вдруг немецкою речью в атмосферу слишком большого давления, улыбнулся гармонической улыбкой культурного человека. Он прекратил спор, как останавливают велосипед: соскочил и как бы пошел с ним рядом.

— Куда мы теперь будем, что мы теперь смотрим, геноссе Влиппян? Гидрострой? Хорошо, очень хорошо. Обещаю вам (наклон лысой головой в сторону рыжего), обещаю вам, любезный доктор (о, уж конечно рыжий был доктором философии!) посмотреть вашими глазами на гидрострой плюс новое общество!

## 5

Итак, он нашел спутника. Всякий раз, как рыжий произносил речь, он чувствовал себя болезненно—курицей, снесшей яйцо. Только что не кричал, а, распушив свои фалдочки, красный, взволнованный, уж действительно курицей прошел он по коридору, вытягивая из воротника белую шею и высматривая, где тут свободное местечко. Нашел, уселся. И как всегда после речей рыжего, налеплялись к нему откуда-то попутчики и вопрошатели. На этот раз, кашлянув, зашел в купе, будто невзначай, белокурый человек в коричневом свитере. Он ни на кого не смотрел, но прищуренный глаз на рябоватом лице тотчас же, словно метелочкой, обмел купе. и, забрав в себя, что нужно забрать, совсем по-птичьи затянулся веком.

Белокурый человек сел против рыжего, поиграл ладошками, пошвыстел и нехотя спросил:

— Из иностранцев? Немец? Дейч спрэхен?

— Нет, я армянин,—четко ответил рыжий.

— Сходства мало!

— Мать у меня немка.

— Ага, то-то. С интересу ездите?

— То-есть как?

— С интересу, говорю,—ну, виды, народы, окрестности. В наших местах много так ездит. Некоторые из журналов и газет, другие зарабатывают и ездят. Мы вот только, наш брат,—он внезапно глянул прямо в глаза рыжему острыми и прямыми глазами,—поневоле ездим, служба такая.

— Нет, я на место еду, на работу.

— Хорошая значит работа, прогоны в мягком, рублей верно на триста?

Рыжий не ответил.

— Безработных теперь у нас!—Белокурый достал прямо из кармана штанов погнутую немного папиросу, пальцем ее выпрямил и закурил. — Место теперь получить очень трудно. Иностранные языки, конечно, не пустяк. Это специальность редкая, хорошо кормит.

— Ну, меня она никогда не кормила. И сейчас я совсем по другой отрасли. А специальностей перепробовал множество, и маляром был, и подметки шил, и калоши заливал, и парикмахером...

— Парикмахером даже?—очень как-то с расстановочкой переспросил молодой человек.—А ну, расскажите, пожалуйста. Не курите? Очень рад, одолжитесь. Да постойте, я чайку потребую. Гайк, носи два стакана с лимоном! Вы сказали, парикмахером? Забавное дело.

— Писатель Бомарше тоже так думал.

— Не знаю. Интересно будет от вас услышать, как же это вы парикмахером были?

Рыжий, удивившись немного, блеснул разбитыми стеклами очков на спрашивающего. Добродушный его нос сморщился от улыбки. Он подумал, с чего начать, уютно раскинулся на диванчике и—

колеса вдруг дернули со всей силой; с верхней полки зигзагом шлепнулся на головы пыльный сверток; стаканы на столике опрокинулись, чай пышно потек вниз; поезд стал.

— Это чего? Это затормозили на полном ходу,—забормотал молодой человек.—Вы меня подождите, я узнаю! Сбегаю!

Он круто побежал по коридору, пока рыжий рукавом вытирал окно, запотевшее от чайного пара. Было уже темно.

Говорят, изобретут люди новые двигатели—без шума, свисту, копоти, пару. Говорят, придет новая, стеклянно-чистая пора, когда раскиснет небо, протертое, как оконное стекло на пасху,—и контуры вещей, краски их обозначатся с невиданной ясностью и яркостью. Ведь сошла же многовековая копоть с тучных соборных куполов наших и с

золоченых крестов в эпоху голодного безвременья, когда стояли фабрики, не дымили и не коптели воздух. Но мне, признаться, жалко будет век громкого дыханья, век копоти и пара. Жалко огромных труб, чьи колоннады говорят о рабочем районе, жалко дымной акварели неба, тронутой сизью, и тревожных городских закатов, замутненных копотью,—а еще больше жалко пронзительных ночных гудков паровоза, маневрирующего по путанным колеям и отводящего паровую душу в испуганном, разобиженном, будящем крике, — всегда на — à-à-à.

Так или около того думал и рыжий, расплюснув нос на стекле. Весь этот мир уже отходящей в прошлое техники лежал сейчас за стеклом, будя черноту светом и звуком. Армянское нагорье, широкая степь Ширака, уже были пройдены, оставив за собой тощие голодные стинции, малярию, высокий ветер холодного Ленинакана, ветер Турции, на границе которой волчьими стаями скалились ободранные горы. Здесь путь вступал в ущелье, прославленное на весь Союз красотой и особыми трудностями, с какими его прокладывали. Инженеры в бесчисленных докладах писали об этом перегоне: «участок с тяжелым профилем». Красивые слова у техники! И правда, в прямом своем смысле, профиль у этого ущелья, изрытого Дебеда-Чаем, был красив тяжелой красотой, как иногда у воздушной красавицы отяжеляет лицо нос с горбинкой. Рассеченные горы ложились справа и слева кровавыми ломтями базальта. Низкорослые деревца гримасничали по скатам, плоская армянская крыша исчезла, ее сменили треугольник и черепица. Торжество инженерного гения,—здесь полотно свивалось и расплеталось змеей, вползая в жерло тоннелей, возносясь акведуками, пролетая кружевным мостом. Таков был Лори-Бамбакский уезд Армении, перед самым входом в который застрял теперь поезд.

Рыжий видел, как бегали черные людишки, мигая фонариками. Безостановочно стучал под вагоном молоточек, пробуя его кости. Бамбак, Бам-бак. Он схватил шапку и вышел вслед за другими пассажирами.

Поезд стоял почти в воде; с неба текло. В лицах, освещаемых фонариками, трудно было разобрать национальность. В мундире и в пуговицах, в сапогах и в запахе, в повадке и в опыте было у всех суетившихся профессиональное единство. И вся дорога, поблескивавшая желтыми точками сквозь мартовскую темень, раскрывала в этой мокрой ночной росе отрывистыми словами, фигурами смазчика, сцепщика, машиниста, в раскачивающейся их походке и в едкой машинной моче, окипи дегтя, керосину, отработанного пара,—особый железнодорожный мир, мир вечной бессонницы, во всей необыкновенной его деятельности. Что-то случилось,—встревоженные пассажиры уже знали,—случилась катастрофа: впереди товарный наскочил на товарный, очищают полотно. Особое дорожное сладострастье, какое охватывает человека, когда случается что-то, мотало пассажиров в темноте от вагона к вагону, наливало их голоса беспокойством, и оно же, вдруг

охватив рыжего, понесло и его к отдаленному жесткому вагону. Но тщетно ходил он по лужам взад и вперед и заглядывал в темные окна,—девушки с красивыми бровями нигде не было видно.

Продрогнув в своем пиджачишке, рыжий не без грусти повернул обратно.

— Это, это чорт знает, что такое! Да вы поймите, восьмой раз за месяц!—Частник, с отвороченными на манер английского короля брюками, приподняв воротник, стоял в луже и негодовал:—Как это случается?

Из темноты вынырнул мелкий, вз'ерошенный человечек с губами, отстоящими друг от дружки как плохо подобранная крышка; он принялся об'яснять:

— Дежурному по станции в телефон звонили, спрашивали: готовы принять осмнадцатый нумер? А дежурный говорит: «Готовы», а сам спать пошел!

— Ах, скажите, пожалуйста, спать пошел!

— Да это бы ничего,—вмешался смазчик,—это бы вовсе ничего. Стрелочник не дурак, стрелочник слышать должен—идет поезд прямо на запасной, где у нас четырнадцатый стоит. Ему бы стрелку-то, стрелку перевести. Стрелку перевести—и все ничего.

— Так чего же он, стрелочник!

— Стрелочник?

— Ну, да, чего же он, спрашивается!

— А стрелочник? Не было его, стрелочника, на месте. Стрелочника не было и не слышал.

— Ужас!—Частник так и вскидывался коленками, брыкаясь от неразделенного ни с кем негодованья.—Рудзутак проезжал, ревизию делали, и вот так последствия!

Темная фигура кондуктора подвинулась ближе. Усищи кондуктора зашевелились. Бороденка его, задранная кверху, обнаружила типичного русачка.

— Да что стрелочник!—вымолвил он успокоительно.—Чего дурак заладил: стрелочник, стрелочник. Машинист на паровозе имеется? Имеется. Глаза у машиниста есть? Есть. Машинист видит,—семафор занятый путь показывает,—тут тебе затормози, останови машину, и обошлось дело.

— Ну и что же машинист?—с неопределенной надеждой спросил частник.

— Машинист?

— Да, дядя, машинист, я спрашиваю.

— А машинист,—кондуктор сплюнул в сторону и разгладил рукой усы, эдак ладонью вправо и ладонью влево,—машинист, мил человек, пьян вдрызг был, вот тебе и машинист.

Неизвестно, какое восклицание было в запасе у слушателя. Заглушил его пробегавший мимо черный, как уголь, истопник. остано-

вась, чтоб заткнуть вылезшую из сапога штанину, он оглядел кондуктора с ног до головы взглядом торжественного презрения.

— А машинист, один, поезд затормозит? Затормозит, спрашиваю? На то кондукторская бригада имеется. Закон — кондукторской бригаде под уклон во все глаза глядеть. Если чуть что, кондукторская бригада за тормоза хватается.

— Ну,—впился в него частник,—ну, так чего же?

— А то и чего, — набилась, я тебе скажу, кондукторская бригада в один вагон, да и задрыхла!

— Вай, это можно ума лишиться!—взвизгнул вдруг, теряя свою интеллигентность, частник.—Вай, что вы говорите! И мы едем, кушаем, пьем, спать ложимся. И у нас дома семейство! И возможно так всегда поезда ходят: дежурный спит, бригада спит, машинист пьян, стрелочник гуляет...

Он замотал руками и наткнулся на рыжего.

— Вай!—вырвалось у него снова.—Вы слышали?

Рыжий взял его под руку и повел вдоль полотна; его чуть знобило от свежести и от одиночества, от того, что вставали из мокрой тьмы эманации невыполнимых, необъяснимых желаний.

— Слышал. Это неизбежно, пока... (он оглянулся, поднял правую руку и широким жестом раскинул ее) пока тут у нас всего четыре состава ходят и один запасной путь. Срок дайте, раздесатерим колеи, ниже поездов, дежурный каждые пять минут слышать будет «принимайте номер такой-то», «принимайте номер другой»,—вот как некогда станет спать, у нас крушенья исчезнут, из памяти испарятся...

Частник тревожно вслушивался, прижимая рукой бумажник.

И скоро заснул поезд, а под утро пошел, и как ни в чем не бывало зажило полотно своей жизнью. Опять всасывал каждый производственный участок часть пассажиров: прыгал партиец в сапогах, вылезал с портфелем хозяйственник, железнодорожники с простоватыми лицами, с копотью в носу и на пальцах, вынимали из карманов пакетики или конверты, адресованные по начальству, и относили их вместе с привязанной за спиною посылочкой,—постоянная и бессмертная «оказия». Инженеры и техники, горняки, узнавая друг друга, здоровались. К ним с улыбкой,—отблеском схваток былых и будущих,—подсаживались профсоюзники. Эта публика следовала на станцию Аллаверды, где черными извилинами труб,—рогами допотопного монтажа,—на фоне крутых, еще оснеженных гор, вздымался медноплавильный завод.

Словом, все потекло, как надобно.

И только агент не успел дослышать, как рыжий сделался парикмахером. И только рыжий не успел дознаться, от кого или от чего убежала из мягкого вагона девушка с красивыми бровями.

*(Продолжение следует)*

# Мужество

Рассказ

В. Л. ЛИДИН

Улица разлилась в сумерки сизо, как в половодье. Она уходила кверху, в глухие шумы своих садов, и сверху, откуда спускался фонарщик, разбежался первый пунктир огней. Фонарщик длинным своим шестом касался на ходу фонарей, они мгновенно одушевлялись огнем, их рисовые зеленоватые колпачки начинали течь газом. Улица становилась уютной, в витрине гастрономического магазина иллюминационно затеплились стеклянные банки с желтыми и гранатовыми маринадами. Мальчик, сидевший на окне, слез с подоконника и пошел открывать дверь.

— Елены Сергеевны нет дома,—сказал он через минуту в гулкую темноту парадной,—если нужно что-нибудь передать, скажите мне. Я ее сын.

— А,—сказал человек в дверях,—так ты Дмитрий Карагодов... Ты можешь впустить меня, я приехал из Москвы и привез поклон от твоего отца.

Минуту спустя он вошел в переднюю.

— Вы от Андрея Михайловича?—спросил мальчик счастливо.

Его некрасивое скуластое лицо озарилось, неправильный рот с зубами, слегка выступающими вперед, раскрылся в улыбке. Человек с таким же неправильным ртом и зубами, выступающими вперед, смотрел на него неотрывно. Потом он положил ему руки на плечи.

— Так ты—Дмитрий Карагодов,—произнес он опять в раздумьи и покачал головой.—Ты очень вырос. И потом... ты пионер?

— Да, я пионер,—ответил мальчик. Он обдернул на себе зеленоватую блузу юнгштурма с детским ремнем портупеи. —Зайдите пожалуйста, в комнату. Мама ушла на дежурство на сутки в больницу.

Человек зашел за ним следом и сел на стул, не снимая пальто.

— Пожалуйста, расскажите, как поживает папа,—сказал мальчик счастливо и оживленно.—Неужели он никогда не соберется к нам в Киев?

— Он очень занят, твой отец,—ответил человек.—Он прислал тебе поклон и подарки. Ты, наверное, хотел бы коньки и хорошие книжки... какие книжки ты бы хотел?

Говоря это, человек оглядывал комнату. Его худое неправильное лицо было напряжено, на лбу была беловатая линия шрама.

— Мне бы очень хотелось Жюль Верна... если без переплета, он стоит недорого.

— Завтра мы встретимся с тобой после уроков, и я передам тебе подарки. Ты мне скажешь, где помещается твоя школа, я буду дожидаться тебя на улице.

Человек оглядел, наконец, комнату вполне. Она была бедна и опрятна. В углу у окна был мальчишеский стол. На нем стоял глобус, над ним висели ручная пила, стамески и Ленин.

— Ты работаешь по дереву, мальчик,—сказал он невнятно,—отец прислал тебе также набор ручных инструментов... завтра я тебе их передам. Что же ты все-таки читаешь?—Он наклонился над его столом и перелистал Пушкина.—А, ты читаешь и Пушкина...

— Я прочел всего Пушкина и Лермонтова тоже... и потом я прочел кое-что Толстого.

— Так, так... значит, ты серьезный настоящий пионер... это отлично. И потом—ты один? На всю ночь? И ты не боишься? Ты—мужественный пионер, кроме того.

— Мой отец брал Киев,—сказал мальчик с горделивым достоинством,—он прогнал отсюда петлюровцев...

— А, ты слыхал и о петлюровцах!..

Человек прошелся по комнате и повертел глобус. Африка сменила Америку под его рукой. Его большой палец в раздумьи лежал на экваторе.

— Ты любишь путешествия?—спросил он погода.

— Да, я хочу об'ехать весь земной шар,—ответил мальчик уверенно.—Я уже обдумал, как это сделать. Я поеду во Владивосток, вот смотрите—сюда... из Владивостока в Японию. В Японии можно сесть на пароход, который уходит в Америку... к тому времени, когда я вырасту, это будет, наверное, очень легко.

— Вы, вероятно, не слишком хорошо живете,—сказал человек, в последний раз повернув глобус. Он оглядел стены комнаты в отставших посеребривших обоях и вдруг быстро направился в сторону.—А чей это шлем?—спросил он минуту спустя.

Его темноватое лицо стало как бы оливковым. На стене, распустив боковины, как птица крылья, висел старый суконный шлем с выцветшей синей звездой.

— Это шлем папы,—сказал мальчик, подойдя.—Он был на нем, когда его ранили в лицо... мама бережет его.

Человек отошел от шлема не сразу.

— Твоя мать—настоящий человек... ты должен любить ее,—сказал он погода. Потом он надел свою меховую шапку и застегнул паль-

то.—Теперь я ухожу... у меня есть еще дела. Завтра мы с тобой встретимся. Скажи мне, где помещается твоя школа и когда ты завтра кончаешь занятия? Я буду ждать тебя на улице и передам подарки от отца.

Он записал в книжечку адрес. Мальчик выпустил его в темную парадную. Потом он вернулся в комнату. Его некрасивое лицо было счастливо. Он снова сел на подоконник и стал смотреть на улицу. С трамвайных проводов срывались парящие зеленые искры, делая на мгновение улицу озаренной и праздничной. Затем все потухало, дальше шли люди. Чудесные коньки, которые привез незнакомец, звенели шорохами льда и зимы. Насвистывала по дереву легкая пилочка. В книжном магазине напротив развернулась гигантская книга «В лесах Флориды». (Сидя на окне, он смеялся беззвучно и преданно. Потом он слез с окна, пододвинул к стене стул и достал с гвоздя шлем, пахнущий пылью. Он расправил его крылья и надел шлем на голову. Маленькое скуластое лицо воина смотрело победительно и вполборота. Потом улыбка радости потекла и сделала его детским. Он прошелся в шлеме по комнате. В этом шлеме ранен был в лицо отец. Мальчик снял шлем и поискал следов крови. На левой боковине были видны бурые выцветшие пятна: вероятно, это была кровь. Его лицо стало серьезным. Он снова влез на стул и повесил шлем на прежнее место. После человека, привезшего весть из Москвы, остался голько запах мокрой кожи его сапог. Этот запах обещал день, полный счастья. Ночью, проснувшись, мальчик еще раз понюхал воздух, чтобы убедиться, что человек был здесь, а не снился.

Декабрьский день над Киевом развернулся весной. Снег, принесенный метелью, растаял, падали капли, дали под гору были обещающие и синеваты, как в марте. Занятия окончились, и мальчики, толкаясь, натягивая на спину ранцы, устремились по мраморной лестнице некогда классической гимназии. Худое пальтишко было перешито из женского пальто. Его рукава торчали буфами на плечах. Неумелая портниха делала швы и петли. Ученики, столпившиеся у двери, не давали пройти так быстро, как хотелось. Человек со свертком подмышкой дожидался на другой стороне улицы. Мальчик перебежал улицу и остановился возле него, дыша взволнованно и озаренно.

— Ну, вот,—сказал человек,—вот я и жду тебя, Дмитрий... Теперь пойдем. Если ты не очень спешишь, ходим по Киеву... я давно не был в этом городе. А вот это подарки от твоего отца... ты можешь занести их домой.

— Нет, я понесу их с собой,—сказал мальчик оживленно,—это совсем легко... Так вы давно не были в Киеве? Если хотите, мы можем подняться с вами на Владимирскую горку, оттуда виден Днепр... это очень красиво.

Человек ответил:

— Что ж, отлично... поднимемся на Владимирскую горку.

Они спустились по улице и пошли по весеннему, несмотря на декабрь, Крещатику. Он был будничен, просторен и люден. Мальчик старался попасть в ногу, как взрослый, он важно и бережливо нес в руке сверток, отмеряя проспект своими крепкими ногами в обмотках.

— Сейчас здесь тишина, Дмитрий... а я помню, как по Крещатику шли войска. Этот злосчастный город завоевывали и отвоевывали восемнадцать раз,—сказал человек в раздумьи.—Он красив, этот город,—добавил он еще погодя,—за него стоило драться!

Они шли друг подле друга, мальчик поймал наконец ногу, его лицо было одушевленно и розово.

— Я покажу вам Днепр, а потом, если хотите, мы можем пройти в Дворцовый парк и еще куда вы только захотите... сегодня совсем как весной, это хорошо, что теплая погода... приятно итти.

Он говорил громко и без умолка, занимая собеседника. Тот был задумчив и скорее грустен, воротник его пальто был поднят, меховая несвоевременная шапка сдвинута на затылок. Так прошли они весь Крещатик и свернули налево, по тропинке Владимирской горки.

— Сейчас мы поднимемся наверх и оттуда вы увидите Киев,—продолжал мальчик словоохотливо, потряхивая в руке своей драгоценной ношей.—Пожалуйста, передайте папе, что я ему так благодарен за все... и потом скажите ему, чтобы он все-таки приехал когда-нибудь в Киев!

— Я непременно скажу ему это,—ответил собеседник.

Они поднялись на горку, к чугунному памятнику Владимиру. Держась рукой за гигантский крест, он стоял лицом к Днепру, устремив вперед чугунные невидящие глаза. Далеко внизу уходил в туман Днепр, уже предзимне-тяжелый, в своих дельтах и отмелях. Легчайшие арки моста стежками были перекинута над ним. Со своими желтыми косами, белыми домишками в безлиственных палисадниках, с чешуей опрокинутых лодок на берегу разделял его Труханов остров, безлюдный и глухой в эту пору. Далеко в затоне стояли на зиму пароходы, а слева дымами, сотнями дымов своих труб дымил свинцовый Подол. Как мягкие графитные кошки, потягиваясь и извиваясь, вылезал дым из труб, размазываясь по белому небу. Вагончик фуникулера полз медленно в гору. Киев отсюда был задумчив и пристален. Человек стоял у чугунной решетки и смотрел на Днепр и на арки моста. Его ноздри прижались и белели, воспоминания оживляли днепровский предзимний простор.

— Это был цепной мост, он был прекрасен,—сказал он, наконец,—его безжалостно взорвала война... киевляне пришли на берег и плакали, когда этот мост взорвали.

— Пройдемте в беседку,—сказал мальчик возбужденно,—оттуда лучше видно... Вы знаете папу, я покажу вам, откуда он наступал на Киев и где его ранили...

Он увлек его за собой в беседочку над обрывом.

— Вот видите,—продолжал он так же возбужденно,—там, с того берега, наступали красные... папа командовал дивизией. Здесь на горке стояли орудия и пулеметы и били по красным... Надо было во что бы то ни стало переправиться через реку. Красные стали переправляться на плотках и на лодках. Белые стреляли до последнего момента, а потом всё побросали и бежали... Когда папа со своими войсками был уже на этом берегу, его ранило в лицо куском шрапнели... он зажал рану шлемом и продолжал бежать, пока красные не завладели горкой. Потом он упал. Ему пришлось сделать операцию, и у него теперь шрам на лице, вот такой же как у вас... вас тоже ранило?

— Да,—ответил человек неохотно,—давно.

— Мой папа брал Киев,—продолжал мальчик, бледнея от возбуждения,—он очень мужественный... я тоже буду мужественным. У нас есть мальчики, которые стали пионерами только потому, что им нравится форма... а я стал совсем не потому пионером, я дал себе слово, что никогда ничего не буду бояться и что я стану настоящим большевиком... вы ведь тоже большевик?

— Да, я большевик,—ответил человек, глядя попрежнему мимо.—Это хорошо, что ты мужественный, Дмитрий Карагодов... и—ты знаешь о мужестве твоего отца и ничего наверное не знаешь о мужестве твоей матери. Ты должен о нем знать!..

Они сидели на скамеечке беседки, мальчик бережно держал на коленях сверток, его глаза еще блестели, из коротких рукавов пальтишка вылезали красноватые руки с мальчишескими заусеницами, с обгрызанными кривыми трогательными ногтями и следами лиловых чернил.

— Так вот, о твоей матери... Когда твоего отца ранили в лицо, тебе было два года. Твоя мать была еще студентка... она была сестрой милосердия у красных. Киев много раз брали и отдавали обратно. И когда твоего отца эвакуировали в Москву, твоей матери пришлось долго скрываться и прятаться и оставлять тебя у чужих людей...

Мальчик сидел и слушал и только изредка моргал, слушая. Его рот с неправильными зубами приоткрылся. Беловатая линия шрама была близко от его лица.

— Твой отец уехал в Москву, и так случилось, что больше он не вернулся в Киев... никогда. Потом пошли годы, много лет, целый десяток лет... и твой отец ни разу за эти годы не был в Киеве. Он часто о тебе вспоминал, но он не видел тебя с той поры, когда тебе было два года. И потом—ты наверное об этом слыхал—у него есть еще дочь и сын, ты никогда их не видал—твоих брата и сестру... Он жил все эти годы с ними, а ты жил с твоей матерью, и вы очень плохо жили... не так ли?

— Мама служит в больнице,—ответил мальчик.

Его возбуждение прошло, лицо становилось угрюмее и недетским.

— И все-таки, несмотря на то, что ей было так трудно и что она была совсем одна,—она не хотела принять ни от кого помощи и воспитывала тебя как могла лучше... и вот тому, что ты пионер и что ты хочешь быть мужественным и итти по следам отца,—этому ты обязан тоже ей. Женщине всегда труднее, когда она одна—и притом с ребенком... а ведь еще совсем недавно ты был ребенком. Для этого нужно мужество, большое мужество, Дмитрий!

Ветер дул с Днепра, синеватая дуча сдвинулась с запада, и там, позади нее, оранжево затеплилось небо, только-что проводившее солнце. Оно осветило лицо рыжевато и смугло, но его оранжевый склон предвещал близкий холод.

— Ну, а теперь пойдём... в этом свертке Жюль Верн и набор инструментов и отличные коньки «Нурмис», надо думать—тебе все это понравится.

Они поднялись со скамейки, обошли вдоль чугунной решетки обрыв и стали спускаться с горки. Владимир с крестом был замкнут и нелюдим. Первые огни стали зажигаться в Подоле. Крещатик был уже в том сизоватом вчерашнем тумане, в котором походил он на реку в разливе. Фонарщик с шестом еще не спустился с горы. Торопливо и черно двигались толпы, возвращаясь со служб. Так проводил его человек до знакомых сырых ворот.

— Ну, вот, до свиданья, мальчик,—сказал он не сразу.

Он подержал его еще за плечи и поглядел ему в глаза. Минуту спустя он ушел. Пустая арка ворот зияла, налитая синевой. Мальчик постоял у дверей парадной и бросился вдруг обратно к воротам, следом за ним...

— Мама вернется скоро... что мне сказать ей?—сказал он, нагнав его и задохнувшись.

Человек остановился, его рот с неправильными зубами пополз недоуменно и горько.

— Скажи ей, что приезжал человек из Москвы... и еще скажи, что у человека был шрам на лице, как у твоего отца. Да, и вот еще что: для жизни нужно мужество не меньше, чем для войны... запомни это, учись этому мужеству, Дмитрий Карагодов!

Он пожал по-мужски его мальчишеские холодные пальцы и стал уходить. Сверху, издалека, как обычно, шел фонарщик, оставляя позади пунктир огней. Зеленовато начинали течь газом рисовые колпачки фонарей. Иллюминационно затеплились гранатовые и желтые банки с маринадами в окне магазина. Маленькая женщина, торопившаяся со службы, зашла в фруктовый магазин на углу и выбрала грушу, самую большую и спелую,—для сына.

Декабрь. 1929.  
Москва.

# Ярмарка в Куиндах

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

Над степями плывут орлы  
От Тобола на Каркаралы,

И баранов пышны отары  
Поворачивают к Атбасару.

Горький ветер трясет полынь,  
И в полоне Долонь у дынь —

Их оранжевые тела  
Накаляются добела,

И до самого дна нагруз  
Сладким соком своим арбуз.

В этот день поет тяжелей  
Лошадиный горячий пах, —  
Полстраны, заседлав лошадей,  
Скачет ярмаркой в Куиндах.

Сто тяжелых степных коней  
Диким глазом в упор косят,  
И бушует для них звончей  
Золотая пурга овса.

Сто коней разметало дых—  
Белой масти густой мороз;  
И на скрученных лбах у них  
Сто широких буланых звезд.

Над раздольем трав и пшениц  
Поднимается древний рев:  
Казачи из своих станиц  
Гонят в степь табуны коров.

Горький ветер, жги и тумань  
У Алтайских предгорий стын!

Для казацких душистых бань  
Шелестят березы листы.

В этот день поет тяжелей  
Вороной лошадиный пах,—  
Полстраны, заседлав лошадей,  
Скачет ярмаркой в Куиндах!..

Пьет джигит из Касэ вина,  
Азиатскую супит бровь—  
На бедре его скакуна  
Вырезное его тавро.

Пьет казак из Лебяжья — вина,  
Сапоги блестят — до колен —  
В пышной гриве его скакуна  
Кумачевая вьюга лент.

А на седлах чекан-нарез,  
И станишники смотрят—во!  
И киргизы смеются—во!  
И широкий крутой заезд  
Низко стелется над травой.

Кто отстал на одном вершке,  
Потерял—жалей не жалей—  
Двадцать пять в холстяном мешке,  
Серебром двадцать пять рублей!..

Горький ветер трясет полынь,  
И в полоне Долонь у дынь,  
И баранов пышны отары  
Поворачивают в Атбасару.

Над степями плывут орлы  
От Тобола на Карр-ка-ралы...

# Петр Первый

Повесть

А. Л. ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1</sup>)

## ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Лефорт становился большим человеком. Иноземцы, живущие на Кукуе и приезжие по торговым делам из Архангельска и Вологды отзывались о нем с большим уважением. Приказчики амстердамских или лондонских торговых домов писали о нем туда и советовали, случится какое дело, посылать ему небольшие подарки, — лучше всего доброго вина. Когда он за троицкий поход жалован был званием генерала, кукуйцы, сложившись, поднесли ему шпагу. Проходя мимо его дома, многозначительно подмигивали друг другу, говоря: «О, да...» Дом его теперь был тесен, — так много людей хотело пожать ему руку, перекинуться словечком, просто напомнить о себе. Несмотря на позднюю осень, начались торопливые работы по надстройке и расширению дома, — ставили каменное крыльцо с боковыми под'ездами, украшали колоннами и лепными мужиками лицевую сторону. На месте двора, где прежде бил фонтан, копали озеро для водяных и огненных потех. По сторонам строили кордегардии для мушкетеров.

По своей воле, может быть, Лефорт и не решился бы на такие затраты, но этого хотел молодой царь. За время троицкого сидения Лефорт стал нужен Петру, как умная мать ребенку: Лефорт понимал его желания, стерег от опасностей, учил видеть выгоды и невыгоды и, казалось, сам горячо его любя, постоянно был подле царя не за тем, чтобы просить, как все русские, — уныло стучая челом в ноги, — деревенек и людишек, а для общего им обоим дела и общих потех. Нарядный, болтливый, добродушный, как утреннее солнце в окошке, он появлялся — с поклонами, улыбочками — у Петра в опочивальне, и так весельем, радостными заботами, счастливыми ожиданиями начинался день. Петр любил в Лефорте свои сладкие думы о заморских землях, прекрасных городах и гаванях с кораблями и краснорожими капитанами, пропахшими табаком и ромом, — все, что с детства мерещилось на картинках и печатных листах, привозимых из-за гра-

<sup>1</sup>) См. „Новый Мир“ 1929 г. кн. кн. 7 — 12 и кн. 1 с. г.

ницы. Даже запах от кожи и платья Лефорта был не русский, иной, весьма приятный.

Петр хотел, чтобы дом его любимца стал клочком этой манящей иноземщины, — для царского веселья украшался Лефортов дворец. Денег, сколько можно было вытянуть у матери и Льва Кирилловича, не жалелось. Теперь, когда в Москве, на верху сидели свои, Петр без оглядки кинулся к удовольствиям. Страсти его прорвало, и тут в особенности понадобился Лефорт: без него не хотелось и не зналось... А что могли присоветовать свои, русские? Ну, соколиную охоту или слепых мужиков тянуть Лазаря... Тьфу! Лефорт с полуслова понимал его желания, подсказывал, разукрашивал их, раздувал... Был он, как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей.

Одновременно возобновились работы над стольным градом Прешпурхом, крепостцу готовили для весенних воинских потех. Полки обшивали новым платьем: преображенцев — в зеленые кафтаны, семеновцев — в лазоревые, полк Гордона — в красные. Вся осень прошла в пирах и танцах. Иноземные купцы и промышленники между забавами во дворце Лефорта гнули свою линию...

## 2

Вновь выстроенный танц-зал был еще сырой, от жара двух огромных очагов потели высокие полукруглые вверху окна и напротив их на глухой стене — зеркала в виде окон. Свеже натерт воском пол из дубовых кирпичей. Свечи в медных люстрах и стенных с зеркалом трехсвечниках зажжены, хотя только еще начинались сумерки. Падал мягкий снежок. Во двор между запорошенными кучами глины и щебня заезжали сани — немецкие — в виде лебедя, расписанные чернью с золотом, русские — длинным ящиком — с наваленными подушками и медвежьими шкурами, тяжелые кожаные возки шестерней цугом и простые извозчицьи сани, где, задрав коленки, смеясь, сидел какой-нибудь иноземец, нанявший мужика за две копейки с Лубянки до Кукуя.

На каменном крыльце, на затоптанных снегом коврах гостей встречали два толстомордых, наголо бритых шута, один — в испанском платье с обтянутыми красными ногами, в черной епанче до пояса и в соломенной шляпе с вороньими крыльями, другой — турок в двухаршинной рогожной чалме с пришитым наперед свинным ухом. Голландские купцы с особенным удовольствием смеялись над шутком в испанском платье, щелкая его в нос, спрашивали про здоровье его католического величества испанского короля. В светлых сенях, где дубовые стены были увешаны синими фаянсовыми блюдами, гости отдавали шубы и шапки ливрейным гайдукам. В дверях в танц-зал встречал Лефорт в белом атласном, шитом серебром кафтане и парике, посыпанном серебряной пудрой. Гости подходили к жаркому очагу, испивали венгерское, закуривали трубки с табаком.

Русские, стесняясь немоты (мало кто еще умел говорить по-голландски, английски, немецки), приезжали позже, прямо к столу. Гости свободно грели у огня зады и ляшки, обтянутые чулками, вели деловые разговоры. Лишь один хозяин летал, как бабочка, покачивая оттопыренными боками кафтана, от гостя к гостю, — знакомил, спрашивал о здоровье, о путешествии, на удобном ли остановился дворе, предостерегал от воровства и разбоя...

— О, да, мне много рассказывали про русскую чернь, — отвечал гость, — они очень склонны грабить и даже убивать богатых путешественников...

Лесоторговец, англичанин Сидней, говорил сквозь зубы:

— Страна, где население добывает себе пропитание плутовством и разбоем, есть дурная страна... Русские купцы молятся богу, чтобы он помог им ловчее обмануть, они называют это ловкостью. О, я хорошо знаю эту страну... Сюда нужно приходиться с оружием...

Кукуйский уроженец, небогатый местный торговец Гамильтон, внук английского пэра Гамильтона, бежавшего некогда от ужасов Кромвеля в Московию, приблизясь почтительно к беседующим, проговорил:

— Даже имея несчастье родиться здесь, трудно привыкнуть к грубостям и бесчестию русских. Как-будто они все одержимы бесом!..

Сидней, оглянув этого выходца, дурно произносившего по-английски, грубо и по-старомодному одетого, презрительно искривил губы, но из уважения к дому все же ответил Гамильтону:

— Но мы жить здесь не собираемся... А для крупной оптовой торговли, которую мы ведем, бесчестие русских мало имеет значения...

— Вы торгуете лесом, сэр?

— Да, я торгую лесом, сэр... Мы приобрели под Архангельском значительную лесную концессию.

Услыхав «лесная концессия», голландец Ван Лейден приблизил к беседующим голову, с испанской острой бородкой крепко багровое лицо, трущее тремя подбородками по накрахмаленному огромному воротнику:

— О, да, — сказал, — русский лес — это хорошо, но сатанинские ветра в Ледовитом океане и норвежские пираты — это плохо. — Открыл рот, побагровел еще гуще, из зажмуренных глазок выдавились две слезы, — захохотал...

— Ничего, — ответил высокий, костлявый и желтый Сидней, — мачтовое дерево нам обходится двадцать пять копеек, в Ньюкастле мы продаем его за девять шиллингов<sup>1)</sup>... Мы можем итти на риск...

Голландец поцыкал языком: девять шиллингов за лесину! Он приехал в Московию для закупки льняной пряжи, холста, дегтю и поташу. Два его корабля стояли на зимовке в Архангельске. Дела шли вяло, — государевы гости, крупные московские купцы, скупавшие

<sup>1)</sup> Четыре рубля пятьдесят копеек.

товар в казну, прознали про два корабля и несуразно дорожились, у частных мелких перекупщиков товар никуда не годился. А вот англичанин, видимо, сделал хорошее дело, если не врет. Весьма обидно. Покосившись, нет ли поблизости русских, Ван Лейден сказал:

— Русский царь владеет тремя четвертями дегтя всего мира, лучшим мачтовым лесом и всей коноплей... Но это так же трудно взять, как с луны... О, нет, сэр, вы много не наживете на вашей концессии... Север пустынен, — разве приучите медведей рубить лес... Кроме того, из трех ваших кораблей, сэр, два утопят норвежцы или шведы, а третий погибнет от пловучих льдов. — Он опять засмеялся, уже чувствуя, что доставил неприятность проклятому англичанину. Да, да, эта страна богата, как Новый Свет, богаче Индии, но, покуда ею правят бояре, мы будем терпеть убытки и убытки... В Москве не понимают своих выгод, московиты торгуют, как дикари... О, если бы они имели гавани в Балтийском море, да удобные дороги, да торговлей занимались честные бюргеры, — тогда бы можно делать здесь большие обороты...

— Да, сэр, — важно ответил Сидней, — я с удовольствием выслушал и согласился с вами... Не знаю, как у вас, но думаю, что у вас, так же, как и в нашей Англии, не строят более мелких морских судов... На всех эллингах Англии заложены корабли по четыреста и по пятьсот тонн... Теперь нам нужно в пять раз больше лесу и льна... На каждый корабль требуется не менее десяти тысяч ярдов парусного полотна...

— О-оо! — изумленно произнесли все, слушавшие этот разговор.

— А кожа, сэр, вы забыли потребность в русской коже, сэр, — перебил его Гамильтон... Сидней с негодованием взглянул на невежу. Собрав морщины костлявого подбородка, некоторое время хмурился на огонь:

— Нет, — ответил, — я не забываю про русскую кожу, но я не торгую кожей... Кожу вывозят шведские купцы... Благодаря господу, Англия богатеет, и мы должны иметь очень много строительных материалов... Англичане, когда хотели — имели... И мы будем их иметь...

Он кончил разговор, сел в кресло и, положив толстую подошву башмака на каминную решетку, более не обращал ни на кого внимания... Подлетел Лефорт, таща под руку Алексашку Меньшикова. На парне был темно-синий суконный кафтан с красными отворотами, огромные серебряные шпоры на ботфортах, лицо, окруженное пышным париком, припудрено, в кружевном галстуке — алмазная булавка, веселые, прозрачной воды глаза без смущения оглянули гостей. Ловко поклонился, зябко повел сильным плечом, стал задом к камину, взял трубку:

— Государь сею минуту изволит быть...

Гости зашептались, те, что поважнее, стали вперед — лицом к дверям... Сидней, не поняв, что сказал Алексашка, слегка даже открыл рот, с изумлением рассматривая этого мальчишку, беззаботно оттеснившего почтенных людей от очага. Но Гамильтон шепнул ему:

«Царский любимец, недавно из денщиков пожалован офицерским званием, очень нужный» — и Сидней собрал добродушные у глаз морщины, обратился к Алексашке:

— Я давно мечтал иметь счастье увидеть великого государя... Я всего только бедный купец и благодарю нашего господина за неожиданный случай, о котором буду рассказывать моим детям и внукам...

Лефорт перевел. Алексашка ответил:

— Покажем, покажем, — и смехом открыл зубы, как из жемчуга. — А пить и шутить умеешь, так и погуляешь с ним на доброе здоровье. Будет, что внукам рассказывать... (Лефорту) Спроси-ка его, чем торгует? А, лесом... Мужиков, чай, приехал просить, лесорубов?... (Лефорт спросил, Сидней с улыбкой закивал.) Отчего ж, если государь даст записку ко Льву Кирилловичу... Пущай похлопочет...

В дверях неожиданно появился Петр в таком же, как на Алексашке, преображенском кафтане, — узком в плечах и груди, — весь запорошенный снегом. На разруганных щеках вдавились ямочки, рот поджат, но темные глаза смеялись. Снял треухую шляпу, топнул, отряхивая снег, на пороге прямоносыми, выше колен, грубыми сапогами:

— Гутен таг, мейне хершафтен, — проговорил юношеским баском (Лефорт уже летел к нему, перегнувшись, одна рука впереди, другая — коромыслом — на отлете)... Есть зело хочется... Идем, идем к столу...

Подмигнув затаившим дыханием иноземцам, он повернулся, — сутуловатый, вышиною чуть не в дверь, — и через сени прошел в шпее-зе-зал — столовую палату...

### 3

У гостей уже покраснели лица и с'ехали на сторону парики. Алексашка, сняв кушак, отхватил трепака и опятьпил, только бледнея от вина. Шуты, притворяясь более других пьяными, прыгали в чехарду, задевали бычьими пузырями с сухим горохом по головам гостей. Говорили все враз. Свечи догорели до половины. Скоро должны были с'езжаться кукуйские дамы для танцев.

Сидней, прямой и сдержанный, но с покрасневшими и косящими глазами, говорил Петру (Гамильтон переводил, стоя за их стульями):

— Скажите, сэр, его величеству вот что: мы, англичане, полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли... Война — дорогая и печальная необходимость, но торговля — это благословение господне...

— Так, так, — поддакнул Петр. Его веселили шум и споры и в особенности странные эти рассуждения иностранцев о государстве, о торговле, о пользе и вреде... О счастье! Чудно! — Ну, дальше, дальше говори, слушаю...

— Его величество король Англии и почтенные лорды никогда не утвердят ни один билль, если только он может повредить торговле...

И поэтому казна его величества полна... Английский купец—уважаемое лицо в стране. И мы все готовы пролить кровь за Англию и нашего короля... Пусть его величество молодой государь не сердится, если я скажу, что в России много дурных и не полезных законов. О, хороший закон — это великая вещь! И у нас есть суровые законы, но они нам полезны и мы их уважаем...

— Чорт-те что говорит! — смеясь, Петр положил кулаки на скатерть. — Поговорил бы он так в Кремле... Слышь, Франц, обморок бы там их хватил... Ну, хорошо, назови, что у нас плохо? Гамильтон, переведи...

— О, это очень серьезный вопрос, я не трезвый, — ответил Сидней. — Если его величество позволит, я завтра мог бы, вполне владея своим разумом, рассказать про дурные русские обычаи, а также, — отчего богатеет государство и что для этого нужно...

Петр вытаращился в его слегка окосевшие, чужеумные глаза. Показалось, — уж не смеется ли купец над дураками русскими? Но Лефорт, быстро перегнувшись к плечу, шепнул:

— Послушать будет любопытно, сие филозофия, как обогатить страну.

— Ладно, — сказал Петр, — но пусть назовет, что у нас гадкое?

— Хорошо, — Сидней передохнул опьянение. — По пути к нашему любезному хозяину я проезжал по какой-то площади, где виселица, там небольшое место расчищено от снега и стоит один солдат...

— За Покровскими воротами, — подсев со стулом, подсказал Алексашка.

— Так... И вдруг я вижу — из земли торчит женская голова и моргает глазами. Я очень испугался, я спросил моего спутника: «Почему голова моргает?..» Он сказал: «Она еще живая. Это русская казнь, — за убийство мужа такую женщину зарывают в землю и через несколько дней, когда умрет, вешают кверху ногами...»

Алексашка ухмыльнулся. — Гы! — Петр взглянул на него, на нежно улыбающегося Лефорта:

— А что? Она же убила... Так издавна казнят... Миловать разве за это?

— Ваше величество, — сказал Сидней, — спросите у этой несчастной, что довело ее до ужасного злодеяния, и она, наверно, смягчит ваше добродетельное сердце (Петр усмехнулся)... Я кое-что слышал и наблюдал в России... О, взор иностранца всегда остер... Жизнь русской женщины в теремах подобна жизни животных... (Он провел платком по вспотевшему лбу, чувствуя, что говорит лишнее, но гордость и хмель уже развязали язык.) Какой пример для будущего гражданина, когда его мать закопана в земле, а затем бесстыдно повешена за ногу! Виллиам Шекспир, один из наших сочинителей, трогательно описал в прекрасной комедии, как сын богатого итальянского купца из-за любви к женщине убил себя ядом... А русские бьют жен кнутами и палками до полусмерти, это даже поощряется законом... Когда я воз-

вращаюсь в Лондон, в мой дом, моя почтенная жена с доброй улыбкой встречает меня, и мои дети кидаются ко мне без страха, и в моем доме я нахожу мир и благонравие... Никогда моей жене не придет в голову убивать меня, который с ней добр...

Англичанин, растроганный, замолк и опустил голову. Петр схватил его за плечо:

— Гамильтон, переведи ему (и громко в ухо Сиднею стал кричать по-русски)... Сами все видим... Мы не хвалимся, что у нас хорошо... Я говорил матери, — хочу за границу послать человек пятьдесят студентов, кто поразумнее — учиться у вас же... Нам — азы, буки, веда — вот с чего надо учиться... Ты в глаза колешь, — дикие, нищие, дураки да звери... Знаю, чорт! Но, погоди, погоди...

Он встал, отшвырнул стул по дороге:

— Алексашка, вели — лошадей.

— Куда, мин херц?

— К Покровским воротам...

## 4

Медленно голова подняла веки... Нет смерти, нет... Земляной холод сдавил тело... Не прогреть землю... Не пошевелиться в могиле... По самые уши закопали... (Мягкий снежок падал на запрокинутое лицо.) Хоть бы опять тошнота заволочла глаза, — не было бы себя так жалко... Звери люди, ах — звери...

...Жила девочка, как цветочек полевой... Даша, Дашенька, — звала мама родная... Один был свет, его бог прибрал... Зачем же родила меня... Чтоб люди живую в землю закопали... Не виновата я... Видишь ты меня, видишь?..

...Голова разлепила губы, сухим языком позвала: — Мама, маманя, умираю... — Текли слезы. На реснице садились снежинки...

...Позади головы на темной площади скрипела кольцом веревка на виселице... И умрешь — не успокоишься, — тело повесят... Больно, больно, земля навалилась... В поясницу комья впились... Ох, боль, вот она — боль!.. (Голова разинула рот, запрокинулась.) Господи, защити... Маманя, скажи ему, маманя... Я не виновата... В беспамяти убила... Собака же кусает... Лошаденка, и та... Нечем кричать! До изумления дошла боль. Расширились глаза, померкли. Голова склонилась на бок...

...Опять... Снежок... Еще не смерть... Третий день скоро... Ветер, ветер скрипит веревкой... Корова, чай, третий день не доеная... Это что, — свет красный?.. Ох, страшно... Факелы... Сани... Люди... Идут сюда... Еще муки? (Хотела забыть ногами — земляные горы сдавили их, — пальчиком не сдвинуть...)

— Где она, не вижу, — громко сказал Петр. — Собаки, что ли, от'ели?

— Караульный! Спишь? Эй, сторож! — закричали люди у саней...

— Здеесь! — ответил протяжный голос, — за падающим снегом

бежал человек, путаясь в бараньем тулупе... С ходу — мягко по-медвежьи — упал Петру в ноги, поклонясь, остался на коленях...

— Здесь закопана женщина?

— Здесь, государь-батюшка...

— Жива?

— Жива, государь...

— За что казнили?

— Мужа ножом зарезала.

— Покажи...

Сторож побежал, присел и краем тулупа угодливо смахнул снег с лица женщины, со смерзшихся волос:

— Жива, жива, государь, мыргает...

Петр, Сидней, Алексашка, человек пять лефортовых гостей подошли к голове. Два мушкетера, поблескивая железными касками, высоко держали факелы. Из снега большими провалившимися глазами глядело на людей белое, как снег, плоское лицо.

— За что убила мужа? — спросил Петр... Она молчала. Сторож валенком потрогал ей щеку:

— Сам государь спрашивает, дура.

— Что ж, бил он тебя, истязал? (Петр нагнулся к ней.) Как звать-то ее? Дарья... Ну, Дарья, говори, как было...

Молчала. Хлопотливый сторож присел и ей в ухо:

— Повинись, может, помилуют... Меня ведь подводишь, бабочка...

Тогда голова разинула черный рот и хрипло, глухо, ненавистно:

— Убила... И еще бы раз убила его, зверя...

Закрыла глаза. Все молчали. С шипеньем падала смола с факелов.

Сидней быстро заговорил о чем-то, но переводчика не оказалось. Сторож опять ткнул ее валенком, — мотнулась, как мертвая. Петр резко кашлянул, пошел к саням... Негромко сказал Алексашке:

— Вели застрелить...

## 5

Молчаливый и прозябший, он вернулся в ярко освещенный дом Лефорта. Играла музыка на хорах танц-зала. Пестрые платья, лица, свечи удваивались в зеркалах. Сквозь теплую дымку Петр сейчас же увидел русоволосую Анну Монс. Девушка сидела у стены, — задумчивое лицо, опущены голые плечи...

В эту минуту музыка, — медленный танец, — протянула с хор медные трубы и пела ему об Анхен, об ее розовом пышном платье, о невинных руках, лежавших на коленях... Почему, почему неистойвой печалью разрывалось его сердце?.. Будто сам он по шею закопан в земле и сквозь вьюгу зовет из невозможной дали, с заморской картинки любовь свою...

Глаза Анны дрогнули, увидела его в дверях раньше всех... Поднялась и полетела по воценому полу... И музыка уже весело пела

о доброй старой Германии, где перед чистыми-чистыми окнами домиков цветет розовый миндаль, добрые папаша и мамаша с добренькими улыбочками глядят на Ганса и Гретель, стоящих под сим миндалем, что означает — любовь на век, а когда их солнце склонится за ночную синеву — с покойным вздохом оба отойдут в могилу... Ах, невозможная даль!..

Петр обхватил теплую под розовым шелком Анхен и танцевал молча и так долго, что музыканты понесли не в лад...

Он сказал:

— Анна?

Она доверчиво, ясно и чисто взглянула в глаза:

— Вы огорчены сегодня, Петер?

— Аннушка, ты меня любишь?

На это Анна только быстро опустила голову, на шею ее была повязана бархатка... Все танцующие и сидящие дамы поняли и то, что царь спросил, и то, что Анна Монс ответила. Обойдя круг по залу, Петр сказал:

— Мне с тобой счастье...

## 6

Патриарха ввели под руки. Благословляя старую царицу с братом и бояр, сурово совал в губы костяшки схимничьей руки. Царя Петра все еще не было. Иоаким сел на жесткий стул с высокой спинкой и так низко склонился, что клобук закрыл ему лицо. Лучи солнца били из глубоких оконниц под пестрыми сводами Грановитой палаты. Все молчали, сложив руки, потупив глаза. Покой лишь возмущался крылатой тенью от голубя, садившегося снаружи на оснеженную оконницу. Жар шел от синей муравленой печи, пахло ладаном и воском. Было первым и важнейшим делом так сидеть в благолепном молчании, хранить чин и обычай. Об эту неизбежность пусть разбиваются людские волны — суета сует. Довольно искушений и новшеств. Оплот России здесь, — пусть победнее будем, да истинны... А в остальном бог поможет...

Молчали, ожидали прибытия государя. Наталья Кирилловна благочестиво вздремнула, — располнела за последние месяцы, стала рыхла здоровьем. Стрешнев, осторожно кряхтя, поднял четки, упавшие с ее колен на ковер. В палате при Софье стояли часы башенкой. Их велено было убрать, — раздражали тиканьем, да и сказано: «Никто же не веси часа»... Время считать — себя обманывать. Пусть его помедленней летит над Россией, потише...

В сенях захлопали двери, морозные голоса разрушили томную тишину, царица, сдержав зевок, перекрестила рот. Рында, тихий отрок, смиренно доложил о прибытии. Бояре не спеша сняли горлатные шапки. Наталья Кирилловна сморщилась, глядя на дверь, но, слава богу, Петр был в русском платье, еще за дверью сдержал смех и вступил весьма достойно... «Ноги журавлиные, трудно ему, голубчику,

чинно-то» — подумала царица, просияв приветом. Он подошел под благословение патриарха, спросил про здоровье больного брата...

Ему спешно нужны были деньги, поэтому и приехал послушно по письму матери слушать Иоакима. Сел на трон и, будто в пуховики, погрузился в дремотную тишину палаты, облокотясь, прикрыл рот ладонью, — на случай, если подкрадется зевота.

Иоаким вынул из-под черной мантии тетрадь, — рука его постарчески тряслась, медленно перевернул страницу, возвел глаза, надолго прижал персты к осьмиконечному кресту на клобуке, перекрестясь, начал читать, не громко, вязко, с медленной оскоминой:

... — Не тщитесь тем, что, изведя крамолу, привели в мир и люди и веси... Скорбит душа моя, не видя единомыслия и процветания в народах. Град престольный! — безместные чернецы и черницы, попы и дьяконы, бесчинно и неискусно, а также гуляющие разные люди, — имя им легион, — подвязав руки и ноги, а иные и глаза завеся и зажмуря, шатаются по улицам, притворным лукавством просят милостыни... Это ли ветроград процветший? И далее вижу я, — в домах пьянство, сновиденье и волшебство и блуд кромешный. Муж вырывает жене власы и нагую гонит за ворота, и жена убивает мужа, и чада, как безумные, растут, подобно сорной траве... Это ли ветроград процветший?.. И далее вижу я, — боярский сын и купчишко, ремесленник и крестьянин берут кистень и, зажгя дворы свои, уходят в леса свирепства своего ради. Крестьянин, где твоя соха? Торговец, где твоя мера? Сын боярский, где твоя честь?

Так он читал о бедствиях, творящихся повсеместно. У Петра пропала зевота. Наталья Кирилловна, страдая, взглядывала то на сына, то на бояр, они же, как полагалось, безмолствовали, уставя брады. Все знали, — дела государства весьма плохи. Но — как помочь? Терпеть только... Иоаким читал:

— Мы убогим нашим умишком порешили сказать вам, великим государям, правду... До того времени не будет порядка и изобилия в стране, покуда произрастают в ней безбожие и гнусные латинские ереси, лютеранские, кальвинские и жидовские... Терпим от грехов своих... Были третьим Римом, стали вторым Содомом и Гоморрою... Великие государи, надобно не давать иноверцам строить свои мольбища, а которые уже построены — раззорить... Запретить, чтобы в полках проклятые еретики были начальниками... Какая от них православному воинству может быть помощь? Только гнев божий наводят... Начальствуют волки над агнецы! Дружить запретить православным с еретиками... Иностранных обычаев и в платье перемен никаких не вводить... А понемногу оправившись да дух православия подымя, иноземцев выбить из России вон и немецкую слободу, геену, прелесть, — сжечь!..

Глаза пылали у патриарха, тряслось лицо, тряслась узкая борода, лиловые руки. Бояре потупились, — слишком уж резко Иоаким взял, нельзя в таком деле — наотмашь... У Ромодановского глаза пучились,

как у рака. Наталья Кирилловна, не поняв ничего, и по конце чтения продолжала кивать с улыбкой. Петр с'ехал на троне, поднял коленки, выпятил губы, как маленький, — растерялся. Патриарх спрятал тетрадь, и, проведя пальчиками по глазам:

— Начнем великое дело с малого... При Софье Алексеевне по моей слезной просьбе схвачен на Кукуе пакостный еретик Квирин Кульман... На допросе [сказал: явился-де ему в Амстердаме некто в белых ризах и велел итти в Москву, там-де погибают в мраке безверия (Иоаким несколько помолчал от волнения)... И вы, — говорил он на допросе, — слепы: не видите, — моя голова в сиянии и устами говорит святой дух... И приводил тексты из прелестных учений Якова Бема и Христофора Бартуха... А сам, между прочим, соблазнил на Москве девку Марью Селифонтову, одел ее, — страха ради, — в мужское платье, и живет она у него в чулане... По вся дни оба пьяны, на скрипке и тарелках играют, он высовывается в окошко и кричит бешеным голосом, что на него накатила святой дух... И пришедшим к нему пророчит и велит целовать себя в низ живота... Господи, как минуту спокойным быть, когда здесь уже сатана ликует!.. Прошу великих государей указом вершить Квирину Кульмана, — сжечь его живым с книгами... Дабы впредь к нам через рубежи соблазнительи не бежали...

Все повернули головы к Петру, и он понял, что дело с Квириним Кульманом давно проговорено. Он прочел это в спокойных глазах матери. Один Ромодановский стучал сапожком, неодобрительно шевелил усами. Петр сел прямо, рука потянулась грызть ноготь. Так в первый в жизни раз от него потребовали государственного решения. Было страшно, но уже гневный холодок подступал к сердцу. Вспомнил — недавние разговоры у Лефорты, полные достоинства, умные лица иностранцев... Вежливое презрение... «Россия слишком долго была азиатской страной, — говорил Сидней (на следующий день), — у вас боятся европейцев, но для вас нет опаснее врагов, чем вы сами...» Вспомнил, как было стыдно слушать... (Велел тогда подарить Сиднею соболью шубу, и—чтобы к Лефорту более не ходил, ехал в Архангельск.) А что сказал бы англичанин, слушая эти речи? (Страшно забилося сердце.) Скрыть кирпичи и костелы в слободе? Вспомнил—летом в раскрытые окна доносилось дребезжание колокола на немецкой кирке... В этом раннем звоне—честность и порядок, чистый запах опрятных домиков на Кукуе, кружевная занавеска на окне Анны Монс... Ты и ее тоже бы сжег, живой мертвец, черный ворон! Кучи пепла оставил бы на берегах ручья Кукуя! (Теперь уже Петр жег глазами патриарха...) Но сильнее гнева (не лефортовы ли уроки? — самому даже стало чудно) — поднялись упорство и хитрость. Как малых детей насквозь, пронизал он умом бояр-правителей, — бородачи!.. Накричать на них было не долго, — повалятся на ковер мордами, расплачется матушка, уткнется патриарх носом в колени, а сделают все-таки по-своему, да еще и с деньгами поприжмут...

— Святейший отец, — сказал Петр с приличным гневом (у Натальи Кирилловны изумленно взлетели брови), — горько, что нет между нами единомыслия... Мы в твоё христианское дело не входим, а ты в наше военное делоходишь... Замыслы наши может быть великие, — а ты их знаешь? Мы моря хотим воевать... Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли... Сие благословение господне... Мне без иноземцев в военном деле никак нельзя... А попробуй — тронь их кирки да костелы—они все разбегутся... Это что же... (Он стал глядеть на бояр поочередно.) Видно, опять поворачивается на стрелецкий бунт, — они же хотели Кукуй жечь... Крылья мне подшибаете?

В первый раз слышали бояре, чтобы Петр говорил столь мужественно. Ого, — переглянулись, — вот он какой!.. Крутенок!.. Ромодановский кивал: — Так, так, истинно...—Патриарх подался сухим горбатым носом к трону и крикнул с великой страстью:

— Великий государь, не отымай у меня сатанинского еретика Квирина Кульмана...

Петр насупился. Чувствовал,—одолея бородачей... Наталья Кирилловна пролепетала: «Государь, батюшка»,—и ладони сложила моляще... Покосился на Ромодановского, — тот слегка развел руками...

— До Кульмана нам дела нет, — сказал Петр, — отдаю его тебе головой. (Патриарх сел, изнеможенно закрыл глаза.) А теперь вот что, бояре, — нужно мне восемь тысяч рублей на военные да на корабельные надобности...

...Выходя из дворца, Петр взял к себе в сани Федора Юрьевича Ромодановского и поехал к нему на двор, на Лубянку, обедать.

## 7

Из деревни Мытищи в кремлевский дворец привезли бабу Воробыху для молодой царицы. Евдокия до того ей обрадовалась, — приказала бабу прямо из саней вести в опочивальню. Здесь простору было меньше, чем в Преображенском. Царицына спальня помещалась в верхней бревенчатой пристройке, — в два слепенькие окошечка, занавешанные от солнца. На штукатуренной, жаркой печи, на лежанке бессменно дремала в валенках и в шубейке баба повитуха. У Евдокии вот-вот должны были начаться роды, и уже несколько дней она не вставала с лебяжьих перин. Конечно, хотелось бы передохнуть от душного закута, — прокатиться в санках по снежной Москве, где сизые дымы, низкое солнце, плакучие серебряные ветви из переулков задевают за дугу... Но старая царица и все женщины вокруг, — боже упаси, какое там катанье! Лежи, не шевелись, береги живот, — царскую ведь плоть носишь... Дозволено было только слушать сказки с божественным окончанием... Плакать,—и то нельзя: младенец огорчится...

Воробыха вошла истово, но бойко. Баба была чистая, в новых лаптях, под холщевой юбкой носила для аромату пучек шалфею. Губы мягкие, взор мышинный, лицо хоть старое, но румяное, и говорлива —

без умолку... С порога зорко оглянула, все заметила, упала перед кроватью и была пожалована: молодая царица протянула ей влажную беленькую ручку:

— Сядь, Воробьяха, рассказывай... Раскучай меня...

Воробьяха вытерла чистый рот и начала с присказки про золотое яичко, — как мышка бежала, хвостом вильнула, яичко разбила, дед да баба заплакали, строй застонал, двери стали хлопать, верей хохотать, ворота скрипеть, куры летать, тын побутузился, поповы дочки воду несли, ведра побросали, а курочка ряба...

— Постой, Воробьяха,—Евдокия приподнялась, глядя, дремлет ли повитуха, — погадай мне...

— Ох, солнце красное, не умею...

— Врешь, Воробьяха... Никому не скажу, погадай, хоть на бобах...

— Ох, за эти бобы-то шкуру кнутом нынче спускают... На толкне разве, на святой воде его замешать жидко?

— Когда начнется у меня? Скоро ли? Страшно... По ночам сердце мрет, мрет, останавливается... Вскинусь, — жив ли младенец? О, господи!

— Ножками бьет? В кое место?

— Бьет вот сюда ножкой... Ворочается — будто коленочками да локотками трется мягко...

— Посолонь поворачивается али напротив?

— И так и эдак... Игреливый...

— Мальчик.

— Ой, верно ли?

Воробьяха, умильно щуря мышинные глазки, прошептала:

— А еще о чем гадать-то? Вижу, краса неопикуемая, затаенное на уста просится... Ты — на ушко, мне, царица...

Евдокия отвернулась к стене, порозовело ее лицо с коричневыми пятнами на лбу и висках, с припухшим ртом...

— Уродлива стала я, что ли, — не знаю...

— Да уж такой красы, такой неопикуемой...

— А, ну тебя... (Евдокия обернулась, карие глаза — полны слез.) Жалеет он, любит? Открой... Сходи за толком-то...

У Воробьяхи оказалось все при себе, в мешке: глиняное блюдо, склянка с водой и темный порошок... (Шепнула: «Папоротниково семя, под самого Ивана Купала взято») Замешала его, поставила блюдо на скамеечку у кровати, с невнятным приговором взяла у Евдокии обручальное кольцо, опустила в блюдо, велела глядеть:

— Затаенное думай, хочешь вслух, хочешь так... Отчего сомнение-то у тебя?

— Как вернулись из лавры — переменялся, — чуть шевелила губами Евдокия. — Речей не слушает, будто я дура последняя... «Ты бы чего по гиштории почитала... По-голландски, немецки учись...» Пыталась, — не понимаю ничего... Жену-то чай и без книжки любят...

— Давно вместе не спите?

— Третий месяц... Наталья Кирилловна запретила; — боится за чрево....

— В колечко самое гляди, ангел небесный,—видишь мутное?

— Лик будто чей-то...

— Гляди еще... Женской?

— Будто... Женский...

— Она. — Воробыха знающе поджала рот, как из норы глядела бусинками... Евдокия, тяжело дыша, приподнялась, рука скользнула с крутого живота под грудь, где пойманной птицей рвалось сердце...

— Ты чего знаешь? Ты чего скрываешь от меня? Кто она?

— Ну, кто, кто, — змея подколодная, немка... Про то вся Москва шепчет, да сказать бояться... Опаивают его в Немецкой слободе любовным зельем... Не всколыхивайся, касатка, рано еще горевать... Поможем... Возьми иглу (Воробыха живо вытащила из повойника иглу, подала с шопотом царице)... Возьми в пальчики, ничего не бойся... Говори за мной: — Поди и поди злая лихая змея Анна, вилочосная и прикосная, сухотная и ломотная, поди, не оглядываясь, за фафергору, где солнце не всходит, месяц не светит, роса не ложится, — пади в сыру землю, на три сажени печатных, там тебе злой лихой змее, Анне, место пусто до скончания века, аминь... Коли, коли иглой в самое кольцо, в лицо ей коли!..

Евдокия колола, покуда игла не сломалась о блюдце. Откинулась, прикрыла локтем глаза, и припухшие губы ее задрожали плачем...

.....  
Вечером мамки и няньки, повитухи и дворцовые дурки суетливо заскрипели дверями и половицами: «Царь приехал!..» Воробыха кинула в свечу крупицу ладана, — освежить воздух и сама юркнула куда-то... Петр вбежал на верх через три ступени. Пахло от него морозом и вином, когда наклонился над жениной постелью:

— Здравствуй, Дуня... Неужто еще не опросталась? А я думал...

Усмехнулся; — далекий, веселый, круглые глаза — чужие. У Евдокии похолодело в груди. Сказала внятно:

— Рада бы вам угодить... Вижу — всем ждать надоело... Виновата...

Он сморщился, сился понять — что с ней. Сел, схватясь за скамейку, шпорой парапал коврик...

— У Ромодановского обедал.. Ну, сказали, — будто бы вот-вот... Думал — началось...

— Умру от родов — узнаете... Люди скажут...

— От этого не помирают... Брось...

Тогда она со всей силой отбросила одеяла и простыни, выставила живот:

— Вот он, видишь... Не помирают! Мучиться, кричать — мне, не тебе... Не помирают! После всех об этом узнаешь... Смейся, веселись,

вино пей... Езди, езди в проклятую слободу... (Он раскрыл рот, уставился.) Перед людьми стыдно, — все уж знают...

— Что все знают?

Он подобрал ноги, — злой, похожий на кота. Ах, теперь ей было все равно... Крикнула:

— Про еретичку твою, немку! Про кабацкую девку! Да, да, да... Чем она тебя опоила?

Тогда он побагровел до пота. Отшвырнул скамью. Так стал страшен, что Евдокия невольно подняла руку к лицу. Стоял, антихристовыми глазами уставясь на жену...

— Дура! — только и проговорил. Косолапо вышел. Она всплеснулась, схватилась за голову. Сотряслась беззвучным рыданием. Ребенок мягкими бугорками нетерпеливо повернулся в животе. Боль, раздвигающая, тянущая, страшная, непонятной силой опоясала таз...

Услыхав низкий звериный вопль, мамки и няньки, повитухи и дурки вбежали к молодой царице. Она кричала с обезумевшими глазами, безобразно разинув рот... Женщины засуетились... Сняли образа, зажгли лампы. Спрыснули ее святой водой и с уголька. Когда прошли первые потуги, Воробьиха и повитуха под руки повели Евдокию в жарко натопленную мыльню — рожать...

*(Продолжение следует)*

---

# Весенняя баллада

ЮРИЙ НОЛЬДЕН

Зюйд-вест шевелится промокшим крылом.  
Весенняя полночь идет напролом  
По полой воде, по ухабам.  
Грачи на бульварах бормочут во сне —  
Весенняя полночь к моей стороне  
В созвездьях плывет, как корабль.

Засвеченный бодро сигнальный огонь  
Хвостатую по небу тянет фелонь —  
Рогожей промокшею дышит.  
Две ночи не спится! Постыла постель,  
А сердце стучит, как в траве коростель,  
Да плачет, как кошка на крыше!

Бездельничий ветер! Тебя узнаю!  
Баркас у столба натянул вереву: ;  
И ночь, как команда к погрузке.  
Скрипучую песню под'емник завел,  
Тугим ледоходам откликнулся мол  
Протяжным шипеньем моллюсков!

Как стужа весенняя, крепок табак.  
На рейде сгущается мартовский мрак,  
Храня штормовую ухватку.  
Большой, крепконогий, как в качку матрос.  
С ним много желанных гостей собралось.  
Плеск крыльев их слушать так сладко!

Я зиму кошачью оставлю другим.  
Вдыхаю я каменноугольный дым  
И кличу с гусиною стаей!  
С дроздами в сады! С журавлями в луга!  
Я слышу, как в небе визжит пустельга,  
Охоту свою начиная!

В дорогу! В дорогу! Мосты прошивай!  
Зюйд-вест полотняный, с буруном играй  
И в пристань стучи, как в тимпаны!  
По-птичьи бессонный, кирпичный рассвет  
Рвет воздух и рвет мой полуночный бред  
Морозной трубой капитана!..

---

# Памяти Р. Люксембург

(К 11-летней годовщине убийства)

И. АЛЬТЕР

## 1

В Розе Люксембург прежде всего поражает всесторонность, богатство талантов: непреклонный революционер, замечательный, воодушевляющий оратор, блестящий стилист, первоклассный ученый-экономист и историк, превосходный педагог, человек с высоким художественным чутьем, одаренный как в области изобразительных искусств, так и в области музыки. Всю жизнь она проявляет огромный интерес к естественным наукам и математике. Она — человек необычайно сильной впечатлительности, чуткости к людям. Она здорово умеет их любить, но и ненавидеть. Она воспринимает жизнь с огромной внутренней радостью, с просветленным взором, с творческим напряжением всех сил. Ее жизнь — горение чувств, воли и мысли, горение чрезвычайно высокого накала. И все это сосредоточено в чрезвычайно несовершенной физической оболочке. Маленькая, несколько неуклюжая прихрамывающая фигура, слабая здоровьем женщина, и столько непоколебимой воли и столько боевого энтузиазма!

Как справлялась эта маленькая женщина со всеми своими огромными духовными богатствами? Не слишком ли были они у нее разносторонни и разнообразны? Не вступали ли они друг с другом в конфликт? Такие вопросы и такие подозрения рождаются у некоторых читателей «Писем» Розы Люк-

сембург из тюрьмы. Здесь, думают они, настроения ее вырываются за рамки политики. Здесь видно, что сердце ее открыто было не только для жестоких законов классовой борьбы, но и для нежных звуков и запахов природы, для пантеистического проникновения во все живущее. Ее богатая, отзывчивая на песни, музыку, поэзию, литературу, живопись натура не умещалась, мол, в тесных рамках партийных лозунгов. В глубине души ее не удовлетворяла, будто бы, революционная деятельность и своими мыслями она стремилась, якобы, к чему-то более широкому и величественному.

Все это соображения узколобого обывателя, всегда ищущего аполитических областей как места отдохновения от классовой борьбы и готового это свое мироощущение навязать окружающим. Карикатурные представления о Розе, рвущейся в неведомые, надреволюционные дали — чистые враки. Никакого внутреннего противоречия между Розой-человеком и Розой-политическим борцом не было. Наоборот. Розе прекрасно удавалось всю добываемую ею из разнородных источников внутреннюю энергию бросать в одном направлении: служения делу пролетариата, подготовки пролетарской революции. Революция была ее родной стихией. В революционном возбуждении сильнее всего крепли и расцветали все ее таланты. Роза — всегда

революционер. Это — синтезирующая, главенствующая над всем страсть ее жизни. Никакого разрыва или надрыва в ней нет. И свое искусство любви и дружбы, и высокую гуманность, обворожительную жизнерадостность и непоколебимую волю — все это Роза умела переплавлять в любовь, радость и волю творения революции, в ненависть ко всем ее врагам.

Революционное руководство пролетариата — это не односторонняя задача, это не узкая специальность. Это — необъятный, всеобъемлющий труд. Он требует мобилизации всех духовных сил ради одной верховной цели. И это умела делать Роза Люксембург. Она умела впрягаться в работу, абсолютно непосильную для ее слабого болезненного организма, и эту слабость всегда побеждать. Она умела интенсивнейшим образом работать и писать в тяжелейших условиях многолетнего тюремного заключения. Она умела никогда не разочаровываться, не терять веры и революционного оптимизма даже в худшие годы политического одиночества. Она умела правильно подходить к различным отрядам рабочих. Бюрократически-аппаратному отношению к рабочим она противопоставляла чуткую заботливость к их повседневным нуждам. Она дала в Германии почин столь популярной ныне традиции особого внимания к безработным, к чернорабочим, к неорганизованным, ко всем этим парням из парней, условия жизни которых всегда угрожают им опуститься до уровня люмпен-пролетариев и превратиться в наемную силу контрреволюции. Она боролась за спасение этих кадров для революции, за использование их огромной ненависти к капитализму. Она знала, что не обжившаяся в капиталистических условиях рабочая аристократия, а они выйдут на улицу, когда настанет час революции.

Но не граничила ли чуткость Розы к людям и к природе с сентиментализмом? Во-первых, мы не педанты и у нас нет никаких обязательных схем о вождах — сверхчеловеках. Что же касается писем Розы из тюрьмы, то здесь больше лиризма, чем сентимен-

тализма. Чувствуется огромное влияние польских и немецких романтиков классиков. На Мицкевича и Словацкого, Гете и Гейне Роза воспитывалась смолоду и часто их цитировала. К тому же тюремные переживания всегда получают особую окраску, несколько непонятную для постороннего наблюдателя. Сидя за решеткой, смотришь на свободную жизнь, по-особому: она представляется более заманчивой, богатой, радужной. Она вызывает больше нежности, привязанности. Вот эта-то ласка и нежное внимание, с каким Роза говорит о всем живом, и трогает нас в ее письмах. К тому же Роза очень откровенна. А это для нас, при нашей скрытности, при нашем темпе жизни, звучит несколько необычно.

Одних смущает сентиментализм Розы, других ее этицизм. Вспомним снова конкретные условия. Розе пришлось бороться в обстановке, мало благоприятствовавшей росту сильных, неподкупных людей. Это было в Германии время малых дел и делишек, тысячей компромиссов и соблазнов, время приспособления и разложения людей. Чтобы отстоять себя и свои принципы, чтобы отразить многочисленные атаки врагов, не стеснявшихся никакой лжи и подлости в борьбе, надо было вооружиться особо крепкой огнеупорной внутренней оболочкой.

Роза была очень и к себе и к другим требовательна. Ее не удовлетворяла борьба как необходимость, как обязанность. Она требовала от бойца радости в борьбе. Тогда только, говорила она, получится полноценный эффект. Большая щепетильность в поступках, строгая самоцензура политической жизни была непременным условием для ограждения себя от всяких слабостей и искусов. Сейчас такой силой является общественное мнение партии. Тогда этого было недостаточно. Роза сама вела жестокую борьбу за активизацию этого общественного мнения, за его революционизирование. Вот в силу этой огромной внутренней крепости и особой заботливости об этической чистоте Роза прошла через тяжелейшие жизненные испытания с ясными глазами, не потупленными ни-

такими узко - личными интересами. Она прямо, искренне и резко была врага. Она полностью и безраздельно отдавалась делу. Она умела радоваться борьбе.

Мы видим: Роза-человек неотделима от Розы-революционера. Но к такому же выводу мы придем, рассматривая Розу как мыслителя. Огромная чувственно-волевая энергия этого человека с такой же легкостью и быстротой превращалась в мозговую энергию, как водяной поток при помощи турбины превращается в электричество. Особая умственная крепость — черта, прежде всего и больше всего бросающаяся в глаза при знакомстве с Розой Люксембург. Она — тип мыслителя-синтетика. Основной путь ее рассуждений — от абстрактного к конкретному. Абстракции Розы не следует себе представлять как некие философские отвлеченности. Она великолепно знала историю международного рабочего движения, конкретную экономику, всю окружающую политическую обстановку. Она выступала всегда блестяще вооруженная фактами и знаниями. Но побеждала она противника не ими, а неумолимой последовательностью своей логики. Логические ходы свои и противника она, как шахматный чемпион, продумывала за много времени вперед. В полемике Р. Л. была опасным противником.

Роза всегда мыслит исторически. Она — крупнейший мыслитель, историк - марксист. Марксиста - историка особо отличает от обычного историка-академика умение связывать прошлое с настоящим и будущим. Историк-академик не рискует подходить слишком близко к настоящему и еще менее интересуется будущим. Ему подавай исторический материал, уже вспаханный первым плугом собирателей материалов и мемуаристов. Не то историк-революционер. Он ловит факты и жизнь на ходу. Через настоящее он смело, «нахально» пробирается к будущему. Этим великолепным революционным «нахальством» дышит всякая вещь Розы. Роза уверенной рукой распоряжается грядущими десятилетиями.

Ни о каком отвлечении от живой ткани политической жизни в произведениях Розы не может быть речи. Абстрактный подход к явлениям, как и у всякого революционного марксиста, в первую очередь означает у нее умение в запутанном рисунке социально-политических явлений, в сложном переплете еще не завершенных событий находить длительные закономерности. И в этой громадной исторической дальновзоркости, в огромном историческом чутье, в органической вражде ко всякому близорукому делячеству — незабываемая сила Розы Люксембург. Но боязнь изменить раз установленным принципам, застрять в болоте оппортунистической беспринципности, приводила ее порой к противоположной крайности: к известной теоретической косности, к ослаблению теоретической и практической маневренности. Построив какое-либо положение, составив себе систему взглядов по какому-либо вопросу, — национальному, организационному или крестьянскому, — она упрямо держится за нее десятилетиями без достаточного учета изменчивой конкретной обстановки. В этом смысле мы можем говорить, что увязка между конкретным и абстрактным, между общими положениями и диалектикой действительности далеко не всегда ей удавалась. У Розы не было той гибкости, того умения постоянно проверять общие идеи с точки зрения фактов жизни, какая отличала Ленина. Это ее излишнее догматическое упрямство, эта недостаточная тактическая изворотливость, неслаженность между стратегическими принципами и тактическими лозунгами приводили Розу к серьезным ошибкам.

В этих ее слабостях находили отражение особые застойные условия довоенного западно-европейского рабочего движения, подобно тому, как гениальные тактические способности Ленина отвечали бурному и многостороннему развитию русского рабочего движения. Довоенная с.-д., особенно немецкая, развивалась в обстановке растущей пассивности рабочих масс. Не было серьезных экономических и поли-

тических потрясений. В партии в области методов работы господствовал величайший консерватизм и рутинизм.

Правда, Роза была застрельщиком новых методов и новых лозунгов. Но, возглавив лево-радикальную оппозицию, она не была в то же время в состоянии сама применять и проверять эти новые лозунги на деле. Отстраненная от прямого руководства партийной политикой, она вынуждена была всю свою деятельность сосредоточить на агитации. Правда, в польской с.-д. дело обстояло несколько иначе. Но и здесь руководство Розы ограничивалось главным образом теоретическими, программными, принципиальными вопросами. В повседневной жизни польской партии Роза не принимала участия, если не считать короткого периода во время революции 1905 года. Так, напр., Роза не присутствовала ни на одном съезде польской партии. Начиная же с 1910 года, она настолько увлеклась немецкими и международными делами, что раскол в польской партии, имевший место в 1912 году, прошел в значительной степени помимо нее.

Если вопросы тактики и организации были ахиллесовой пятой Розы Люксембург как вождя, то агитационная деятельность являлась ее наиболее сильной стороной.

Начнем с характеристики ее как оратора. Здесь прежде всего бросаются в глаза ее огромные политические способности, огромное волевое и интеллектуальное напряжение ее речей, величественный революционный пафос. Первую большую ораторскую победу она одержала еще 22-летней девушкой, выступив на международном конгрессе в Цюрихе в 1893 году. Своей страстной и убедительной речью она обратила на себя всеобщее внимание и принесла молодой польской с.-д. первую еще пока моральную победу. На следующем международном конгрессе в Лондоне в 1896 г. победу эту она сумела закрепить, добившись официального признания С.-Д. Р. П. царства Польского. С тех пор ни один конгресс II Интернационала не проходил без активнейшего участия Розы. Не мень-

ший политический вес и успех имели всегда блестящие выступления ее на немецких партийных съездах. Уже своими первыми дебютами в Штутгарте и Ганновере в 1898—99 году Роза возглавила антибернштейновское движение. Такого сильного врага немецкий реформизм еще не встречал. Этими речами, как и статьями, собранными в «Реформе и революции», Роза фактически положила начало немецкому радикализму и толкнула вперед колебавшихся партийных генералов. Речи Розы, блестящие по форме, разящие врага колочей насмешкой и сарказмом, остроумные, темпераментные, боевые, бьющие в самую сердцевину вопроса, всегда вслушивались с напряженным вниманием. На партийных дискуссиях, отнюдь не бедных ораторскими силами, речи эти всегда были гвоздевыми. Когда слово брала Роза Л., то кулуары съезда пустовали. Ей или рукоплескали или ею возмущались. Равнодушных не было.

Роза участвовала лишь на одном съезде русской с.-д. в Лондоне (1907 г.). Но ее доклады против меньшевиков за тесный большевистский блок, за большевистское понимание движущих сил и уроков революции 1905 г. останутся прочно в истории партии. Из других речей Розы Л. особенно замечательны выступления в Йене в 1905 г. в защиту всеобщей стачки и русской революции и речь ее на учредительном съезде германской коммунистической партии в декабре 1910 года. На этом съезде Роза дала характеристику ноябрьской революции и контрреволюционной роли шейдемановцев и изложила программные и тактические основы нарождающегося немецкого коммунизма.

Не следует, однако, представлять себе Розу лишь как съездовского оратора. Она неутомимо ездит по всей рабочей Германии. На одной неделе она неоднократно проводит по несколько собраний в разных городах. Своим агитационным поездкам посвящает она целые месяцы, забрасывая тогда и научную и даже журналистскую работу. По телефонному звонку из рабочего района она, больная, с высокой

температурой, бросает, вопреки категорическим запрещениям врачей, кровать и отправляется на собрание. И никакая кампания против Розы не в состоянии была подорвать в массах ее авторитета, популярности, абсолютного к ней доверия рабочих!

В чем особенность Розы Л. как народного трибуна? Бебель как оратор был лучшим выразителем массовых настроений. С интуицией великого вождя он вытаскивал на свет и формулировал повседневные заботы, чаяния и надежды середняка рабочего. Жорес накалял аудиторию своим всеобъемлющим величественным пафосом в стиле классических ораторов Великой французской революции. Он умел раскрывать перед очарованным слушателем царство внеклассового социалистического общества. Роза брала не тем и не другим. Она будила в своем пролетарском слушателе его лучшие, революционные, интернациональные чувства, первоспитывала его, поднимала на трудное дело, звала в бой.

Роза-журналист пишет так же как и говорит. Поэтому в стиле ее мы находим те же достоинства, что и в устных выступлениях. У нее язык глубокого политика и пламенного агитатора. В нем много пластики, образности, яркости. Фразы крепко сколочены, отточены, закончены. Они резки, ярки, горячи. Агитационность стиля подчеркивается некоторой торжественностью, возвышенностью тона. Это — стиль, наиболее близко приближающийся к стилю Маркса в его исторических произведениях. Исторические работы Маркса Роза очень любила и часто их цитировала. Они имели на нее огромное влияние. И язык ее, как и язык Маркса, радует нас своей интеллектуальной насыщенностью, великолепием своих блестящих формулировок и обобщений, благородством своего пафоса. Ленин как-то в одной из своих статей бросил фразу о «пышных фельетонах пышной Розы». Действительно, в стиле Розы есть некоторая пышность. Порой кажется, что многое можно бы проще сказать. Но не следует забывать, что в этой ее пышности нет

ничего искусственного, деланного. Иначе у нее не выходит. Иначе Роза своего революционного волнения не в состоянии выразить. И форма эта не особенно уж плохая, если она в состоянии так сильно действовать. Работы Розы, как и ее записанные речи, всегда будут пленять читателя, тревожить его, возбуждать, возвышать, закалять.

Писательство Розы, как и всякого революционера-профессионала, — это в первую очередь писательство журналиста. С журнальных статей в «Рабочем Деле» Роза начала свою руководящую работу в польской партии в 1893 году. Эти статьи сразу захватывают большой диапазон проблем. Они посвящены обоснованию программы польского марксизма, полемике с социал-оппортунистами из ППС, экономическому положению рабочих, вопросам международного движения. Польская социал-демократия в лице Розы Л. сразу выступает на сцену во вооружении марксизма и интернационализма. Свою партийную деятельность в Германии Роза также начала с журнальной работы. Пробыв 10 лет в Цюрихе, пройдя солиднейшую теоретическую и практическую школу социализма, завязав большие связи с представителями международной политической эмиграции, стекавшейся в то время в Швейцарию со всех стран, получив, наконец, докторский диплом, Роза едет в Дрезден на пост главного редактора «Саксонской Рабочей Газеты». Это был самый боевой орган довоенной с.-д. Здесь Роза училась у талантливейшего с.-д. журналиста Шенланка. Здесь она впервые напечатала свои незабываемые статьи против Бернштейна: «Реформа и революция». Но ее неумолимая принципиальность, ее беспощадная жестокость в полемике с реформистами встретила протесты среди партийных чиновников — примиренцев. Роза была вынуждена бросить редакцию. Не порывая связи с «Саксонской Рабочей Газетой», Роза переезжает в Берлин и вступает в тесное сотрудничество с Каутским. Она становится постоянным сотрудником «Neue Zeit», этого руководящего

журнала II Интернационала, первая статья в который была ею послана еще в 1895 году. В 1905 году, после победы над засевшими в берлинском «Форвертсе» оппортунистами, Роза вместе с Каутским и несколькими другими товарищами назначается одним из редакторов центрального органа партии. Но и это вторичное редакторство продлжается недолго. Из-под ее пера вышло лишь несколько передовиц. В декабре 1905 года Роза отправляется в Варшаву, где ее ждет уже боевой орган польской с.-д. «Красное Знамя». Редкий номер этого популярнейшего журнала польских рабочих на протяжении 1905, 1906, 1907 годов выходил без руководящей статьи Розы. Одновременно она снабжала из Варшавы «Форвертс» и «Neue Zeit» информацией о русской революции. Это были первые статьи, знакомившие западную социал-демократию с действительным положением, с движущими силами и целями русской революции. Розе не долго удалось поработать в Варшаве. Ее вскоре арестовывают. После возвращения в Берлин она, вследствие изменившейся ситуации в партии, больше в редакцию «Форвертс» не попадает. Журнальная продукция Р. Л. огромна. Статьи ее разбросаны по десятку провинциальных немецких газет. Наиболее охотно печаталась она в левых органах: саксонской, лейпцигской, штутгартской, дортмундской организациях и в женской газете К. Цеткин «Равенство». Одновременно сотрудничала она также в русских, итальянских, швейцарских и др. партийных органах. В 1908—9 годах она совместно с Тышко и некоторыми товарищами издавала прекрасно поставленный теоретический польский журнал «С.-д. обозрение». Здесь напечатала она в числе прочих программные статьи свои по национальному вопросу, вызвавшие впоследствии сокружительную критику Ленина.

Последние предвоенные годы, когда Роза выступила против официального партийного курса, доступ к партийной прессе был ей затруднен. Леворадикальные газеты начали подвергаться гонению, левых редакторов вышибали, левых статей не печатали.

«Форвертс» в эти годы совсем был закрыт для Розы, а в «Neue Zeit» продвигала она свои полемические статьи лишь со скандалами, подвергаясь предварительной цензуре Каутского. Это положение вынудило левых радикалов во главе с Розой Люксембург, Францем Мерингом и Карским-Мархлевским основать на собственные средства «Корреспондентский Листок», рассылавшийся во все газеты и журналы. Здесь вы найдете не один десяток боевых статей Розы по всем вопросам текущей политики. Кабинетом редактора и журналиста во время войны были для Розы, начиная с середины 1915 года, камеры берлинской и бреславльской тюрем. Отсюда посылала она свои зажигательные летучки и агитки, печатавшиеся в «Письмах Спартака». И, наконец, последним и высшим пунктом в развитии Розы — редактора и журналиста — была «Die Rote Fahne», орган немецких спартаковцев, а потом немецких коммунистов, выходящий и по сей день. «Die Rote Fahne» — говорит Клара Цеткин, — в такой же степени был делом Розы Л., как «Новая Рейнская Газета» — делом Карла Маркса. Сюда, в редакционную комнатку «Rote Fahne», Роза примчалась 19 ноября вечером прямо с вокзала, прямо из тюрьмы, не заезжая даже домой. Здесь был последний ее революционный пост. Здесь в течение двух месяцев изо дня в день выковывала она самосознание нарождающегося немецкого коммунизма. В эти последние свои предсмертные статьи влила она весь энтузиазм, рожденный долгожданной революцией. Она дала в них не только энтузиазм, но и зрелую оценку движущих сил революции, и строгий суд над ее предателями, и ясное предвидение ее перспектив. Два «Красных Знамени» — польский в революции 1905 года (Czerwony Sztandar) и немецкий — в ноябрьскую революцию (Rote Fahne) высоко реют над делом жизни Розы Люксембург. Весь ее революционный путь от начала до конца, от «Рабочего Дела» до «Красного Знамени», замкнут в рамках революционной журналистики. Последнюю статью Розы Люксембург от 15 января 1919 года берлинские рабочие

читали в то самое время, когда происходила кровавая расправа белогвардейщины над ее автором. С тех пор прошло одиннадцать лет. И каждый год взволнованные дорогим воспоминанием рабочие и работницы Германии говорят: «Ведь была великая немецкая женщина, большая, как мрамор, и ничто после ее ужасающей смерти не было так прекрасно и мудро в немецкой революции...»

## 2

Роза Люксембург войдет в историю как великий агитатор. Но не следует забывать, что по складу своего ума она была также видным ученым. Это особенно видно из ее многочисленных академических работ. Мы имеем в виду, во-первых, ее докторскую диссертацию 1896 года «Промышленное развитие Польши» и, во-вторых, труды, написанные в связи с ее педагогической работой в высшей партийной школе в 1910—13 годах в Берлине. Из последних общеизвестное «Накопление капитала» вышло в декабре 1913 года, а подготавливаемый курс лекций по политической экономии — лишь после ее смерти, несколько лет назад («Введение в политическую экономию»). Конечно, академичность и этих произведений относится лишь к форме, к богатству документации, к огромной эрудиции, но ни в коем случае к самому содержанию, политически актуальному, злободневному. Если «Промышленное развитие Польши» теоретически обосновывало программу и тактику польских марксистов и вооружало их для борьбы с польскими социал-патриотами, то и «Накопление Капитала» должно было, по замыслу автора, дать теоретический ключ к эпохе империализма и к борьбе с социал-империалистами. Эти работы широтой охвата, научной проницательностью, огромной силой обобщений говорят о Розе как о первом классе ученом. А сколько других научных планов Розы осталось неосуществленными в виде отдельных записей и набросков в письменном столе ее берлинской квартиры? Мы знаем, что она ряд лет

работала над историей Польши, что она усиленно одно время занималась политическими и философскими проблемами и пр. Но весь почти ее авторский портфель в январские дни 1919 года пропал, частично уничтоженный контрреволюционной солдатчиной, ворвавшейся в ее квартиру, частично затерялся. Поэтому полная картина научной деятельности Розы Люксембург пока нам неизвестна.

Важнейшее из изложенного ею в книгах мы находим в ее агитационных брошюрах и статьях. В настоящем кратком очерке нельзя, конечно, дать полного представления об основных даже взглядах Розы. Но сам характер ее идеологии — цельной, последовательной, все время вращающейся вокруг одних и тех же главных положений — несколько облегчает нашу задачу. Самостоятельная и независимая, она упорно и смело в дальнейшем развивала эти основные организующие идеи. Попытаемся в дальнейшем вырвать их из всего богатого политического наследия Розы.

Роза начала с национальной проблемы. Для польского социализма национальный вопрос был столь же кардинальным, как для немецкого — вопрос об объединении и для русского — аграрный вопрос. Польские социал-патриоты ставили ставку на завоевание независимости Польши и на развитие независимого от России и русской революции (в которую они не верили) польского рабочего движения. В борьбе с ППС Роза Люксембург доказывала тесную как экономическую, так и политическую связь между польским и русским рабочим движением и утопичность лозунга независимости Польши. И, действительно, ее ставка на общерусскую революцию, ее характеристика ППС как мелкобуржуазной партии, ее предсказание реакционности польской буржуазии историей блестяще оправдались. Но абсолютное и безоговорочное отрицание независимости Польши привело ее к ряду теоретических и практических ошибок. Революция 1905 года принесла, правда, большое торжество идеям Розы и польских социал-демократов,

ставя их во главе восставших масс перед лицом разваливающейся и раскальвающейся ППС, но мировая война и революция 1917 года, создавшие независимую Польшу, вскрыли слабые стороны люксембургской концепции. Роза недооценила патриотических настроений мелкой буржуазии и части пролетариата и дала неправильную концепцию национального вопроса для эпохи империализма. И все же за ней остается великая заслуга основателя и теоретического вождя польского марксизма и лучшего борца с польским социал-патриотизмом.

В этой борьбе Роза выдвигает и свою вторую кардинальную идею: о русской революции и ее международном значении. Провозглашенная в 1893 году как революционное предсказание, идея эта в 1905 году одевается в плоть и кровь всеобщих стачек, баррикадных боев, восстаний. Революция 1905 года была поворотным пунктом в политической деятельности Розы. Уроки этой революции она положила в основу новой тактики западной с.д., в основу своей многолетней кампании в пользу всеобщей стачки. Левый радикализм, вождем которого стала Роза Люксембург, немыслим без приятия законов первой русской революции и ее международного значения. Эта революция — начало новой эпохи борьбы за пролетарскую гегемонию и за социализм. Оставаясь буржуазной по своим целям, революция 1905 года в то же время подсказывает нам методы борьбы пролетариата за власть в социалистической революции. Но, будучи лучшим пропагандистом «русских методов» на Западе, борясь с поднимавшим голову центризмом, с профсоюзными и партийными бюрократами, ужасавшимся малейшей вспышки стихийного уличного движения, Роза все же и здесь не пошла до конца. Она приняла большевизм несколько «по-западному». Она не поняла его полностью. И в вопросе об организационном строении партии, и в вопросе о роли крестьянства в революции, и в вопросе о технической подготовке революции она то-и-дело скатывалась к

меньшевизму и центризму. Оставаясь в основных тактических вопросах в союзе с большевиками, укрепив на этой почве большевистский блок, она все же большевизм объясняла по-люксембургски, по-особому. Поэтому, когда грянула Октябрьская революция, заставшая Розу в тюрьме, оценка большевистской тактики, данная Розой, оказалась глубоко ошибочной. И все же тюремные заметки о «Русской Революции», вероломно, без воли покойной, напечатанные ренегатом Леви в 1921 году, при всех их грубых заблуждениях, исходят от союзника, а не врага Октября. И, что самое важное, ошибки, допущенные Розой в этой работе, ею же в основном на практике ноябрьского переворота были исправлены. Поэтому не «Русская Революция», а «Профсоюзы и всеобщая стачка» — наиболее характерное для Розы Л. произведение по русскому вопросу. Поэтому не кого иного, а Розу Л. мы считаем застрельщиком борьбы за большевизацию западной социал-демократии.

И борьба с ППС и борьба с профсоюзными и партийными бюрократами за русские методы были отдельными главами борьбы Розы с реформизмом. Это — третья, наиболее всеобъемлющая линия ее политической деятельности. С этой борьбы Роза начала свою работу. В этой борьбе, в борьбе с шейдемановцами, она положила свою голову.

В конце 90-х годов Роза вместе с Парвусом возглавила кампанию против Бернштейна, в то время как Каутский и Бебель сначала лишь тянулись за ней. В «Реформе и Революции» она дала лучшую, наиболее талантливую и глубокую критику Бернштейна. В полемике с Жоресом-Мильераном и с Вандервельде она показала международное лицо оппортунизма. В многочисленных журнальных и устных боях с Шиппелями, Гейне и другими оппортунистами-практиками Роза сумела сильнее других разоблачить бернштейновскую фракцию в ее повседневной работе по обуржуазиванию партии. В незабываемых по полемическому задору статьях против Зомбар-

та и других катедер-социалистов она раз навсегда вскрыла истинные намерения всяких ученых «друзей» рабочего класса, всяких буржуазных реформистов. В дискуссиях с Каутским, с которым она окончательно разошлась в 1910 году, Роза была по существу тот же реформизм, но в его скрытой, замаскированной, центристской форме. Эти дискуссии по вопросу о выборе тактики (тактика на истощение или тактика наступления), о всеобщей стачке и об отношении к неорганизованному, о милиции и милитаризме, об империализме и пацифизме были прологом к грядущему расколу. В этих боях Роза выросла до размеров вождя международной левой, а затем и вождя III Интернационала. В эти годы она выпустила наиболее зажигательную, наиболее яркую и пламенную из своих брошюр «Кризис с.-демократии» (1916 г.). В это время имя ее стало синонимом неустрашимого борца с «смердящим трупом» II Интернационала за революционное прекращение братоубийственной войны. И если лозунги молодых бойцов из спартаковской группы, возглавленной Р. Люксембург и Карлом Либкнехтом, не были до конца продуманы, если в них жили еще остатки старых организационных и других социал-демократических предрассудков, если они поздно раскололись с независимцами, то все же они, а не кто иной в Германии, стали первыми и единственными до конца революционными и искренними солдатами ноябрьского переворота.

В борьбе с шейдемановцами Роза опиралась на то глубокое понимание империалистической политики, которое постепенно сложилось у нее в течение последних двух десятилетий. Борьбе с империализмом и социал-империализмом посвящен четвертый ряд проблем, близких Розе. И это не случайно. Обосновать «новую», «русскую» тактику, свалить реформистов, звать массы к решительным боям можно было, лишь твердо зная, куда идет капитализм. Роза, начиная с конца XIX века, бдительно следила за ростом вооружений, колониальных грабежей, милитаристи-

ческих тягот, экономических и классовых противоречий, за упадком буржуазного парламентаризма. Она предсказывала войну и разоблачала немощный социал-пацифизм. Вопреки трусливым с.-д. традициям она шла в казармы агитировать армию. Уже в 1904 году она за антимилитаристическую пропаганду попала в крепость в Цвикау. Привлеченная в 1913 году вторично за работу в кайзеровской армии, она сумела вокруг этого процесса поднять такой шум, вызвать в свидетели такое огромное количество солдат, так раскалить общественную атмосферу, что правительство предпочло на этот раз отступить. Но дело ее, отложенное в 1914 году, год спустя, когда началась антивоенная работа будущих спартаковцев, было использовано, чтобы засадить ее в тюрьму. Роза просидела всю почти войну за решеткой, освобожденная оттуда лишь ноябрьской революцией. Не случайно поэтому Роза, один из немногих вождей II Интернационала, сумела полностью показать империалистический характер войны и империалистический характер идеологии шейдемановцев. И все же и здесь она не была до конца последовательной. Во-первых, в «Накоплении капитала» она дала ошибочное теоретическое толкование империализма. Во-вторых, из империалистической эпохи она не сумела сделать всех необходимых политических выводов. В национальном вопросе она не допускала возможности национальных войн. В организационном вопросе она долго не видела всей неизбежности раскола не только с шейдемановцами, но и с независимцами. В оценке реформистов она не вскрыла экономических корней оппортунизма. В своей антивоенной тактике она не поняла большевистской программы пораженчества. В критике буржуазной демократии она порой колебалась, не решаясь идти на революционный террор.

Ноябрьская революция, которой Роза отдала два последних месяца своей жизни, подытожила все великие заслуги и все слабости лево-радикального и спартаковского движения. Спартаковцы и их главные вожди спасли

честь немецкого социализма. Они основали немецкий коммунизм. Они подняли к революции широкие массы немецких пролетариев. Но благодаря своей организационной слабости они не сумели внедриться в советы и в профессиональные союзы. Они не сумели также овладеть руководством январского восстания, в котором погибла Роза.

Лично для Розы Л. эти два последних месяца были проверкой всей ее жизненной деятельности. Она в них показала не только свою личную неустранимость, не только свой героизм, но также и гениальное умение исправлять политические ошибки. Она поняла неизбежность вооруженного восстания, красного насилия, контрреволюционность учредительного собрания, роль Советов, великое значение революционного союза с крестьянством.

Какова же наша общая оценка дела жизни Розы Люксембург? Роза — детище переходной эпохи, эпохи, в которой завязывались исторические узлы современности. Но эта эпоха, особенно на Западе, была чрезвычайно двойственна. Мы видим в ней огромный рост рабочего движения и ширирь, и вглубь, и по объему, и по организованности. Мы наблюдаем величайший расцвет техники, промышленности и богатства. Казалось, что многомиллионные прибыли капитализма разольются по всем странам, распространятся на все классы, докатятся и до беднейших слоев населения, обеспечат всем человеческую и все улучшающуюся жизнь. Это было время торжествующего, победоносного капитала во всем его полнокровии и силе. Но эти последние годы его зрелости были также первыми годами его перезрелости, началом его отмирания и увядания. Это было время начавшейся империалистической экономики, несущей с собой рост налогов, эксплуатации, нищенства, рост классовую борьбу, милитаризма, военной экспансии.

Двойственный характер эпохи одновременно рождал и элементы реформистских иллюзий, преклонения перед капиталистическим колоссом, жажды сотрудничества с ним во что бы

то ни стало, и элементы революционных предвидений и опасений за боееспособность рабочих рядов. Но вплоть до самого начала мировой войны первая струя более уверенно и крикливо всплыла на поверхность жизни. Агитационные, выборные, организационные успехи западной и в первую очередь немецкой социал-демократии выпирали вперед. В таких условиях реформистам не только удалось легализоваться в партии, но и начать постепенно и не безуспешно перетягивать на свою сторону основные ее кадры, сохранявшие свою внешнюю марксистскую оболочку. Так сложилось то тройное деление на реформизм, центризм, левый радикализм, которое в лице Бернштейна, Бебеля — Каутского и Розы Люксембург нашло своих наиболее ярких представителей.

В эпоху империализма и надвигающейся мировой войны Роза Люксембург стала представителем революционизирующейся части рабочих, предвестником грядущей социалистической революции, а потом вождем ее. В этом великом деле революционизирования европейской рабочей армии опыт свой, лозунги борьбы, воодушевление черпала она у России с ее молодым, мало запятнанным оппортунистическими традициями, подстегиваемым царским подпольем, богатым революциями, рабочим движением. Заслуга Розы и состоит в том, что она, в конечном счете, сумела пробить себе на Западе путь к большевизму, что она возглавила первые западно-европейские большевистские партии.

Но в основном Роза Люксембург — выразитель переходной эпохи. Ноябрьская революция и основание германской компартии — это высший, предельный пункт ее деятельности. Путь к большевизму, проделанный Розой, не лишен, как мы видели, крупных теоретических и тактических ошибок. Как впоследствии рожденная в ноябрьской революции немецкая коммунистическая партия росла и развивалась зигзагообразным путем крупнейших неудач и поражений, точно так

же шла и Роза Люксембург к идеологии III Интернационала. Детище эпохи II Интернационала, она подняла знамя восстания против своих учителей, оставаясь, однако, и сама в ряду вопросов пленником их силлогизмов. Эта незаконченность ее идеологии объясняется в первую очередь грандиозностью самой задачи.

Роза делала лишь первые попытки сочетания рабочего движения Запада и Востока. Они имели место тогда, когда судьба Европы еще только определялась. Не случайно автор этих попыток родился в стране, которая представляла переходное звено от Запада к Востоку. Польша по быстрому темпу своей индустриализации, по степени классовой дифференциации в городе и деревне приближалась к западным странам, по политическим же условиям жизни и по революционности пролетариата и его партии — к России. Роза Люксембург возглавила нарождающуюся в 90-х годах польскую с.-д. партию. Идеология, которую она создала при этом, была известным своеобразным, оригинальным сочетанием принципов западной соц.-демократии с принципами русской революционной социал-демократии. В этой попытке была самостоятельность великого революционного мыслителя, но в ней скрывался также известный польский провинциализм, известное стремление особые условия Польши и выведенные на этой основе принципы обобщить до всеевропейских размеров. Наиболее наглядно черта эта проскальзывает во взглядах Розы Люксембург по национальному вопросу.

Так, на фоне тонко опутанного реформизмом, но и начавшего революционизироваться рабочего класса Запада, на фоне революционной России и Польши выросло это не лишнее противоречий, несовершенно, незаконченное, но столь кровно-близкое нам по общему делу, столь героическое здание мыслей и дел Розы Люксембург.

Пролетариат, ведущий бои за диктатуру и за социализм, не может жить без революционных традиций. И осо-

бенно это невысказано для молодежи. Для нее память об уходящем поколении борцов — залог собственных революционных подвигов в будущем. Жизненный путь Розы Л. — величайшая революционная традиция рабочих Польши, Германии и всего Интернационала. Не даром Ленин жизнь эту приравнивал к орлиному полету. Не даром, говорил он, что произведения Розы Люксембург будут школой для многих поколений коммунистов всех стран. Не даром также вокруг ее имени доселе еще бьется и волна любви и преклонения и другая, встречающая волна — ненависти. И одно и другое так же старо, как первые статьи и первые речи Розы. Клеветническими выпадами встретил польский социал-патриот Дашинский первое выступление Розы в Цюрихе, русской шпионкой обозвали ее южные реформисты, взбешенные меткими ударами Розы. Пуля в затылок, пущенная разъяренной офицершиной 15 января 1919 года, была последним актом антилюксембургской кампании, начатой оппортунистами вкупе с буржуазией еще за четверть века до этого.

Теперь абсолютно установлено, что социал-демократы из лагеря Эберта — Шейдемана — Носке были вдохновителями физической расправы с Розой Люксембург. Но, убив физически, они не в состоянии имя ее вытравить из памяти миллионов пролетариев. Поэтому сейчас пытаются они убийство физическое дополнить убийством политическим. Они облыжно признаются в духовном сродстве с Розой Люксембург, они спекулируют давней ее критикой большевиков. Никто не поверит в эту клевету и в этот шантаж. Никто не отдаст Красной Розы желтому Интернационалу. Но и другая спекуляция памятью Розы, прикрытые ее ошибками ради каких-либо фракционных целей, как это делают правые ренегаты в Германии, должна быть с такой же решительностью отмечена. Ошибки Розы были историческими ошибками шедшего к большевизму молодого революционного движения Германии. Их повторение в настоящее время означало бы попятное движение.

# Люди и факты

1. А. ЯКОВЛЕВ. На неведомой дороге. — 2. НИК. АССАНОВ. Корпуса, которые не спают. — 3. Л. К. СОЛДАТОВ. На вершину Эльбруса.

## 1. НА НЕВЕДОМОЙ ДОРОГЕ

А. Яковлев

### 1. Из Москвы

С полночи мы уже были на центральном аэродроме. Москва укладывалась спать: слабее становился ее шум, точно угомонялся зверь. Но тысячи маленьких электрических солнц еще сияли над улицами, над аэродромом, — и высокое до неба зарево стояло над всем огромным городом. Тишина здесь, на аэродроме, ловила звуки наших шагов, ловила каждое наше слово, — и невольно мы разговаривали вполголоса, ходили осторожно.

На верхнем балконе воздушной станции мы долго сидели, дожидаясь рассвета. Летчик Бабушкин в кают-компани все еще сидел перед развернутой картой, вымерял, вычерчивал. На языке летчиков это называется «поднять карту» — установить, уяснить путь, по которому мы полетим. Неведомый путь, новый воздушный путь Москва — Ташкент. В плане пятилетки Дობролета этот новый путь стоит на первом месте. Мы впервые изведем его. У меня в кармане лежит первый пассажирский билет воздушной линии Москва — Ташкент...

Бабушкин и начальник воздушной станции вышли из кают-компани на балкон. Оба посмотрели па небо, на вымпел, что слабо колебался под напором предутреннего ветра. Небо на востоке было прозрачное, и звезды па нем побледнели, как веснушки на де-вчьем лице. Начальник станции спро-сил:

— На тысяче пойдешь (т. е. на ты-сяче метров высоты)?

— Нет, — ответил Бабушкин, — при-дется пониже.

Оба опять молча оглядели небо, — точно моряки море перед плаванием. Впрочем, именно моряки. Здесь и фор-ма летчиков и термины (кают-компани, вымпел) напоминают море. Даже не море, а воздушный океан, беспре-дельный, более обширный, чем все оке-аны, взятые вместе.

На воздушном океане  
Без руля и без ветрил...

Пришел бортмеханик Грошев — в си-нем рабочем комбинизоне, как всегда деятельный, энергичный.

— Все готово. Можно ити.

Мы спустились вниз. У всех кро-шечные чемоданы. Какие-то люди с такими же чемоданами сидели на ниж-ней террасе, где на двери написано: «Станция Укрвоздухфлота». Люди то-же ждали рассвета, чтобы на другом самолете лететь на Харьков—Ростов. В окно видать: пассажир передает деньги начальнику станции, начальник станции дает пассажиру билет. Что было когда-то сказкой — воздушные полеты — ныне совсем обращается в обычное дело: расчеты, деньги, би-леты.

Самолеты разных систем стояли у ангаров длинным рядом. Моторы у них были закрыты серой рубашкой — бре-зентом. Только у 3—4 рубашки сняты. Механики и летчики суетились возле.

А свет с востока уже протянулся на полнеба, и уже завиднелись трубы дальних фабрик и крыши домов. Но фонари на всем поле еще горели ярко. Самолет, что стоял с краю в ряду, вдруг фыркнул, нервно застучал, — люди с чемоданчиками поспешно пошли к нему.

Наш самолет тоже приготовился к отлету. Он выдвинулся из ряда, отошел в поле, и, казалось, его овальные крылья, смоченные ночной росой, ждали настороженно.

Мы — трое пассажиров — обошли и осмотрели его со всех сторон. На нем мы пролетим 3300 километров. Самолет сконструирован русским инженером Калининим, весь до последнего винта построен на русском заводе. Только мотор у него заграничный. Мощность мотора 600 лошадиных сил. Против других самолетов он оказался богатырем.

Мотор фыркнул, пропеллер превратился в светлый круглый прозрачный щит, из-под крыльев выметнулась пыль, трава на поле затрепетала.

— Садитесь! — крикнул Прошев.

Момент, — мы — трое пассажиров — прощаемся с провожатым, лезем в кабину. Три зеркальные окна справа, три — слева. Кабина высокая, можно стоять, лишь чуть наклонив голову. В кабине пять мест, а нас только трое. Кинооператор Беляков со своими аппаратами расположился в глубине кабины у задних окон: так будет удобно ему снимать направо, налево и вниз. Журналист Рогов сел спиной к передней стенке кабины. Я — между ними. Два места еще свободны. Мы кладем туда свои чемоданы, пальто, развернутые карты. Окошечко из кабины пилота открылось. Прошев спросил:

— Готовы?

— Готовы.

И в тот же момент мотор зарокотал громче. Наши провожатые отпрянули от самолета, лишь издали махали платками и фуражками. Толчок, — и мы понеслись. Толчки на неровном поле с каждой секундой становились все мельче и реже. Я напряженно ждал, когда оторвемся: замечу ли? Дальний

лес пошел вниз, земля ушла от окна, — мы оторвались, и я не заметил момента отрыва.

Самолет сделал поворот, и вся предутренняя Москва развернулась перед глазами. Солнце еще не взошло, весь огромный город был в синеватой мгле. Темно-синей змеей по полям и по городу ползла Москва-река. Улицы были пусты. Спящий город, как зачарованный, лежал под нами. На центральном аэродроме ангары казались не больше спичечной коробки, а три минуты назад, когда мы были возле, они были огромными... И уже не видно людей возле них, — наших провожатых...

Земля, — темная, почти черная, — казалась небольшим островом перед светлым небом, захваченным утренней этим светлым небом, захваченным утренней зарею.

На кресло рядом я положил раскрытые часы. Стрелка показывает 2.50. На моих коленях десятикилометровая карта центральной части СССР. Мы полетели на юго-восток по направлению к Коломне. Беляков прицеливался киноаппаратом направо, налево, пожимал плечами безнадежно: ему пока не доставало света для съемки. Солнце еще не всходило, земля была черна.

## II. Через три губернии

Спящая Москва, монастыри, пригороды скоро остались позади, в дыму, во мгле. Стрелка барометра отметила высоту 600 метров. Уже совсем рассветало. Легкие облака слева от нашего пути закраснели и зазолотели. Вот-вот взойдет солнце. А вдали, прямо на нашем пути, маячила на горизонте черная туча.

Мы пролетели над селом Коломенским. Село спало. На улицах — ни одного живого существа. Знаменитая церковь казалась серой, маленькой. Поля и дороги за селом еще по-ночному были пусты. Но вот вдали задымила, запылила серая дорога. Темная масса двигалась по ней. Это стадо коров шло от села Царицына в поле. Царицынские пруды светились точно зеркала. Парк, сады и рощи казались черными узорами на темно-зеленых просторах.

Прямо под нами полз поезд. Его белый дым тянулся длинным хвостом. Кругом над земными просторами лежала голубая мгла, из мглы проглядывали села, деревни, церкви, леса. Я оглянулся назад на Москву. Ее уже не было видно. Только горой подымался бурый дым над нею. Трубы кирпичных заводов стояли точно красные и черные карандаши. В нарастающем свете поля уже начали ярче вырисовываться, полосу от полосы уже можно было различить, — будто разноцветные заплатки на земной одежде. Леса были похожи на травяные заросли.

Край тучи впереди ярко засветился, — оттуда собралось выглянуть солнце. Села и деревни пронеслись под нами. Крестьянские дворы были похожи на коробочки, что дети строят из палочек в песке. Все казалось нечеловечески маленьким.

Уже полчаса мы были в воздухе. Под нами проползла речка Пахра, извивающаяся полукольцами. В поле, недалеко от Пахры, горел костер. Дым медленно стлался по самой земле. Или нам казалось так с высоты?

А туча на горизонте все росла, темно-фиолетовая, с белым краем. Далеко влево от нас среди лугов и лесов мелькнула широкая бледно-голубая дорога. Это — Москва-река. Мы быстро приближались к ней. Вот она под нами. Ее старое русло виднелось рядом. Иногда оно уходило далеко вправо и влево, иногда сливалось с новым руслом. Интересно, что старое русло было совсем похоже на новое: такие же полукольца, такие же изгибы.

В половине четвертого мы пролетели над Коломной. Город с высоты казался изумительно красивым. Дома и улицы утопали в темной густой зелени. Белые дома и церкви выразительными пятнами глядели сквозь зелень. Кремль с красными башнями и золотой главой собора был особенно красив. Мост через Москву-реку был похож на тонкую ленточку. Корпуса Коломенского паровозостроительного завода длинными рядами усеялись у реки. Они темные, зажатые. Облака дыма из двух труб поднимались высоко вверх, но и

этот дым сверху кажется маленьким хвостиком.

Впереди завиднелась Ока — широкая, многоводная. Песчаные отмели отливали золотом. Солнце ярко отражалось в воде. Его лучи, пробиваясь сквозь тучи, широкими серебряными дорогами протянулись с неба на землю. Картина полна величия. Река, леса, эти серебряные небесные дороги, фиолетовая туча с золотым краем, — все было полно прелести. Кинооператор Беляков долго ловил своим аппаратом эту картину.

Мы пересекли реку Оку. Мост через нее остался влево. Мост был похож на гусеницу, ползущую через голубую дорогу. Здесь, на Оке, граница между Московской и Рязанской губерниями. Сто десять километров от Москвы до Оки мы сделали в сорок минут.

В Рязанской губернии заметно увеличилось количество лесов. Солнце временами зажигалось ослепительно, и тогда вся земля под нами расцветивалась яркими красками. Песчаный карьер возле Казанской ж. д. был похож на широкое золотое блюдо. Черные торфоразработки со штабелями торфа напоминали чернильные кляксы на бесконечном изумрудном поле. По зеркалу Оки козавкой плыл белый пассажирский пароход, светившийся на солнце, и другой пароход полз с двумя темными баржами.

Земля в Рязанской губернии стала чернее, чем в Московской. В Московской она была светло-шоколадного цвета...

Очень интересно было наблюдать с высоты, как менялся цвет земли за время нашего пути.

А утро на земле уже давно разбудило мир. Села и деревни задымились. Синий дым струйками потянулся от маленьких игрушечных изб. Дым! Для каждого, кто на земле, дым представляется плывущим к небу. Посмотреть на него, — надо высоко поднять голову. А мы видим этот дым там, далеко внизу, еле отделимым от земной поверхности. Лишь в стороне, ближе к горизонту, было видать: дым поднимался кверху над селами и деревнями и стоял низким облаком.

Туча, что маячила впереди нас, теперь надвинулась. Она была на одном уровне с нами. Дождь косыми полосами падал из нее на землю. Бабушкин пошел выше, и через пять минут мы были над тучей на высоте 1.200 метров. Под нами протянулись бесконечные белые облака. Они казались мягкими, пушистыми. Они едва заметно передвигались. Солнце—всегда спокойное—ярко освещало их. Пушистые облака светились белым светом, как снег в хороший зимний день. Туча издали казалась огромной. И в самом деле, она закрыла всю землю под нами. Мы летели прямо на солнце. Но прошло четверть часа, в туче замелькали прорывы, через прорывы завиднелась земля, и скоро туча осталась за нами, мы снова увидели землю. После дождя земля стала еще ярче. Сколько зелени! Сколько красок в лугах и полях!

Все поля были изрезаны разноцветными полосами—«картами», точно аккуратными четырехугольными заплатками на широкой земной ризе. Распаханная земля казалась черной, как сажа. В долине Оки виднелось множество светлых озер и болот, будто кусочки зеркала, брошенные на зеленый стол.

Села стали попадаться реже,—гораздо реже, чем в Московской губернии. Но они были значительно крупнее. Одной длинной улицей они тянулись на целые километры. И пусть был ранний час,—всюду уже было полно жизни: дым вился из всех труб, на улицах ходили пестрые точки—люди и лошади, стада двигались от сел в луга, будто ползли козьявки.

Железная дорога вихляла из стороны в сторону. Вот преимущество воздушного пути: мы летим прямо-прямо, никакие горы и уклоны не загораживают нам путь.

В четыре часа утра перед нами показалась Рязань. В центре города в зелени замелькало множество белых зданий, в центре красноватый собор с золотой главой, а окраины казались совсем серыми. Весь город разбит четырехугольными кварталами, такими правильными, что скучно. Две минуты мы летели над Рязанью, Беляков едва успел снять ее уже «улетающую».

От Рязани мы пошли на Спасок. Казанская дорога осталась в стороне. Ока то уходила в сторону, то снова приближалась. По берегам ее стали попадаться сплошные черные хвойные леса. Река и озера потемнели. Значит внизу дул ветер. Нас начало поталкивать. Но наш большой устойчивый аппарат не поддавался толчкам. Навстречу нам мчались облака. Тени от них бежали по земле, и казалось, что вся земля испятнана.

В 4 ч. 15 м. мы пролетели над Спаском и старой Рязанью. От пристани Спасска отходил маленький, белый пароход, похожий на игрушку. Он оставлял за собой широкую дорогу полукругом на воде и длинный хвост дыма в воздухе. В старой Рязани были отчетливо заметны земляные валы. Эти валы напомнили времена татарщины,—именно здесь произошла схватка рязанцев с татарами,— вот этот игрушечный город татары взяли приступом, сожгли, а людей всех перебили...

При поворотах Оки, как, впрочем, и других речек, на лугах остаются следы старых русел. Их обычно несколько. Прежде чем найти свое настоящее место, река множество раз переменяла русло. Старые русла почти всегда идут дугами, параллельными руслу новому...

### III. В тумане

Солнце то пропадало, то снова выглядывало из-за туч. Весь горизонт справа и слева и спереди заволочся туманом. Точно белые хлопья ваты, туман летел нам навстречу. Сначала его было немного. Волокнистыми полосами он тянулся от Оки, от дальнего леса. Потом закружился клубами, будто дым из каких-то чудовищных труб. Иногда самолет попадал в такие клубы, и разом все скрывалось из наших глаз: и земля и дым. Бабушкин опять стал набирать высоту,—восемьсот метров, девятьсот, наконец, тысяча. Туман на некоторое время остался внизу под нами. Но небо все-таки не завиднелось: плотные дымчатые облака плотно укрыли его. А там, впереди, облака сливались с туманом. Некоторое время мы так и летели—между туманом и

облаками. Землю мы видели лишь изредка — в разрывы тумана она вдруг являлась черным бесформенным пятном.

Повидимому, ветер дул сильный: клубы тумана быстро меняли свои очертания, один клуб перегонял другой, облака тоже поднимались друг над другом, точно вели упорную борьбу. Нас иногда поталкивало, но слабо, потому что самолет необычайно устойчив в воздухе. В кабине было уютно. Хорошо было сидеть в мягком уютном кресле, смотреть на этот клубящийся туман, на летучие облака. Из-за тумана нельзя было ничего снимать, и кинооператор Беляков, пользуясь этим, начал перезаряжать свой аппарат. Он спокойно лазил головой и руками в черный мешок, долго возился там с пластинками, вылезал, раскладывал заряженные круглые коробки по местам, снова лез головой в мешок, одним словом, наша кабина была для него совсем как лаборатория.

С полчаса мы летели между туманом и облаками. Ветер стал заметно усиливаться. Облака и туман уже бежали без оглядки мимо наших окон. Они уже слились, — туман и облака. Иногда несколько минут мы летели, ничего не видя кругом. Самолет стал снижаться. С тысячи метров мы перешли на шестьсот. В просвете мелькнула земля, покрытая лесом. Мелькнула и исчезла. Мы снизились еще. В другом просвете мелькнула железная дорога. Качка стала сильнее. Туман стал перемещаться. Земля замелькала большими клочьями. Черный кусок земли, белый туман, опять земля и опять туман... Беляков установил аппарат возле окна, вертел обеими руками, стараясь поймать эти необычайные по красоте картины.

С высоты пятисот метров было хорошо видно: деревья в лесах качались до корня, вода в озерах почернела, — на земле бушевала буря. Нас качало так основательно, что холодок пробежал по спине и сердце замирало.

Лететь при таких условиях было трудно и опасно, и Бабушкин решил сесть, выбрав удобное место. В пять часов мы увидели город Сасово с мо-

стом через реку Цну. Бабушкин сделал над городом круг, снизился до ста метров, выбирая удобное место для посадки. Уже видно было, как рожь на окраинах города волнами колыхалась под ветром, народ бежал по улицам, лошади бились в запряжках. Но удобного для посадки места не нашлось, и мы полетели от Сасова дальше. Туман опять хлынул густо, опять нас стало трепать, ветер побеждал устойчивость нашего самолета.

И вот здесь я невольно начал следить, что именно испытывает мое физическое существо. У тех, кто совсем не летал, о полетах имеется самое смутное представление: полеты — опасное дело, трудное, во всяком случае — ненормальное. Насчет опасности и трудности тут, конечно, все сильно преувеличено, но вот относительно ненормальности приходится кое с чем согласиться. В первые часы и дни при перелетах протестует само человеческое тело. Бырванное из обычных надземных условий, наше тело не сразу приспособляется к резким переменам давления атмосферы, — то мы летим на высоте 100 метров, то сразу поднимаемся до 1200 метров. От таких скачков начинается шум в ушах, чуть-чуть болит голова, нервы напрягаются.

Нужна привычка!

Трудно было при сильной качке сидеть спокойно. Легкая тошнота подступала к горлу. И нужно было собрать волю, чтобы не думать ни о тошноте, ни о головной боли, — сидеть, спокойно наблюдать, хотя бы внешне спокойно. Почему-то появляется зуд в кости правой ноги у щиколотки, чего у меня отродясь не бывало.

Мы пошли вдоль железной дороги. Леса, луга, рожь, туман, опять леса, луга, рожь. Нас било толчками. Вдруг луга и поля исчезли. Мы долго летели над сплошным лесом. Сосны и ели начали подставлять нам свои пики. Нигде не было видно никакой прогалыны. Нас бросало то вверх, то вниз. Деревья хлестали друг друга вершинами, — так силен был ветер внизу.

Но вот опять завиднелись поля и луга. Сразу стало светлее и спокойнее.

Стада овец паслись на лугах. Заслышав шум самолета, они стремглав сбегались в жучу, грудились плотным комом, потом неслись прочь от самолета—прямо по его пути. Мы обгоняли их, а овцы по инерции бежали за нами... километр, два. Стало больше болот и озер. Над озерами кружились чайки. Впереди на сто метров не было видно ничего. Железная дорога исчезла из глаз. На земле не было никакого ориентира (предмета, по которому можно определить, где мы). Лишь иногда ветер срывал туман, и впереди виднелся бесконечный черный лес, а над ним седая туча. Ветер все не утихал.

Под нами проползла широкая полноводная река. Какая? По карте это должна быть река Мокша. Но в каком мы месте? Трудно определить. Мы летели на высоте пятидесяти метров. Земля опять расцветилась глиной и песком. Поля победнели. Рожь лежала на земле, поваленная дождями. Колеи на дорогах были переполнены водой.

Нас так качало, что всем было не по себе.

Впереди завиднелись холмы, тумана стало меньше, но ветер был так же силен.

Вдруг, пролетев над холмами, мы попали в такой густой туман, что за десять метров не было ничего видно. Бабушкин поспешно набрал высоту до двухсот метр. Мы долго летели неизвестно куда, в серой плотной полутьме.

Когда снова туман немного рассеялся, мы увидели вдаль поле, длинные ряды леса, белый дом на холме, церковь в долине, деревушку. Бабушкин сделал круг над деревушкой и пошел на снижение. Впереди было видно синеватое поле—клевер. На это поле Бабушкин решил сесть.

#### IV. Чудо с небеси

Перед посадкой мы все трое поспешно привязались ремнями к своим местам. Клеверное поле, сверху похожее на маленькую голубую жарту, стало расти с каждой секундой. Вот оно стало больше, больше, вот уже завиднелись отдельные цветы, потом мягкий толчок, другой, третий, и мы с безумной быстротой покатались по полю,

мягко покачиваясь на неровностях. Еще минута,—и мы неподвижно остановились. Чувство невольной радости заливает грудь: мы на земле, мы сели благополучно,—опасности нет. Мы поспешно вылезали из кабины прямо на клевер. Под ногами была грязь. Вода держалась в бороздах. Видимо, недавно прошел сильный дождь. С края поля виднелась дорога. Бабушкин дал ход самолету и прорыл к дороге: сейчас к нам прибежит толпа. Она погубит клевер,—у дороги вытопчут меньше.

Когда мы садились, вблизи не было никого видно. Только по дороге справа шли два мужика и навстречу им ехала лошадь с телегой. Но где же они сейчас? Мы огляделись. Мужики поспешно бежали от нас по дороге к лесу, а лошадь во весь мах скакала назад к деревне. Мужики добежали до пригорка и разом прилегли. Через минуту мы увидели их головы. Высоко вытягивая шеи, мужики смотрели на нас изо ржи. Лошадь тоже остановилась вдали. Видать было: мужик изо всех сил тянет вожжи, чтобы остановить ее. Мы все пятеро вышли на дорогу. Два мужика шаг за шагом, очень медленно начали приближаться к нам.

— Эй, земляки, подойдите сюда!—закричал им Грошев и помахал своим шлемом.

Мужики сняли картузы, замахали, пошли к нам быстрее.

— Здорово, земляки! Скажите, что это за село?

Мужики переглянулись и наперебой закричали издали:

— Пушкино.

— Какого уезда?

— Инсарского.

— А далеко ли до железной дороги?

— Верст тридцать.

Так долго шла перекличка. Мужики подходили медленно, опасливо. Прямо через поле к нам бежал пастух с кнутом на плече. Он добежал почти до самого самолета и остановился с раскрытым ртом. Тогда и мужики подошли вплотную. Они осматривали нас большими круглыми, полными страха глазами.

— Вот так чудо с небеси!—нахонец, засмеялся один.

Мужик на телеге тоже под'ехал, остановился поодаль, метрах в полусотне. По дороге от села к нам бежал народ. А через минуту все межники, тропы, дороги запестрели людьми. Ребята мчались прямо через поля. Ехали на лошадях, верхом, на телегах. Один приехал с сохой, перевернутой вверх сошниками. Десяти минут не прошло—огромное плотное кольцо народа стояло вокруг самолета. Клеверное поле в один момент было растоптано. Где только вот-вот были цветы, там уже чернела жидкая грязь. Какие-то люди с палками начали поспешно гнать толпу с поля на дорогу. Послышались крики, ругательства.

— Не топчи клевер!

— А ну тебя с твоим клевером. Клевер всегда видим, а эту птицу впервые в жизни.

Толпа была сплошь в лаптях, женщины и девушки в белых холщевых сарафанах, мужики в бурых домотканых чапанах. Глухой говор стоял над толпой.

— Ай-ай, глядите, ровно изба — с окошками.

— И-и, премудрость-то. Такая большая, а летит.

— Прямо над нами пролетела. Мы аж присели. Испугались—страсть.

Кто-то бойкий подошел к самой кабине, заглянул в окно. И толпа, точно по команде, надвинулась сразу, плотно. Начали щупать крылья, хвост. Мы заметили:

— Нельзя трогать! Отойдите!

Из толпы отделились сразу человек пять молодых мужиков, замахали палками, руками.

— Осади!

Оказалось, это члены сельского совета пришли нам на помощь. Толпа отодвинулась. Бабушкин и Грошев долго выясняли, где железная дорога, в каком направлении Пенза.

А ветер все хлестал, облака неслись низко, задевая землю. Приходилось сидеть и ждать, когда они рассеются. Толпа все прибывала. Ребята липли к окнам кабины. Опять все плотно стояли возле самолета. Кое-кто трогал наши пальто, наши руки, точно хотели убедиться, действительно ли мы

люди. Беляков вытащил киноаппарат, начал снимать толпу, направляя объектив на лица людей. Толпа хлынула прочь со смехом и криками. Потом, узнав в чем дело, люди стояли спокойно, довольные, что их «будут показывать в кинематографе».

Два часа мы просидели на этом поле, дожидаясь хорошей погоды. Наконец, ветер немного стих, небо прояснилось, и мы приготовились улететь. Когда затрещал мотор, толпа ахнула и рассыпалась во все стороны. Самолет промчался через поле и взмыл кверху. Через минуту истоптанное черное клеверное поле осталось далеко внизу. Толпа виднелась маленьким пестрым пятном на его краю. «Чудо с небеси» опять унеслось в небо...

## V. Пенза

За те два часа, что мы просидели на клеверном поле, погода резко изменилась к лучшему. Солнце выглянуло из-за облаков. Открылись бесконечные дали. Туман исчез. Мы скоро вылетели к железной дороге и вдоль ее полетели к югу. Под нами растянулись неохватные поля, пестревшие отдельными полосками, точно заплатами. Изредка попадался лес. Скоро стали встречаться большие карты хорошо распаханной земли или такие же большие карты зревшей ржи. Среди мелких полосок крестьянской земли они казались огромными, нарядными. Нетрудно было догадаться, что эти карты—поля совхозов и колхозов.

На реке Мокше мы видели села и деревни, пострадавшие от наводнения. Разрушенные и искорверканные избы, сарай, заборы валялись на земле. Следы потоков весенней воды еще ясно виднелись на полях. Кое-где улицы были еще затоплены... Но почему-то наводнение было только на Мокше. Когда через час мы добрались до реки Суры, мы увидели, что река уже давно обмелела, огромные песчаные отмели, похожие на золотые полотна, виднелись по обоим берегам.

Скоро показалась станция Рузаевка с множеством железнодорожных путей, вагонов, эзданий. Игрушечные паровозы, пуская белые дымки, хлопотно

бегали между вагонами. В одну минуту мы оставили станцию за собой, полетели вдоль железной дороги на Пензу. Небольшие холмы виднелись всюду. Железнодорожный путь змейкой извивался между ними. А наш путь прямо, прямо. После блужданий в тумане так просторно было, так вольно глазу в этих пестрых солнечных и облачных даялах.

На пути попадались татарские села, — их можно было отличить по мечетям, что как иглы поднимались к небу.

Наконец, в начале десятого часа вдаль показалась Пенза. Вся в зелени, расположенная на скате большого холма, с массой белых зданий, она казалась необыкновенно красивой. Река голубой дорогой протекает мимо города.

В Пензе нас уже давно ждали. На аэродроме большая белая буква Т указывала место, где мы должны сесть. Бабушкин сделал широкий разворот и пошел на снижение.

Привычное чувство легкости во всем теле охватило меня. Сердце замерло. Земля понеслась навстречу. Вот мелькнули верхушки деревьев, стадо коров поскакало прочь, аэродром ближе, ближе, — самолет мягко толкнулся о землю, подскочил, снова толкнулся, мы промчались по земле небольшое пространство и остановились. Человек десять летчиков и механиков подошли к самолету.

— Что случилось? Мы ждали вас в семь часов утра.

— Заблудились в тумане.

Встреча, как всегда на аэродромах, самая сердечная. У летчиков уже выработалась традиция самого широкого гостеприимства.

Мы должны были улететь из Пензы через два часа. Но нам не прислали из Москвы бензол. И оказалось: если ждать его, придется сидеть в Пензе целую неделю. Поэтому Бабушкин решил тотчас перестроить машину на бензин и лететь дальше уже на бензине. Наш Грошев и механики-пензяки принялись за работу.

Но вылететь в этот день дальше нам не удалось. Только к вечеру машина была перестроена и заправлена. А лететь на ночь глядя в далекий путь до Оренбурга (там нам назначалась следующая остановка) было рискованно. И почти сутки мы провели в Пензе.

После шумной многоречивой Москвы Пенза казалась сонной, — так тихо в ней было. Улицы полупусты, трамвай ходит редко и вяло. А город красив, масса зелени делает его уютным. Толпа здесь однородна, — нет такой резкой смеси «племен, наречий, состояний», как в Москве и массе других городов. Речь певуча, голоса звонки.. В девять часов вечера улицы погрузились в полный мрак, и стало так тихо, что было слышно, как где-то далеко за городом работал мотор на заводе.

## VI. Над Волгой

Утром в 11 часов мы покинули Пензу. Перед нами сразу развернулись огромные просторы. Погода была прекрасна. Было много солнца. Отдельные облака быстро бежали высоко в небе. Их тени темными пятнами брели через поля и луга.

Мы сразу поднялись на высоту в тысячу метров.

Поля, сады и огороды правильными пестрыми картами развернулись на всем огромном пространстве. Все-таки, какую удивительную работу производит человек на земле! Его труд прекрасен. Леса и степи, конечно, хороши. Но они как-то безжизненны или, скорее, бессмысленны. И только человеческий труд дает новый глубокий смысл этим просторам.

Тень от самолета поспешно бежала по лугам, полям, по волнам колосающейся ржи. Река Сура текла в мягких лесистых берегах, очень извилистая. Недалеко от ее берегов синело множество озер. На нашем пути стали попадаться села длиной километра в два. Одной бесконечной улицей они тянулись среди полей. Везде на улицах выбегал народ — черные и пестрые точки, — вероятно самолет здесь был очень большой диковинкой. Леса были похожи на

крупную траву. Лесные озера казались черными.

Недалеко от Пензы нам стали попадаться огромные карты великолепно обработанных полей — совхозы, колхозы, коллективы. В них не было чересполосицы и разнобоя в посевах. И рядом с ними поля крестьян единоличников — точно мелкие заплатки на рубашке. Иногда на полях виднелись тракторы; точно бурые козявки, они ползали по черной земле.

В полдень мы пролетели над городом Кузнецком — прямо над городским собором. Крыши домов сверху казались темно-серыми, а весь город — старым, темным, иссыхающим старичком. Речка, протекающая через город, так мелка, что с самолета виднелось все ее дно до мелких изгибов. На окраине города реденькие рощицы, а за рощами опять широкие, широкие поля. Кое-где чернели глубокие овраги с желтыми берегами.

В одну минуту Кузнецк остался позади, и опять под нами поползли поля, леса, дуга. Железная дорога, словно желтая нитка, тянулась среди зеленых полей. Попадались станции — совсем среди полей, — а вокруг них золотели огромные штабеля бревен и досок. Откуда бревна, если кругом только поля? Ага, они вон из того лесного массива, что виднеется на горизонте.

При поспешных сборах в Пензе случилось: Прошев не успел позавтракать в гостинице, мы принесли ему завтрак на аэродром, но и здесь у него не нашлось свободной минуты, так и полетел он голодный. Завтрак мы взяли в кабину, чтобы передать его Прошеву дорогой. Когда мы пролетели Кузнецк, Прошев отворил форточку к нам в кабину, крикнул:

— Дайте поесть.

Мы сделали бутерброды, передали ему, потом передали откупоренную бутылку нарзана, — так Прошев позавтракал в воздухе на высоте в 1000 метров.

Делая бутерброды, мы вдруг заметили, что в кабине у нас много обыкновенных комнатных мух. Они назойливо садились на колбасу, на хлеб,

спокойно лазили по потолку, по стенам, — словом, чувствовали себя совсем, как в комнате. Всю дорогу я наблюдал их: какая бы высота ни была, мухи чувствовали себя одинаково хорошо.

Теперь — на втором перелете — и наш организм уже стал приспособляться. У меня уже не болела голова, не было зуда в ноге, и никакого намека на тошноту.

Мы приближались к долине Волги. Местность становилась волнистее. Пески и дороги под нами дымились — с них поднималась тучей пыль, — так силен был ветер там, внизу. Нас опять стало покачивать.

В половине первого вдали показалась Волга. Точно синяя дорога, очень широкая, она протянулась и справа и слева от нашего пути. А прямо перед нами ее не было видно за холмами и лесами. Мы, трое пассажиров кабины, прильнули к окнам старательней обычного. Беляков поспешно приготовил киноаппарат, чтобы снять Волгу с высоты. Впереди завиднелся город Сызрань и возле него Волга. Множество темных домов и белых церквей столпилось на берегу. С каждой минутой Волга все шире развertyвалась перед нами. Бабушкин взял высоту 1200 метров и, не долетая до Сызрани, повернул к северу, вдоль Волги. Перед нами открылась пачорама, незабываемая по своей красоте. К югу, за Сызранью, Волга уходила в туманную даль широкой голубой дорогой. На Волге виднелось множество песчаных островов самой разнообразной формы. Один остров был похож на длинный нож, другой на блин, третий на сломанную пополам подкову. Среди желтых песчаных островов попадались острова зеленые. Весенние воды только спадали. С луговой стороны в Волгу текли целые реки, вода которых казалась черной. Озера и воложки испестрили все луга.

По Волге плыли пароходы с баржами, — точно букашки ползли по зеркалу. Плыли плоты, — бревна нам казались соломинками.

Села по берегам стояли сплошь в зелени.

Знаменитый Сызранский мост через Волгу был похож на гусеницу. Длина этого моста  $1\frac{1}{4}$  километра, а нам он казался величиной с палец.

Мы пролетели над Батраками.

Вся Самарская лука, прославленная своей красотой по всему Поволжью, развернулась перед нами. Река Уса, узкая, как тесемка, протянулась через леса вдаль, к северу. Она была светлой границей, отделяющей Жигули от полей с запада. Волга повернула вправо, к Самаре, скрылась из наших глаз за Жигулевскими горами и снова выглянула уже вдаль, куда потекла река Уса. Жигули зеленым полукольцом надвинулись на Волгу. С высоты 1.200 метров их отдельные вершины казались зелеными шапками. У некоторых гор склоны совсем без леса—бурые, словно выметенные метлой. Ближе к реке Усе все пространство было закрыто лесами, а дальше за Усой простирались бесконечные поля.

Мы поднялись еще выше. Когда нам попадались навстречу облака, мы как раз пролетали под их нижним краем. Стрелка уже показывала высоту 1.300 метров. Беляков то-и-дело открывал окна—то справа, то слева, чтобы удобнее ему было работать прибором, —и тогда холодный ветер врывается в кабину.

Прямо под нами, отвесно, шли два больших пассажирских парохода. Они перегоняли один другого. Сверху нам были видны лишь их крыши, удлиненно-овальные, густо-серого цвета. За пароходами по Волге тянулись широкие хвосты волн, поднятых их колесами. Из труб тянулся черный дым,—он был там, далеко внизу, у самой поверхности воды. Беляков ручным аппаратом снял столь необыкновенное зрелище.

В половине второго часа, т. е. в высший момент, когда так много было света кругом, мы поравнялись с Самарой. Элеватор, церкви, мельницы, большие белые здания, масса зелени, круглый сад на площади, правильные улицы, склады леса на берегу Волги, баржи, пароходы, красные крыши домов,

серые кварталы окраин,—все так ярко пестрело в этот час под солнцем. Людей было трудно различить. Мы пролетели мимо Самары над Волгой и обогнули город с севера над самыми Жигулевскими воротами. В воротах Волга течет одним руслом,—берег ее резко очерчен. У ворот резко выделяется своей голый круглой вершиной знаменитый Царев курган. Жигули отсюда были все как на ладони...

Но вот Волга начала медленно отодвигаться. Дома в Самаре уже слились в один сплошной пестрый ковер. Жигули стали закрываться голубою мглой. А перед нами бесконечными просторами раскинулись заволжские степи.

### VII. Заволжские степи

Вся местность, насколько хватал глаз, была совсем ровная. Мы полетели вдоль железной дороги. Река Самарка, заросшая по берегам лесом, тихо ползла по степи, словно белая лента. У станции Кинель железная дорога разделилась: один путь пошел на восток прямо, другой—на юго-восток. На станции смиренно стояло множество вагонов, а между ними хлопотливо ползал паровоз с недлинным хвостиком белого дыма. Недалеко от станции в реку Самарку впадает река Кинель. Такая же извилистая и заросшая лесом, как и Самарка. Две реки двумя светлыми лентами протянулись вдаль. Они были окаймлены широкими полосами темно-зеленых лесов. Множество озер, точно глаза, выглядывали из лесной зелени.

На берегу Кинели завиднелись красноватые крыши Тимашевского сахарного завода. Я решил узнать, может ли письмо, брошенное с самолета, дойти по адресу. На Тимашевском заводе живет мой родственник. Я заранее приготовил ему письмо, вложил его в большой конверт с запиской: «Гражданин! Бросьте это письмо в ближайший почтовый ящик. Письмо сброшено с самолета». И вот, пролетая над станцией Кротовка, ближайшей станцией к Тимашеву, я открыл окно и бросил письмо. Ветер мгновенно под-

хватил его и... прижал к хвосту самолета (стабилизатору). Письмо точно прилипло. Ветер был так силен, что начал рвать большой конверт. Мы пролетели Кротовку, полетели над степью, а письмо крепко держалось у хвоста самолета. Я ждал: вот-вот письмо сорвется. Но нет, оно оставалось все там же.

Мы уходили от рек в степь. Картины становились однообразнее. Потянулись обширные совхозовские поля—огромными правильными картами они тянулись на целые километры. Кое-где работали плугами тракторы. Черная вспаханная земля на зелени полей казалась огромной четырехугольной рамой,—внутри рамы, по самому краю, ползал трактор. А другие четырехугольнички, уже вспаханные, сплошным черным оком лежали на земле. И рядом опять крестьянские мелкие лоскуты.

Около станции Богатовки река Самарка опять приблизилась к нашему пути, и опять темные леса запестрели под нами, нарушая однообразный степной пейзаж. Все время высота у нас была около 1.300 метров. Воздух становился все прозрачнее. Облака встречались лишь изредка. Вся равнина была залита солнцем. Горизонты—бесконечны. Уже мало становилось воды. В степях стали попадаться пруды, резко очерченные прямой чертой с одной стороны и с извилистыми берегами со всех других сторон.

Села становились больше. Их было немного—иногда мы пролетаем 20-30 километров, и ни одного села. Людей не видно совсем: они так малы, что их трудно различить на зелени полей и в серых улицах сел.

Долина Самарки становилась уже, беднее растительностью, озера стали зарастать травой. Очень интересна картина умирания озер. Сверху было видно, как кольцами располагаются: вода, потом луг, потом мелкая заросль, потом лес. Воды в озерах становилось меньше и меньше, — ее закрывала трава.

Кое-где завиднелись красные пятна заволжских песков.

Около станции Котлубаньки опять нам встретился лесной массив с болотами и трясинами, и уже странно было видеть его среди бледной зелени полей.

Бывали моменты: сидишь у окна, самолет совсем не тряхнет, смотришь вниз, а земля далеко внизу неторопливо проносится мимо. Проносятся поля, леса, долина реки. И забываешь, что движешься ты, а не земля.

Это однообразие полета и однообразие картин немного утомило. Беляков, уставший за этот длинный перелет от работы, полулег в кресле и задремал.

— Разбудите меня, если будет что интересное,—попросил он.

Рогов тоже закрыл глаза.

В половине третьего часа мы пролетели над Бузулуком. В городе шесть церквей, элеватор, три завода, несколько белых зданий, большое депо и множество мелких серых домишек. Город сравнительно большой, но среди бесконечных зеленых полей он казался маленьким пестрым пятном. Рыжая широкая степная дорога протянулась к городу. По ней ползли подводы, похожие на белые и черные букашки.

Река Самарка стала совсем маленькой. Интересно было наблюдать, как она постепенно уменьшалась от устья к верховьям, уменьшалась на наших глазах — всего лишь в продолжении двух часов.

Я с удивлением увидел, что от изб, от деревьев протянулись довольно длинные черные вечерние тени. Что такое? Еще только половина третьего по московскому времени, а уже тени предвещали вечер. И вспомнил: мы летим на восток, навстречу ночи,—мои часы отстают.

Далеко под нами в пруде мелькало светлое пятнышко. Оно ритмически исчезало и появлялось. Что такое? Я всмотрелся. В пруде купался человек,—он скрывался в воду, потом выныривал, потом снова скрывался.

На окраинах сел появились кучи кизяков (дров из навоза и соломы). Они виднелись и во всех дворах. Лесов уже нет,—нет и дров, печи здесь топят кизяками.

В стороне от железной дороги расположился маленький поселок с белыми домиками. Это санаторий для туберкулезных.

А степи становились все обширнее, все пустынное. Уже в селах не было ни садов, ни деревьев. Беркуты—степные орлы—стали попадаться то и дело. Они парили далеко внизу, под нами. Когда-то Пушкин гордился:

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,  
Парит неподвижно со мной наравне.

Что теперь орел для человека? Орел далеко внизу, а мы над ним несемь быстрее всякой птицы.

В половине четвертого мы завидели на горизонте слева от нас большую реку. Это был Урал. Сел стало еще больше. И... вокруг них завиднелись окопы—следы гражданской войны. Мы приближались к Оренбургу—арене жестокой гражданской борьбы.

На степь упали синие вечерние тени, очертания оврагов, сел, дорог стали воздушными. Все стало мягко, нежно, ласково,—картина совсем в духе импрессионистов.

В полях стояло много скирд прошлогодней соломы...

В конце четвертого часа мы пролетели через реку Урал—на ее берегах виднелась пышная растительность. Вдали показался Оренбург—ворота в азиатскую пустыню. Я посмотрел на часы. От Пензы до Оренбурга мы летели только четыре часа.

### VIII. Пустыня

Странное впечатление производит Оренбург сверху. Это действительно ворота пустыни. Город почти без зелени. Лишь кое-где виднеются пятна небольших садов. Серые и белые дома раскинулись на большом пространстве. Улицы к западу от собора идут параллельными полукольцами, что после прямоугольных кварталов других городов очень неожиданно. В городе много мечетей с высокими иглами минаретов. Степи подошли плотную к самому городу. Река Урал проползла по краю города. За Уралом виднелось странное сооружение: высокая каменная стена со старинными воротами отгораживала большой четырехугольный пустырь. Это древний меновой двор

(караван-сарай). Купцы Азии обменивали здесь товары с купцами Европы. Здесь собирались большие богатства. Шайки разбойников иногда нападали на этот двор. Ночами на стене ставилась сильная стража, а ворота запирались.

Мы сделали круг над городом и пошли на снижение. Я посмотрел, цело ли мое письмо. Оно, словно прилепленное к хвосту самолета, попрежнему трепетало под ветром...

На окраине города, за Уралом, расстилался аэродром, такой широкий, что подобного, я думаю, трудно найти где бы то ни было.

Когда мы были на высоте 300 метров, к нам в кабину через разбитое окно вдруг влетел огромный слепень. Зачем его занесло на такую высоту? Он ударился в стенку кабины, потом в окно.

Я опять оглянулся, цело ли письмо. Его уже не было. Оно упало на улицы Оренбурга, когда мы делали круг. (Кстати, письмо несколько дней спустя было доставлено по адресу с припиской на конверте: «Поднято 28 июня, отправлено 29».)

Почти без толчков самолет сел на аэродром. К нам от дальних построек бежали летчики и механики. Мы вылезли из самолета. Жестокотая темная трава, совсем непохожая на мягкую, ласковую изумрудную траву средней полосы, захрустела под ногами. Летчики и механики окружили Бабушкина и Грошева, жали им руки, говорили горячо и громко, обрадованные встречей. Имена Бабушкина и Грошева—этих героев полярных экспедиций—им были близки, родны, они гордились ими, «наши»... Нас повели в столовую, возбужденно расспрашивали о нашем перелете.

Уже совсем вечерело, солнце закатывалось далеко в степи,—красное, огромно степное солнце,—мы пришли назад к самолету. Толпа рабочих и красноармейцев ждала Бабушкина, чтобы просто посмотреть на него—героя, послушать его рассказ о полярном путешествии.

Бабушкин начал рассказывать здесь же у самолета.

Воздух был по-степному сух и горяч. Терпко пахло полынью, степью и... привольем. После короткого митинга Бабушкина отпустили, и мы поехали в город, за Урал, мимо древнего менового двора. Старые стены угрюмо серели, возле них паслись верблюды, поджарые, с медлительными движениями. И в этой стене и верблюдах был уже подлинный Восток, Азия.

На мосту через Урал нам попались навстречу всадники в картузах, в пиджаках, но с шапками и пиками. Это возвращались из Оренбурга по станциям отпускники-казаки. Они пели новую революционную песню на старый казачий мотив.

Река шумела в камнях, широкая, но неглубокая. Казаки на телегах везжали в воду, поили лошадей.

Множество минаретов поднималось над крышами домов. В закатных лучах солнца полумесяцы минаретов поднимались высоко к небу и опять напоминали Азию.

Поздно вечером мы вернулись на аэродром. Было так тихо, что гудело в ушах. Луна мертво освещала степь. Стены караван-сарая мрачно серели. Далеко в степи пронзительно и тоскливо кричала птица. Воздух был полон запахом полыни. Мы — в Азии.

Нам мало пришлось в эту ночь спать. Уже в час ночи мы были на ногах. Короткие сборы, короткий завтрак — и мы у самолета. На степь упал предупредительный зеленый свет. Механики с Грошевым во главе уже приготовили самолет. В половине третьего мы вылетели. Но не пролетели и пяти километров, вдруг в моторе ахнул взрыв, похожий на ружейный выстрел над ухом. Это вылетела из цилиндра свеча. Мотор отчаянно захлопал, точно кто стрелял ежесекундно из винтовки, — самолет затрепетал и повернул назад на аэродром, быстро сдвывая высоту. Мы, трое пассажиров кабины, взволновались, перепуганные взрывом и резким стуком. Но минута-две, и мы благополучно спустились на землю. В пять минут Грошев вставил в цилиндр новую свечу, и мы снова были готовы к полету.

— Опасен ли такой взрыв?

— Довольно опасен. Самолет может загореться, — сказал Грошев.

Мы, пассажиры, значительно переглянулись. «Счастливы отделались».

Еще через пять минут мы снова были в воздухе, в последний раз пролетели над рекой Уралом и повернули к югу. Солнце уже взошло. Маленький самолет пролетел низко под нами. Речка Донгузвилась по степи узкой белой лентой, и на ней виднелись селения.

Степь километров на сто от Оренбурга была вся распаханная. Мы видели с высоты большие, ровно распаханые прямоугольники совхозов и колхозов, а рядом маленькие убогие полоски крестьянских полей. Потом пошли прогалыны: степь лежала нераспаханная, заросшая темной травой. Кое-где стали попадаться большие желтые и серые поляны песка, — вестницы надвигающейся пустыни. Воды уже нигде не было видно: ни озер, ни болот, ни речек. Только иногда маленькие пруды, точно светлые глаза, поблескивали возле селений. И тут я понял: вода действительно краса природы. Как пуста степь без воды! Ни зарослей, ни кустика. Селения стоят серые, избы в них похожи на кучи глины.

В четыре часа мы пролетели над городом Илеком. Город без единого кустика. Кварталы расположились правильными квадратами среди бурой равнины. Дома похожи на коробки. Через город тянется овраг с песчаным дном — точно течет желтая река. Но вода возле города есть: на окраине четыре озера, наполовину заросшие травой, потом река Илек — извилистая, как змейка. Мы летели на высоте тысячи метров. Самолет шел ровно, без качки. Город и степь были залиты солнцем. В городе, у элеватора, виднелось множество подвод. На улицах чернели точки — люди. Стада в степи казались муравейниками. Темные тени облаков пятнали степь.

Только одну минуту мы летели над самым городом, — тень самолета проползла через городские улицы, через песчаный овраг, через озера, — и город остался позади. Опять потянулись просторы, степь, опять редкие селения.

Линия железной дороги желтой ниткой прохлестнулась по степи чуть влево от нашего пути. Она была пряма как нигде: в пустой степи не надо обходов. Лишь временами она сложной огибала глубокую долину или небольшой холм.

Возле сел неизменно мы видели старые окопы—следы гражданской войны.

С каждым часом нашего пути степь пустела. Уже меньше становилось распаханых полос, чаще встречались пески. Появились круглые овраги—точно кратеры давно потухших вулканов.

У нас на глазах очень быстро умирала степь, воздвигалась пустыня. Пашни уже были только кое-где в долинах, а между долинами бурая равнина лежала безжизненная. Через равнину прохлестнулись желтые нити степных дорог. На дорогах чернели редкие букашки—телеги.

В начале шестого часа мы пролетели над Актюбинском. Город совсем в пустыне. Дома сплошь серые. Вокруг каждого дома, точно лупыры, стояли штабеля черных кизяков. Много песчаных пятен виднелось прямо на улицах и площадях. Мечеть, церковь и элеватор запутались среди серых домов. Зелени нет. Только возле станции темнел хорошо распланированный сад. Руся двух пересохших рек желтели песками вокруг города.

За Актюбинском пустыня захватила уже все просторы. Картина стала однообразна до одурения. Пустое синее небо над нами и бесконечные бурые просторы под нами. Вот и все. Рогов и Беляков задремали, откинувшись на спинки кресел. В самом деле, смотреть как-будто было не на что. Мы будто в поезде, едешь, едешь, а из окна вагона только пески, пески и тощая растительность в низинах.

Пустыня! Вот она, пустыня. Все просторы стали бурыми, и на них, как лишай на коре дерева или как мох на сером камне, кое-где темнела пятнами трава. По пустыне тянулись неглубокие овраги с желтыми откосами. Дороги в пустыне залегают в виде белой или желтой нитки. Человек всюду ста-

рается ловить воду. Изредка попадаются колодцы и пруды. У прудов обязательно селение в несколько дворов. Стали попадаться юрты. Сверху они похожи на наперстки.—маленькие, круглые. Обычно они стоят в долинах, по 3—4—5 юрт вместе, недалеко одна от другой. Вокруг юрт бродят стада баранов. Бараны, завидев самолет, все моментально бросились в кучу, потом мчались прочь от самолета, как раз по тому же направлению. Самолет пролетал над ними. Бараны неслись безумно вперед, далеко оставив пастухов. Самолет уже обогнал их, пролетел далеко, а бараны все бегут, бегут, теперь уже вслед за перепугавшим их самолетом.

Бабушкин поднялся на высоту в 1.300 метров, чтобы не пугать стада.

В 6 часов мы увидели в пустыне речку Эмбу. Она очень маленькая, но вся долина ее обильно заросла зеленью. На берегу много юрт, в зеленях ходят большие стада. Речка на несколько минут порадовала глаз. Но потом опять пошли бурые пески, круглые овраги, похожие на опухоли или на кратеры, опять все сожжено было солнцем, все мертво.

Пейзажи были похожи на лунные,—совсем как-будто смотришь на луну в телескоп,—мертво, буро, скучно, много кратеров.

Влево от нас по горизонту заснежились невысокие Мугоджарские горы. Полотно железной дороги сделало резкий изгиб, начало колесить, делая почти полные петли. А мы летели прямо...

Мугоджарские горы тянулись на несколько сотен километров. Мы летели вдоль них больше часа. Их каменистые, похожие на ребра склоны были так же мертвы, как и пустыня кругом. Мертво, мертво. Но беспокойный человек пытается даже эту пустыню подчинить себе: у маленьких железнодорожных станций виднелись небольшие запашки. Пашня сверху кажется совсем желтой—она сплошь песчаная. Что можно посеять и возрастить на песке?

Поезд на перевал через Мугоджарские горы идет двойной тягой. Нам сверху видно: два паровоза, обильно

пуская дым, тащат длинный ряд ватюгов.

За горами пустыня стала еще печальнее. В круглых низинах виднелись белые соляные высохшие озера. Соль в них ярко блестела на солнце и была похожа на потрескавшийся весенний лед. Овраги звездой расходились от этих озер во все стороны. Земля кругом будто залпесневела: на ней всюду виднелись темные, серые и бурые пятна,—полное впечатление плесени. Сверху трудно было заметить какую бы то ни было растительность. Но, повидимому, растительность есть, потому что у оврагов мы видели юрты,—значит здесь бродят со своими стадами казахстанцы (киргизы).

Воды уже нет совсем, даже прудов нет. Только изредка встречаются колодцы. Их легко заметить сверху: к ним со всех сторон вели желтые тропы, и колодезь был похож на паука, усевшегося на паутине.

Уже был восьмой час, и мы вдаль увидели широкое озеро. Пустыня так нам надоела, что мы все — трое пассажиров кабины — задвигались, заулыбались. Наконец-то, озеро, вода, растительность, жизнь! Это было озеро Челкар — самое большое пресное озеро на протяжении многих сотен километров.

Возле озера большое селение — тоже Челкар, с большой железнодорожной станцией.

Мы сделали над озером круг и пошли на снижение. Озеро по берегам все густо заросло камышом, вода в нем ярко-зеленая, похожая на изумруд. Три рыбацких лодки маячили на его изумрудной поверхности. На берегу паслись стада коров и верблюдов. И горел костер. Песчаные отмели тянулись на целые километры. Самолет снизился над озером и сел на песчаный берег. Стада стремительно понеслись прочь от озера, в пустыню. Пастухи кинулись за ними.

### IX. На берегу озера Челкар

Минут десять мы были совершенно одни. Мы пятеро ходили вокруг самолета, умывались в озере, смотрели в пустыню.

— Вон где надо бы сесть, — показал Бабушкин на горизонт.

А на горизонте горели костры и маячила черная полоска — люди. Кругом были только желтые пески. В стороне из-за песков виднелась верхушка минарета, точно острая игла впилась в небо, а за минаретом, дальше поднималась верхушка железнодорожной водонапорной башни. Скоро из-за желтых песков показался всадник на верблюде. Он был так мал, что походил на игрушку. За всадником скакали другие на лошадях, и лошади казались совсем крохотными против верблюда. И в несколько минут пески локрылись всадниками. К нам ехали на верблюдах, лошадях, ослух. Между всадниками завиднелась бегущие люди. Слово на двигалась живая лавина. Всадники на лошадях все-таки опередили. Это были казахстанцы (киргизы). Одетые в теплые стеганные халаты, в теплых, тоже стеганых шльяхах, все со скуластыми желтыми, будто просмоленными лицами, они закружились вокруг самолета. Лошади скакали, взрывая копытами песок.

Потом двинулись верблюды. Их было много — несколько десятков, и на каждом сидело по два, по три всадника. Высокие, с высоко задранными головами, верблюды важно вышагивали вокруг самолета. На многих верблюдах сидели женщины, одетые в разноцветные платья, в красных или синих шароварах, в высоких сапогах, с плоскими шапочками на голове.

За всадниками прибежали пешие. Прежде всего, конечно, мальчуганы-казахстанцы. Они что-то пронзительно кричали, ринулись к самому самолету, под крылья, к окнам кабины. Между ребятами были и русские — из селения Челкар. С каждой минутой толпа становилась гуще, больше. На нас никто не обращал внимания. нас отталкивали от самолета плечами, спинами, все стремительно рвались к окнам кабины. Сотни рук протянулись к крыльям, к фюзеляжу, к хвосту. Всем хотелось пощупать самолет... Гортанный громкий говор встал над толпой. Толпа напирала. Впереди плотным кольцом стояли люди, а дальше, тоже

кольцом, — лошади, верблюды, ослы. Всадники об'езжали вокруг самолета, чтобы видеть его со всех сторон. И все пронзительно кричали, смеялись, махали руками.

Появилась опасность: толпа сомнет самолет. Бабушкин и Грошев забеспокоились. Среди всадников виднелся конный милиционер — тоже казак-станец. Их попросили навести порядок. Милиционер тотчас закутился вокруг самолета на лошадях, размахивая нагайками. Послышались крики: Кейт! Кейт! (Прочь! Прочь!)

Толпа отхлынула, — опасность миновала. Пришли железнодорожники со станции Челкар. Они тотчас окружили Бабушчина, Грошева. Их прежде всего интересовали они. И уже потом — самолет. А казакстанец неотрывно глядел только на самолет, и в каждом лице было непобедимое любопытство. На огромном пространстве вокруг самолета образовалось становище. Верблюды, ослы, лошади, люди — все смешалось в подвижную шумную массу. Ревели ослы и верблюды, ржали лошади, пронзительно кричали люди, — шум стоял невероятный. Иногда всадники на лошадях в'езжали в толпу, несколько не заботясь, задавят они кого или нет. Они смотрели только на самолет, а пешие уже сами должны были заботиться о своем спасении.

А по пескам издали все ехали и ехали новые всадники. Кто-то из железнодорожников сказал:

— Ну, кишляки двинулись! Будет дело!

Да, казалось: двинулась сама пустыня. Вот совсем недавно не было видно никого, а теперь отовсюду шли и ехали, прямо без дороги, по пескам. Я выбрался из толпы, отошел в сторону. Все было необычайно красочно и ярко. Толпа пестрела ярчайшими одеждами, светилась улыбками, гремела гортанным говором. На верблюдах ехали по-семейному: муж-казакстанец правил верблюдом, у него впереди сидел ребенок, а за спиной — жена, тоже с ребенком. Иногда ехали сразу: дед, сын и внук — все в халатах, в шляхах, в ситцевых штанах. Под'езжали, слезали на землю, верблюдов и лошадей!

спутывали и пускали к озеру на траву, а сами шли к самолету.

И пусть было еще утро — 8-9 часов, солнце жгло сильно, пески дышали зноем, по просторному, необычно просторному небу плыли кудрявые маленькие облака.

Становилось так жарко, что лететь дальше было опасно: уже при этом перелете у нас закипала в радиаторе вода и перегревалось масло. При большой жаре мог произойти взрыв бензина.

Бабушкин решил остаться до вечера, когда наступит прохлада. Самолет надо было перевести поближе к селению Челкар. Бабушкин сел на свое место, Грошев завел пропеллер, крикнул: «Контакт!» — Бабушкин дал контакт, мотор застучал, пропеллер завертелся, и вся тысячная толпа с гортанными криками и смехом помчалась прочь, лошади поднимались на дыбы, храпели, верблюды беспокойно вытягивали головы... Самолет медленно покатился по песку. Толпа полужольцом шла за ним. Спутанные лошади и верблюды остались позади. Люди бросились к ним, поспешно распутывали, вскакивали на них и мчались вслед за самолетом, опять не заботясь, задавят они кого или нет. На пригорке самолет вдруг накренился, ахнул выстрел — это лопнула шина колеса. О, что случилось с толпой. Она, как безумная, бросилась прочь в стороны: мужчины, женщины, дети падали, перескакивали друг через друга, лошади бешено крутились между бегущими. Но две-три минуты, — толпа опомнилась и опять вернулась к самолету. Грошев уже менял шину, — работал ключом и отверткой. Толпа уселась на песке, наблюдая его работу. Я нашел переводчика, заговорил с казакстанцами. Мне хотелось знать, что они думают о самолете. И... от четверых я услышал одинаковый ответ:

— Шайтан-машина.

Прорыв шины заставил нас отложить отлет до утра. Мы были голодны, жажда нас мучила зверски. Оставив караул у самолета, мы пошли в Челкар. Мы долго шли по сыпучим пескам. Челкар — большое селение в

пустыне. В нем низенькие глиняные домики с плоской крышей. В домах миленькие подслеповатые окна с синими стеклами. Песок холмами лежал на улице. Ветер поднимал его тучей. Некоторые дома были засыпаны песком до середины окон. На улице не было не только деревьев, но даже не было травы, — только песок, песок несся густо, сек лицо, горячий и жесткий. Унылая взлохмаченная собака со слезящимися глазами лежала на улице. И еще собаки лежали у дворов. Но, истомленные зноем, они не лаяли, — лежали беспомощно, высунув язык, дышали тяжело.

По пескам брели женщины, увязая по щиколотку. На крайнем доме мы увидели дощечку с надписью: «Улица Четвертого Конгресса».

Я не видел за весь наш путь зрелища более печального, чем эта улица со столь пышным названием...

Только в буфете на вокзале мы нашли еду и чай.

После полудня ветер и жара еще усилились. Закрутились песчаные вихри. Вся пустыня кругом заволоклась серой мглой. Дышать стало трудно, глаза слезились, сквозь рубашку на разгоряченное тело попадала тонкая и жесткая песчаная пыль.

Нужно много мужества, чтобы жить в такой местности...

Лететь при таком ветре и по такой жаре было невозможно, и Бабушкин решил переночевать на Челкаре, чтобы вылететь с рассветом.

Когда мы вернулись к самолету, возле него была только маленькая толпа: зной и ветер прогнали даже привычных казахстанцев. Но была и новость: на берегу озера, почти на всем пространстве, паслись стада быков, коров, баранов, верблюдов. Больше всего баранов. Оказалось: пастухи, чтобы посмотреть на самолет, приковывали сюда вместе со стадами.

А ветер все крутился вихрями, песок, точно снег в метель, струйками несся по поверхности земли, курился на барханах (песчаных холмах), и трудно было дышать.

И только уже перед закатом солнца жара стала спадать, ветер утих, и сра-

зу от земли до неба встала оглушающая тишина. Где-то далеко на той стороне озера перекликались гортанные голоса.

Ночь подходила медленно, и много часов на горизонте горела зеленая зари. Стада уснули на берегу озера. Комсомольцы-железнодорожники с винтовками в руках ходили вокруг самолета, охраняли. Мы пошли ночевать к железнодорожнику. На улице селения прямо на песке сидели казахстанцы, мужчины и женщины, лениво разговаривали, коротали вечер... так в русских селах мужики и бабы сидят по вечерам на зеленой траве. Собаки, отдохнувшие от жары, теперь лаяли на нас.

На квартире железнодорожника, пока мы пили чай, любезные хозяева рассказали нам множество историй о скорпионах, о черных тарантулах (каракутах), о фалангах, укусы которых причиняет смерть.

— Как же вы живете в таком краю? — спросил я.

— А ничего, привыкли. Будто ероднились с песком...

## X. Над Аральским морем

Проснулись мы в полночь и еще далеко до света пришли на берег озера к самолету. Селение Челкар спало, — даже собаки не лаяли. Спала и пустыня. На берегу черными кучами виднелись стада. С озера несло прохладой. Два комсомольца с винтовками стояли у самолета. С востока протянулись белые полосы, и стало светать. Завиднелся берег, спящие стада. Мы собрались быстро. Когда застучал мотор, к самолету стали собираться пастухи-казахстанцы. Кроме пастухов и двух комсомольцев, не было никого. Мы вылетели в 1 час. 50 минут, при свете зари. В одну минуту под нами мелькнули: озеро Челкар — теперь темное, железнодорожная станция вдали с шотухающими фонарями, спящий безлюдный поселок. Овцы все-таки успели проснуться и в ужасе метались по берегу Челкара. Бабушкин взял сразу высоту в 1500 метров, кругом стало светло, вольно, и десяти минут не прошло, как показалось солнце. Оно

всходило неторопливо (о, насколько быстрее мчались мы по воздуху!), — и огневыми стрелами сразу наполнило вселенную. Пустыня под нами загорелась красным светом. Долины еще тонули во мраке. Пески, взрытые ветром, были похожи на волнуемое море. Волны поднялись и так недвижно застыли. Высохшие соленые озера сверкали солью. Соль лежала в них пластами, будто лед. И трещины в них были похожи на трещины льда.

Конечно, уже нигде не было ни клочка возделанной земли. Только пески, пески, и в песках изредка виднелись соленые озера. Под низким солнцем озера ослепительно блестели. Мы летели над знаменитой пустыней Кара-Кум (Черные Пески).

По мере того, как всходило солнце, пустыня изменяла свое лицо. Пески румянились, местами голубели — это была замечательная игра света.

Никакой жизни в пустыне не было заметно: ни растительности, ни стад, ни человека. Железнодорожная линия виднелась далеко от нас влево. Там шел поезд с длинным белым дымом. А под нами все было мертво. Но жизнь, видимо, идет и здесь, — изредка мы видели колодцы: они казались черной круглой точкой при пересечении множества тропок. Кочевники знают эти колодцы и стремятся к ним со всех сторон. Нам сверху колодцы казались черными пауками, сидящими на светлых паутинках.

Мы летели больше часа. Солнце поднялось высоко. Карта лежала на моих коленях, я следил за нашим путем, вот-вот должно было показаться Аральское море. Мы все, трое пассажиров кабины, старательно заглядывали в окна, вперед. Наконец, на горизонте показались белые пятна. Мы решили: это море. Среди желтых песков оно светилося, словно там было разостлано бесконечное белое полотно. Песчаные волны становились больше, — это уже были барханы (холмы), почему-то с черными маковками. Все было голо. Бабушкин взял высоту в 1.850 метров. Над морским берегом обычно бывают воздушные ямы, и поэтому Бабушкин решил забраться повыше, чтобы не по-

пасть в яму. Нас начало покачивать, несмотря на всю устойчивость самолета. Белые пятна все приближались.

— Да это пески! — воскликнул удивленный Рогов.

Мы всмотрелись. В самом деле, перед нами на огромном пространстве лежали белые пески. А море было дальше, и его уже хорошо было видно: темно-глубоким полотном оно простиралось до горизонта вправо и влево. Мы быстро к нему приближались. Море текло навстречу нам. С горизонта оно шло по пескам ниже, становилось больше. На это голубой глади мы увидели белую точку, что светилась, как яркий огонек ночью. Это был парус.

Пески под нами уже лежали большими холмами.

Вот, наконец, и берег моря. Он был такой же песчаный, как сама пустыня, но между холмами там и здесь виднелись юрты, — они стояли прямо в песках. По самому берегу тянулась белая тонкая нить дороги. Две серые маленькие лодки плавали у берега.

Нас начало качать сильнее, хотя мы шли уже на высоте 2.000 метров. Большие песчаные отмели далеко вдавались в голубую воду. Прямо под нами вода была совсем прозрачна, дно виднелось на большой глубине, водоросли, точно сказочные леса, зеленели во многих местах. А немного дальше море казалось темно-синим, ближе к горизонту голубело и серебрилось. Пароход шел от села «Аральское море», казался белой маленькой хвостатой букашкой... На берегах вдаль виднелись поселения, и довольно большие. Значит море обильно кормит... Беляков обеими руками вертел ручку киноаппарата, чтобы запечатлеть эти величавые картины.

Минут тридцать мы летели над морем. Скоро завиднелся другой берег — такой же песчаный. Но селений на другом берегу было значительно больше. Большие заливы здесь далеко заходили в пески. В заливах плавало много лодок с белыми парусами. На самом берегу виднелись ряды юрт, — точно серебряные наперстки, стояли они на золотом песке. К одному заливу примыкало из пустыни множество озер. Ба-

бушкин как раз летел туда, через залив к озерам. Здесь где-то было устье реки Сыр-Дарья, и наш дальнейший путь был как раз над долиною Сыр-Дарьи. Справа и слева между песками стали попадаться кусочки обработанной земли. Встречались даже селения.

Прошло каких-нибудь пять минут, и море осталось позади нас, — стало отставать быстро, закрываться синеватой дымкой, и только белый парус все еще горел огоньком на огромном голубом просторе. Мы уходили от моря опять в пустыню. Опять потянулись пески, каменистые «серые просторы, и опять «лунные пейзажи». Но стороной все-таки шли озера, — узкие и длинные, и вокруг них густо зеленела трава. Я ждал, что Сыр-Дарья впадает в море широкой рекой. Где же она? Я долго искал ее устье и уже только потом понял: эти озера, идущие правильной грядой, и есть Сыр-Дарья. Она в это время года не всегда достигает моря. Она терется в песках. И озера не что иное, как разорванная на куски река.

### XI. Сорок минут

С каждой минутой озер становилось больше. Наконец, они соединились в одно, — по пустыне потянулась узенькая извилистая речка. Но долина была широкая, вся в яркой зелени кустарников и камышей. А справа и слева от долины была все та же пустыня без кустика, без травки. Там были желтые песчаные холмы с черными маковками, были бесконечные песчаные просторы с соляными высохшими озерами, соль в которых холодно блестела на солнце.

Часу не прошло как река выросла в полноводную широкую дорогу. Кажется, Сыр-Дарья — единственная река в СССР очень узенькая в устье и широкая в среднем течении. Вода не вся достигает моря, а отводится на поля для поливки. В пустыне, недалеко от Сыр-Дарьи, виднелись страшные картины: среди песков чернело круглое пятно, к которому со всех сторон, точно щупальцы, тянулись узкие извилистые овраги. Значит вода по весне текла по ов-

рагам в озеро, некоторое время стояла в нем, а потом ушла в почву.

Мы несколько раз перелетали через Сыр-Дарью. Вода в ней была мутная, светло-шоколадного цвета, и по ее поверхности плыли темные груды сухого камыша. На полях всюду виднелись черными чертами арыки, — так здесь зовут каналы, по которым вода отводится из реки на поля для поливки посевов. Иногда мы пролетали над рисовыми полями, залитыми водой, — они казались прямоугольными блестящими зеркалами в зеленых рамках.

В начале шестого часа мы пролетели над селением Караманчи с правильно распланированными кварталами. Река возле селения течет двумя рукавами. Железнодорожный мост гусеницей прополз через один рукав. В долине было множество поселков в 5-10 домов, и порой стал попадаться лес. Долина постепенно расширялась.

Мы летели уже четыре часа, — нам оставалось еще 30-35 минут пути до города Кызыл-Орда, где нас ждали, где специально для нас приготовили аэродром. Все шло блестяще. Этот перелет над пустыней, над Аральским морем, над Сыр-Дарьей был один из самых лучших... Вот-вот вдали должен показаться город Кызыл-Орда. Мы старательно заглядывали вперед. Вдруг страшный взрыв потряс самолет, мотор застучал так резко, словно над нашим ухом кто-то стрелял из винтовки пять выстрелов в секунду. Мы, трое пассажиров кабины, оцепенели от ужаса. Самолет стремительно ринулся вниз с 2.000 метров сразу до 1.500.

Взрыв получился оттого, что из цилиндра мотора вырвалась свеча. Обычно, как только вырвется свеча, самолет садится на землю, потому что, если оставаться в воздухе, может начаться пожар. Именно поэтому Бабушкин так мгновенно сдал высоту. Но под нами, насколько хватал глаз, были поля, залитые водой, арыки и река. Для посадки нам нужна площадка в 500 метров, а под нами не было и ста метров ровной поверхности. Сесть — значит разбиться немедленно. Бабушкин сразу понял это и... решил лететь дальше, — лететь во что бы то ни стало, искать

удобного места для посадки. Все произошло в одну минуту, — этот взрыв. Потом скачок вниз на 500 метров и опять устремленность вперед на поиски удобной площадки. Мотор работал реже, чем прежде, но так же оглушительно, — было полное впечатление непрерывной очень частой стрельбы из винтовки прямо над нашим ухом. Бабушкин сдавал высоту метр за метром, — очень медленно. Мы, трое пассажиров, сидели ни живы, ни мертвы от ужаса. Что будет? Сгорим сейчас? Или упадем где-нибудь внизу, в эти зеленые изрезанные арыками поля?

Мотор стучал оглушительно, самолет качался. У меня с колен сползла карта, упала на пол. Еще в тот момент, когда мы после взрыва полетели стремительно вниз, я застегнул свой ремень — привязался к креслу. Теперь я торопливо отстегнулся. Как знать? Может быть, придется выпрыгнуть из кабины. Что страшнее? Сгореть ли заживо в воздухе или выпрыгнуть из кабины и разбиться о землю?

Воображение понеслось, точно припорошенный конь. По некоторой случайности оно было подготовлено к такой скачке. Я хотел написать рассказ о смерти Амундсена. Теперь установлено, что Амундсен сгорел на самолете Латам. Я старательно расспрашивал летчиков и механиков, как сгорают в воздухе самолеты, — мне хотелось уяснить, что видел Амундсен в последние минуты своей жизни. Я, наконец, сам видел, как однажды на фронте человек выпрыгнул в воздухе из горящего самолета. Он, конечно, разбился, но, видимо, сгореть заживо было для него еще страшнее. И еще я видел, как на Ходынке столкнулись в воздухе два самолета. Один из них загорелся. Маленькая звездочка появилась в моторе, потом разом пламя охватило всю машину, самолет, точно комета с огненным хвостом, понесся вниз.

И летчики мне рассказывали: пожар обычно начинается в моторе, огонь мгновенно проникает через отверстия щитка и острыми копиями бьет в грудь и лицо летчика и механика. Летчик и механик от нестерпимой боли тотчас

теряют сознание. Пламя охватывает весь самолет, струи огня несутся мимо окон кабины...

Взрыв в нашем моторе сразу толкнул воображение: «Вот сейчас загоримся. Струи огня понесутся мимо окон кабины».

Минут пять я сидел оцепенев, неподвижно. Все будто умерло, кроме сердца и воображения. Сердце неистово колотилось. Ледяной холод дул в спину, поднял дыбом волосы. Не раз я переживал чувство ледяного страха. Раз на фронте возле меня разрывались бомбы, другой раз... было, одним словом. Но всегда инстинктивно метнешься в сторону, попытаешься спастись. А здесь — сиди, жди!..

В кабине пронзительно запахло горячим бензином. Так пахло и прежде. Но теперь... уже горим? Что делается у летчиков, за глухой передней стенкой кабины? Можно открыть дверцу, посмотреть. Нет, лучше не смотреть. А то другие увидят твой страх. Сиди, сиди, — жди.

Еще минут пять прошло, — стрелка высоты медленно, но упорно лезла вниз, — мы снижались метр за метром.

И почему-то страх стал пропадать. Вдруг разом хлынуло буйство. «А, черт, умирают раз... неизбежно».

Помню, я засмеялся. Мне захотелось вскочить с кресла и поплясать, — вот здесь, перед окном. На зло судьбе!

Я поднял с полу карту, достал из кармана часы, посмотрел. 5 часов 45. Я стал записывать в тетрадь, как делал всю дорогу. «Вырвалась свеча. Скакнули вниз с 2.000 метров до 1.500. Сесть негде: все изрезано арыками. Мотор стучит оглушительно. Неприятно. Бабушкин решил тянуть дальше, выбирает место для посадки». Я старался, чтобы у меня не дрожали руки. Я посмотрел на Рогова, — он сидел лицом ко мне, бледный, с круглыми глазами. Он что-то кричал мне, — за стуком не разобрать. Я наклонился близко к нему, а он ко мне.

— Сгорим! — изо всех сил крикнул он.

Я махнул рукой, Беляков тронул меня за плечо. Я оглянулся.

— Конеч! — закричал он мне прямо в ухо.

Как это ни странно, но мы в эту минуту смеялись. Или «на миру и смерть красна»? Или мы уже так переболелись, что «тропал» весь страх?

Еще пять минут, десять, пятнадцать. Буйство прошло. Мотор все стрелял. Самолет качался из стороны в сторону. Долина Сыр-Дарьи была все такая же: арыки, поля под водой, кусты, — сесть негде. И опять страх капля за каплей наполнял сердце, грудь, руки. Физически чувствовалось, как он разливается по всему телу. Лихорадочно думалось о Москве, о близких, о работе. «Сейчас, сейчас вот смерть!»

Потом опять толчок, — страх пропал, — и почти спокойно я стал смотреть вниз, на Сыр-Дарью, на поля, на поселки. В долине все чаще стали попадаться селения, юрты, караван-сарай (степные гостиницы). Высота была уже 780. Уже видны были люди — как они выбегали из юрт, долго смотрели нам вслед. Бараны метались на полянках... Чем ближе становилась земля, тем больше появлялось надежды: авось, спасемся! И страх проходил.

Должно быть, то же самое переживали Рогов и Беляков. Рогов вдруг начал метаться от окна к окну, высматривал, далеко ли Кзыл-Орда. То сразу он утихал, сидел неподвижно, без кровинки в лице. Беляков откидывался в кресло, сидел с закрытыми глазами. Или хватался за ручку киноаппарата, отчаянно крутил, — снимал надвигающуюся на нас землю.

Так все трое мы переживали то ужас, то падение страха. Незабываемое впечатление!

Мы летели уже совсем низко над долиной. А сесть все-таки было негде. Арыки протянулись по всем полям, теперь их было видно очень четко. Видно было, как по ним бежала вода.

Тридцать минут, тридцать пять... Наконец, вдали завиднелись высокие деревья, растущие правильными рядами, и между деревьями — серые здания. Это Кзыл-Орда. Там приготовлен аэродром специально для нас. Ура! мы ожили, засмеялись, закивали ободрительно друг другу головами, сказали бы что-нибудь бодрое, да чельзя: мотор все так же оглушительно стрелял...

## XII. Крушение

Мы подлетали к Кзыл-Орде уже на высоте ста метров. Город казался сплошным садом. Сыр-Дарья делает здесь крутую излучину, и как раз в излучине мы увидели горящие костры, толпу народа, широкое поле и на поле белые знаки в форме букв «т». Рогов и я быстро пристегнули себя к креслам, чтобы в случае «капота» (т. е., если самолет спотыкнется и опрокинется) не удариться головой о потолок или стенку кабины. А Беляков опять жадно схватился за ручку киноаппарата, открыл окно, начал снимать, направляя объектив на город и на реку.

Сыр-Дарья приблизилась. Мы пролетали над нею на высоте в пятьдесят метров, потом сразу пошли на снижение. Под нами пронесся берег, на берегу кусты, потом край аэродрома. Чувство глубокой радости наполнило все тело. Наконец-то мы спасены! Колеса самолета коснулись земли раз, другой, третий. Толпа справа от нас пронеслась мимо. Вокруг аэродрома стояли часовые, но двое из них вдруг побежали прочь, — самолет несся прямо на них. Вот и граница аэродрома, а самолет все мчится, — и со страшной силой мы выскочили за границу, ворвались в кусты. Самолет судорожно запрыгал, что-то в нем затрещало, зазвенело, — потом кусты сразу оборвались, — дальше был глубокий сухой арык, и самолет со страшной силой ринулся в него. Меня страшно рвануло, — ремень врезался в грудь. Окна резко звякнули. Из-под моего кресла, где стоял ящик с инструментами, пулями полетели в потолок кабины винты, гайки, клещи, — а от потолка с резким грохотом упали на пол. Ручной киноаппарат, что был позади меня у Белякова возле ног, запрыгал у передней стены кабины, а я не заметил, как он пролетел мимо моего плеча. Но момент, — и все стало тихо. Густая пыль медленно крутилась вокруг самолета. Я поспешно отвязался, открыл дверь, высочил наружу. За мной Рогов, Грошев, Бабушкин, Беляков. Самолет стоял весь исковерканный. Все пятеро мы переглядывались круглыми удивленными

глазами и... начали смеяться. Беляков обеими руками держался за лоб. Огромная красная шишка сияла у него возле виска. Его лицо резко изменилось от этой шишки. Ему очень больно? Но он смеется так же, как мы.

Самолет разбит, а мы смеемся. Что с нами? Пусть разбит, — мы живы, живы. Пропеллер был сломан, — измочаленным изломом он торчал кверху. Шасси, колеса, хвост, фюзеляж — все было исковеркано. А мы смеялись. Первым опомнился Бабушкин:

— Вот, чорт возьми. Ну, аэродром. Приготовили же.

— А что?

— Короче воробьиного носа.

Эти трезвые слова были, как холодная вода нам на голову: мы сразу перестали смеяться.

Ломая кусты, к нам бежали люди. Прежде всех прибежал корреспондент «Правды Востока» и направил на нас фотографический аппарат. Людей вокруг нас сразу стало много. Они со страхом смотрели на нас. Они удивились, что мы живы — все пятеро.

— Живы? Целы?

Кто-то жадно заглядывал через разбитое окно в кабину, вероятно, хотел увидеть там убитых. Нет, все живы. Все, кто подбегал к нам, спрашивали:

— Живы?

— Живы. Вот только один разбил голову. Не успел привязаться ремнем.

Прибыло и местное начальство, — председатель исполкома, председательница городского совета.

— Как это случилось?

— А какая длина вашего аэродрома? — спросил Бабушкин.

— Триста-четырееста метров.

— А нам надо пятьсот. Вот поэтому и случилось.

Грошев, — как всегда, прямолинейный, — вдруг сценил зубы, отвернулся, проворчал:

— Приготовили ловушку!

И всем сразу стало не по себе.

Я взглянул на часы: 6. 25. Значит сорок минут мы летели под страхом сгореть в воздухе заживо.

## 2. КОРПУСА, КОТОРЫЕ НЕ СДАЮТ

Николай Ассанов

### 1. Возникающие паровозы

Стены чертежного бюро больны туберкулезом. Они покрыты пупырышками застоявшихся запахов и разбрызнутой туши. Тушь брызгает из бледных немощных рейсфедеров на стандартную бумагу. Калька и ватман плывут по столам, за которыми согнулись юноши невзрачного вида. Они скрипят частями своих сложных орудий, и паровоз распластывается в одной плоскости на белых листах. Человек упорно рассматривает замысловатые фигуры, нежные фортели карандашных набросков, взлетающие взрывы точек, поющие крылья и параболы, затем он небрежно тычет пальцем в возникающие чертежи и говорит:

— А это коленчатый вал для самого мощного дизеля. Посмотрите, какая четкость, однако...

Слушатель смотрит и удивляется. Но старый чертежник знает, что слушатель ничего не видит, и не обижается. Мало ли что он знает и что никто из окружающих его не понимает. И старый чертежник (ему двадцать два года) снисходительно хлопает слушателя по плечу. Он предлагает пройти в модельный цех и там посмотреть выполнение его замыслов. Калька и ватман и еще двадцать два сорта бумаги машут вслед уходящему белыми крыльями и улыбаются подкрашенными ртами цилиндров. Так начинается Коломенский завод.

Площадь завода забита до отказа. Темные здания старых цехов насту-

пают на мизерные площадки, где гордо сияют меловые надписи: «Площадь № 3», «Площадь № 7». Тугие ленты узкоколеек и привычных железнодорожных полотен теряются в пространных цехов, неожиданно вылетают из-за угла и грохочут сотней паровозов и паровозиков всех систем и окрасок (больше без краски. Она слетела на ветру и работе). «Кужушки» пищат пронзительно и нервно, пытаются не дать дороги «декаподу», и люди прыгают между истеричными паровозиками, спокойными кранами и дребезжащими составами вагонеток. С углов бьют красные руки с вытянутыми пальцами: — Берегись паровоза! — кричат они. Так встречает завод.

\* \* \*

Белая пена стружки. Кровавые чудища с черными отметинами, с засохшими до черноты ранами плавают в белой пене. Верстаки, как неведомые корабли, пробиваются сквозь буруны и рифы пиленого, тесаного, рубленого, отструганного и вообще дерева. Аквамарином и рубином пылают краски в железных бочках и бачках. Неживая доска прыгает на верстак и вот она уже оживает. Она приобретает формы. В нее выливается содержание синего листа бумаги, по которому льются белые нежные ручки неведанных замыслов старого чертежника.

Рюк разрезает воздух греческим носом. Рюк закутан в кашне и кажется слабым, он болен сегодня, но уйти из цеха ему нельзя. Итак, заведующий модельным цехом, швейцарец, сбежавший от «демократии» и тюрьмы, тов. Рюк подходит к моделям. Он говорит плохо, но говорит с пафосом.

Он говорит, что модельный цех плох. Он зажигается надеждой на то, что новый цех будет прекрасен. Новый цех скоро начнется постройкой. Он говорит о точечной системе работы, похожей на конвейерную, но без ленты. Он показывает разные сорта дерева в одном конце цеха и разные модели в другом конце. Он негодует на тесноту. Он рассказывает, как долго ему пришлось протестовать против семича-

сового рабочего дня. И как его поддерживали рабочие. — Ибо, — говорит он, — семичасовой рабочий день невозможен из-за тесноты в помещении, из-за изношенности основного инструмента. — И он показывает чертеж, который только сегодня показал старый чертежник.

Все так же нежно плывут белые ручки по синей бумаге. Все так же непонятно сияют пунктиры. И так же неведомы диски. И Рюк показывает чудовищное багровое тело с черными накладками, пустотами, выемками и наростами. Тов. Рюк показывает чудовищное уродливое тело и говорит, коверкая русско-немецкие слова: — Это коленчатый вал для дизеля, а эта паровозный цилиндр, которая крыльцы-пыално сделан на тот чертеж...

Я смотрю на неживые бумаги, на живую и безобразную модель. Я знаю цилиндр, и я не верю. Так опарашивает завод.

\* \* \*

Пара слов о тов. Рюке.

Его, больного туберкулезом, направили в Поволжье. Он поступил в Интернациональную Коммуну. Когда в коммуне не осталось ни одной неисправной машины, когда все молотилки заработали совершенно правильно, тогда тов. Рюк, индустриальный рабочий, приехал в Москву и попросил путевку на работу. Его командировали на Коломенский завод, где он и устроился в модельный цех в 1925 году.

Ему не давали покоя недюжинные организаторские способности. Как в Коммуне Поволжья, где он из разломанных частей соорудил новые машины, здесь он также повел борьбу с расхлябанностью цеха.

Уже через год тов. Рюка выдвинули на должность мастера. А когда оказалось, что старый зав вообще плохой работник и что вся работа лежит на плечах Рюка, его назначили завом цеха. И до сих пор Рюк мечется по цеху и заводууправлению. Мечется по делам старого цеха, по непрерывке, по планам нового цеха. Дело в том, что рационализаторы из Гомзы прислали

исключительный по своей безграмотности план новой модельной. Силами местных инженеров план был забракован. И Рюк сам сочинил новый проект цеха. Проект идет из инстанции в инстанцию, и Рюк все еще пишет докладные записки к нему. Его голубые глаза и замотанное в кашне горло — оба вместе кричат и сверкают на производственных заседаниях. Работать дальше в условиях теперешней постановки цеха нет никаких возможностей. И Рюк ходит из цеха в заводуправление и обратно. В конце концов, он выходит.

\* \* \*

А, впрочем, модели уже давно выехали из цеха. Семен Петрович, тридцать лет проработавший в цехе и потерявший в нем все свои волосы, стирает лысую голову и что-то говорит. Что он говорит, — неслышно, однако, губы его неумолчно шевелятся, и кран, ползущий навстречу, заставляет его только пригнуться, отнюдь не мешая высказывать неслышные истины.

Крохотные глазки Семена Петровича сокрушенно осматривают рыжую и рыхлую землю, разбросанную по цеху. Чугунолитейный цех говорит на своем металлическом языке и издает ему свойственные запахи. Странно только то, что цех шажет... навозом. Простым коровьим и лошадиным запахом, присутствующим, кажется, только полям. Нагнувшись, убеждаешься, что навоз действительно лежит под ногами. Он, смешанный с землей, забывает опокучугунные решетки с моделями.

Вагранка пылает ровным жаром, и пронзительный свист прогоняемого сквозняком металл воздуха режет уши. Семен Петрович укоризненно кивает головой на артель формовщиков. Формовщики стоят на корточках перед ящичком-опоккой и старательно сглаживают поверхность земли. Форма только-что вынута, и сырая земля похожа на землю с поля, плохо хлебородную землю Подмосковья. Формовщики разговаривают о налогах. Вот на что кивает Семен Петрович. И завод с девятью тысячами рабочих тихо линяет. Железное небо цеха расплывается в

секундной тишине и на его место встает бледно-синее, такого трупного цвета небо над деревней. Формовщики говорят, и в индустриальном гуле резко звучат слова о «налогах, которых много», о «хлебоготовках, которые душат бедных людей», о многом другом специфическом для разговоров этих середнячков, которые сродни богатеям, но очень страшном для литейного цеха одного из крупнейших заводов. Очень страшном.

И Семен Петрович качает головой, на которой нет ни одного волоса. Волосы с'ел завод, но Семен Петрович не винит его. Зачем? Завод дал ему очень много. Семен Петрович один из первых приветствовал начинание комсомольцев по соревнованию. Он один из первых выступил на конференции старых металлостов. Он говорит о процентах рабочих, связанных с сельским хозяйством. Он сожалеюще произносит: — 73 проц.!

Итак, в Голутвине появились новые железные крыши. Итак, крыши красились в приятный и сердцу и глазу хозяйскому красный цвет. На крыши шла краска, которой, это было доподлинно известно, не было на рынке и которая отпускалась по книжкам в кооперативах. Итак, новые дома возводились в Голутвине и окружающих Коломзавод деревнях. Новые дома с железными крышами, окрашенными в приятный цвет. Было крайне странно обнаружить при случайном обыске в кармане у всеми уважаемого рабочего с тридцатилетним стажем, товарища Семену Петровичу, обнаружить в карманах этого производственника две бутылки с дорогой и приятной глазу краской. Еще странней было найти у него в погребе до 3½ тонн этой самой краски. Но Семен Петрович утверждает, что это не страшно. Ведь он, то-есть этот самый рабочий, бывший друг Семена Петровича, имеет семью и дом, имеет хозяйство и скотинку! Так он платит заводу. И их очень много. Не правда ли, это очень много — 49 проц. связанных с сельским хозяйством?

Их гонят, но они специалисты, а завод нуждается в специалистах. Это

они настороженно смотрят на ударные бригады в заводе и срывают красные обозы в селле. Они упорно смотрят на завод, как на исконного врага, и о них неустанно премит печатная газета «Наш завод»:

«Требуем решительных мер к дезертирам трудфронта.

Коммунист Карасев и рабочий Слонов (тендерный цех) 4 ноября самовольно прогуляли по полдня, уехав в деревню Сушково праздновать «Казанскую».

Мы требуем от партийной ячейки цеха и администрации принять к Карасеву и Слонову — дезертирам трудфронта — самые решительные меры. А р е м и з».

Но расплавленный чугун льется из вагранки, и опоки стоят на своих местах. Я еще посмотрю на них. Я еще не вижу того цилиндра, который я должен был бы увидеть здесь. Нет. Его еще нет. Так задерживает внимание завод.

Общий средний  
вып. завода до  
момента сорев.  
октябрь — апр.  
28/29 г. 74% от  
заданной прог-  
раммы

Паровозострое-  
ние октябрь —  
апрель к сред-  
не-месячному  
заданию 77%

Дизельстроение  
октябрь — апр  
к средне-месяч.  
заданию 54%

Вагоностроение  
октябрь — апр.  
к средне-месяч-  
ному заданию  
84%

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| Май . . . . .    | 101% | 127% | 76%  | 93%  |
| Июнь . . . . .   | 139% | 194% | 82%  | 430% |
| Июль . . . . .   | 112% | 130% | 115% | 79%  |
| Август . . . . . | 99%  | 112% | 80%  | 89%  |

Она падала, эта простая диаграмма, до октября. И октябрь дал новый перелом в работе. Октябрь опять повысил выработку, ибо конференции бригад дали толчок в будущее.

Около трех десятков кранов ползет одновременно по цеху. Приводные ремни пересекают его во всех плоскостях и направлениях. Они бесшумно скользят, и станки содрогаются под их усилиями. Новые части машин вздымаются в воздух и летят в горьком от масла и шума цехе. Горечь осядет на усталые лица. Но это пустяк. То ли в котельном! Но к котельному я вернусь... Я хочу сказать, что все 26 цехов соревнуются один с дру-

\* \* \*

Героем дня было знамя. Рабочие, делегаты парового цеха, кланялись очень неумело. Овация катилась по рядам конференции ударных бригад. И паровозники унесли переходящий приз — знамя общезаводского комитета — в свой цех.

В паровозо-механическом цехе я, наконец, нахожу тот самый цилиндр. Цилиндр старого чертежника, цилиндр Ивана Яковлевича из модельного цеха и цилиндр Семена Петровича из литейного. Однако, он совсем не такой. Цилиндр зажат фрезерным станком, который обтачивает его вертикальным резцом. Цилиндр должен как можно скорее попасть в паровозосборочный цех. Рабочий поправляет резцы, и станок идет полным ходом. Летит стальная стружка.

На станке рабочего лежит газета. Цифры, очень строгие и простые цифры, смотрят с газетного листа:

гим, и что Коломзавод является ударным в соревновании между тремя великанами социалистической индустрии. Я еще раз повторяю величественные и громкие имена:

Красное Сормово.  
Красный Путиловец.  
Коломзавод.

Я хочу еще сказать, что из 9.600 человек рабочих соревнуются: 149 бригад,

1737 индивидуально соревнующихся, всего 6.035 охвачено соревнованием.

Ремни пересекаются во всех направлениях. Цилиндр идет по системе потока с обдирки в обточку, из обточки

в шлифовку, и вот перед ним открыты ворота паровозосборочного цеха.

Перфораторные молотки рвут воздух и металлические ткани. Рама паровоза плывет в воздухе. Она становится на колеса... Мостовый край несет ее на себе. И постепенно ни на что непохожая рама обрастает стальными мускулами. Она уже дышит. Уже артерии бегут по стальному телу. Уже пар разведен в котлах. Уже паровоз дает свисток. Он уже уходит из цеха. Он идет в свой пробный путь. Он проходит 40 км. и возвращается, гордо дыша накрашенными боками. И затем он красится. Он красится и ежедневно он уходит из цеха, чтоб не возвратиться. Совершенно неважно, что уходит один паровоз в день. Это все тот же. Он серии «Э — 730 — 09». Вот они стоят перед глазами — тридцать паровозов в разных фазах своего развития.

И если б я захотел поразить чело века, не верящего в социализм, если б я захотел переубедить его, я бы привел его в Коломзавод. Я бы показал ему только что вышедший паровоз. Я прикрепил бы к его сцеплениям состав из только что выпущенных вагонов и загрузил состав дизелями для страны. И он, увидав ежедневный нагруженный состав, перестанет сомневаться.

А мой цилиндр, за которым я следил эти дни, уже встал на свое, предназначенное чертежом место. Этот паровоз, заказанный НКПС'ом, завтра уйдет в продолжительный путь, может быть, он повезет красный обоз хлеба для Коломзавода? Может быть, он повезет хлопок для Иваново-Вознесенска? Почему знать? Я доволен тем, что знаю одно: он одинаково хорошо повезет все.

## II. Котельный

Без пяти семь Прутков подходит к заводу. Он чуть раскачивается на кривых ногах и подставляет лицо под снег, смешанный с дождем. Слякоть падает косо, и ветер обрывает провода. На улице еще темно, и лица людей, проходящих мимо, неразличимы и безразличны.

В проходной Прутков сталкивается с Семеном и Василием. И тот и другой возбуждены и не замечают ни косога снега, ни ветра... Они плывут в утренних сумерках, в мигании тусклых ламп и размахивают руками, как опытные пловцы.

Николай Николаевич здоровается с ними.

Семен и Василий работают в бригаде Николая Николаевича. Они оба коренасты и подвижны и, вынырнув из проходной будки, теряются на фоне сумерек рядом с высокой и неуклюжей фигурой Николая Николаевича.

Но они уже привыкли к несоответствию своих величин и не смущаются. Василий басит, и голос его рвется в сыром и прелом воздухе. Обрывки голоса теряются в темноте, и Прутков слышит непонятное жужжанье:

— ...ремню... ду... да... ать... водни...

— Да повтори, чорт! Ничего не слышно... — и, не отвечая содержанию фразы, голос Николая Николаевича бухает ласково и поощряюще.

— Премию, говорю, сегодня давать будут... — уже громче кричит Василий.

— Добро! добро! А кто говорил-то? — интересуется Прутков.

— Малросов вчера вечером сказал...

— А-а...

И уже замолчав до цеха, товарищи проваливаются в пустоты утра.

\* \* \*

Писатель Гончаров возмущался английским произношением. Но русское произношение в котельном цехе, наверное, сразило б его насмерть. Перфораторные молотки приходят в действие с семи утра, и никакая сила не может остановить их гвалт. И русский язык в цеху теряет свою сущность, свои мускулы. Остается один костяк из Р... З... Д... Котельники смотрят в рот товарища и понимают слова на взгляд, а не на слух...

Николай Николаевич ушел к соревнующейся с ними бригаде. Ребята подкачали, и у них мал запас труб. Он пошел говорить, а может быть, и ругаться.

Остальные восемь человек разошлись по своим местам, и черный ци-

линдр паровоза грохочет жалобно и просаще... Тонкие и длинные трубы вползают в полое тело цилиндра. Они извиваются своими блестящими боками в гуде молотков, и непрерывный звон металла сокрушает слух. Трубы ложатся вдоль котла, как живые. Они ползут и прыгают. Бригада ставит рекорд быстроты, и мускулы тел живут отчетливой и полноценной жизнью. Они автоматически, не требуя затрат умственной энергии, подают нужные делу инструменты, подхватывают на лету падающую трубу, ставят заклепки и направляют молотки. Мозг контролирует, проверяет движения мускулов, и он спокоен. Работа идет точно и быстро.

Прутков возвращается, и его мощное тело напрягается новым усилием. Однако, молоток дважды соскальзывает с заклепки. Значит бригадир сердит. Ребята знают этот признак и ждут. Пять минут спустя губы Пруткова начинают иронически кривиться, и ребята слышат (наполовину видят глазами), что Прутков недоволен вызванной бригадой. Они снова опоздали с подачей труб. Остальное откладывается до обеденного перерыва. Работа требует тщательного внимания, и бригада теряет из виду шевелящиеся, иронически скривленные губы Пруткова. Бригада торжествует победу ловкости и натренированности мускулов. В цехе глохнут все остальные звуки, и только грохот молотков бригады рассыпается косым и упорным дождем. Положим, это только кажется. Ибо весь цех загружен грохотом и железом. Двусветное здание наполнено громыхающими людьми. Люди глохнут от собственных инструментов, но они слышат их стук. Для них теряется грохот остального цеха. А паровозные котлы требуют осторожного внимания. Они стоят в цехе чудовищными левиафанами с грубой, шершавой железной кожей, с полувывалившимися внутренностями, и юркие человеки влезают в их распоротые желудки, рубят их изнутри, клепят снаружи и снова бросают, чтоб передать другим, которые зашьют пока еще болтающиеся без места вну-

тренности, прибьют последнюю шляпку последнего гвоздя, чтоб передать в следующий цех.

\* \* \*

— Разговорчики! — сказал Шаламов и, отвернувшись, стал смотреть в мутное стекло, по которому стекали скользкие лучи солнца. Помолчал с минуту и добавил: — Разговорчики!..

Прутков оглядел цех. Люди ушли в церковь. Гудок только-что смолк, и теперь они стояли длинной очередью около железных ворот, крест с которых какой-то шутник прибил к уборной. Они ждали горячих щей, жаждали скорей разместиться за длинными с зелеными клеенками столами, разбежавшимися по каменному полу бывшей церкви и забравшимися на алтарь. Людей в цехе не было, и никто не мог помешать его разговору с Шаламовым.

Шаламов барабанил пальцами по стеклу. Он производил непрерывный дробный стук, словно где-то далеко, за воротами цеха, а может, и завода, работал неугомонный перфораторный молоток. Стук нервировал Пруткова, и его руки, покрытые ссадинами, грязью и копотью, из-за которых еле проглядывала татуировка — матросский паспорт старого матрогона Пруткова, — его жилистые руки дрожали нервно и вызывающе.

— Разговорчики!.. — снова повторил Шаламов и повернулся к цеху. Он осмотрел его привыкшим за двадцать лет взглядом, но сегодня пустота обеденного перерыва его как-то затрагивала.

Машины стояли неловко, и их неудобные позы говорили, что они брошены в спешке. Голые костяки котлов клонились во всех направлениях. Прорезиненные рукава от резервуаров сжатого воздуха беспомощно ползли по земле. Они кружились спиралями и текли вытянутыми щупальцами. В призрачной темноте цеха они оживали и казались недобитыми гадами, стремящимися уползти в какие-то норы. Их окончания пропадали в котлах, в кипах листового железа, в рамах. Было пусто и странно тихо.

И, взглядевшись в тишину и пустоту цеха, Шаламов неожиданно заговорил, почти закричал:

— Дурья ты голова! Ничего у нас из этого не выйдет! «Соревнование... Комсомольцы»...—передразнил он Прутковва.— Что мне комсомольцы! Они ведь не серьезно. Они ж балуются, а ты-то — дурень! Ты только подумай! Половина и у меня в бригаде и у тебя — крестьяне. Разве они согласятся! Соревноваться еще туда-сюда, — все равно на сдельной сидим, это еще они поймут, а расценки снизить — это шалишь! Не на тех, брат, напал! Да ты заметь, что тут такой тарарам подымется, что и завком твой шаг не подойдет... Нет! Нет! лучше и не говори.

Шаламов замахал руками и бросился к выходу. Матрос схватил его за воротник, повернул к себе лицом и, держа дергавшегося, неудобно схваченного Шаламова, снова заговорил:

— А ты им объясни! Скажи, что моя бригада согласна. Как же я-то уломал своих! Эх, ты... — тут он добавил довольно сильное слово. — Какой же ты производственник, металлист, ежели ты, когда вся страна...

— Брось, брось... — Шаламов еле мог говорить. — Ты меня отпусти, я и так не уйду, а насчет политграмоты — я и сам знаю...

— Какая тебе политграмма. По соревнованию тебе, старому металлисту, какие-то мальчишки комсомольцы нос утерли...

— Какие мальчишки?.. — Шаламов разгорячился. Прутков освободил его воротник от своей руки, и тонкая усмешка прошла под его усами. Он поймал Шаламова. Старик, — хотя ему было только 47 лет, Шаламова все называли стариком за стаж, за нрав, за воркотню, — старик потял. Они еще говорили минут десять и вместе вышли к столовой. Навстречу шли рабочие обеих бригад. Они смотрели на двух веселых бригадиров, и только рабочие прутковской бригады понимали в чем дело. Шаламовские еще не знали толком, но догадывались. Солнце текло полными лучами, и ветер чуть шевелил волосы. На дворе кончался май.

Через три дня бригада Прутковва вызвала на социалистическое соревнование бригаду Шаламова. А первого июня бригада Прутковва объявила себя ударной и снизила все расценки на трубостачные работы на 10 проц. Бригада Шаламова снизить пока отказалась. В ней действительно главный кадр составляли крестьяне окрестных деревень. Такой подвыг им был не по плечу. Но ударники не сердились. Им было пока достаточно и того, что они проделали.

\* \* \*

Делегаты бригады Прутковва вернулись из Москвы. Они ездили на экскурсию в счет премии. Остальные получили радио, литературу... Цех с каким-то новым интересом присматривался к ударной группе. Ходили цифры, летали слова, сказанные бригадой при получении премий. Старый рабочий говорил с комсомольцем из второй ударной, удерживая его за пуговицу:

— Нет, ты постой, ты скажи, как это так? К примеру, прутковцы повысили интенсивность на сто семьдесят шесть процентов, а вы — молодежь — вы до ста только догнали. Или, скажем, расценок они себе снизили, а все, как ни смотри, до ста десяти процентов приработку догнали... А вы-то что же отстаете? Ведь ежели так, то я, к примеру, могу тебя вызвать и в доску забить!.. Ты не гляди, что мне под шестьдесят стужнет...

— Ну, и вызывай! — досадливо отмахнулся комсомолец. Он уже хотел уходить, когда старик оцетинился и вдруг закричал:

— И вызову! Смотреть буду на шалопая: «вы-зывай!» — подумаешь, хлопот нашелся! А что я хуже тебя, што ли! Твоей матери на свете не было, когда я горького пота хлебнул...

Разгорячившийся старик махал руками, притопывал, и на крик собралась уже толпа. Гудка еще не было, и рабочие столпились, наблюдая сценку. Комсомолец уже не пытался уйти. Он стоял перед стариком и посмеивался над его вспыльчивостью.

— Они ведь ни одного прогула за все время не сделали, а вы? У вас за месяц три прогула было. Болел? Подумаешь, какой барин. Он «болел!» — и старик, выпятив грудь, пошел по цеху под общий хохот. Рабочие напирали. Кто-то крикнул и все гуртом подхватили.

— Так его, Митрич!

— Громи, громи... Ты в стороне, тебе можно!..

— Вызови его, Митрич!

— Правильно, вызывай, чего тут! Индивидуальное соревнование, Митрич! Вали, старина!

— И вызову! Потому страна в такой период попала... рс... риску... — старик смешался и закончил: — рискнутивный период, говорю, и потому вызываю на индивидуальное соревнование! При-машь вызов али нет? Ну?!

Старик напирал на парня. Тот оглядел улыбающихся товарищей и крикнул: — Принимаю!

— Пиди договор, — закричали рабочие.

Откуда-то вынырнул лист бумаги и испуганной птицей взлетел над головами. Парень примостился на котельных листах, и, пачкая ржавью бумагу, вывел:

«договор»...

Когда Митрич подписался на смятом листке, сотня голосов разом подхватила чей-то возглас:

— Качать Митрича! Сережку качать!

И не успел Митрич спохватиться, как взлетел под железный потолок цеха. Падая сверху вниз, он постоянно видел взлетающие ноги Сергея или смеющееся лицо. Гудок, внезапно возникший над цехами, чуть было не послужил причиной разрыва договора. Рабочие, забыв о взлетевшем Митриче, кинулись на свои места, и только случайно Сергей, раньше очутившийся на земле, и еще два-три шарня, удержали старика.

Идя рядом с Сергеем, старик похлопал его по плечу, и, отворачивая в угол, крикнул.

— Так ты смотри, хлюст! Договора чтоб не забывать... Робить так робить!..

Сергей улыбнулся и взялся за инструменты.

\* \* \*

Котельный шел в наступление. К осени он почти целиком соревновался внутри и шел одним из первых в межцеховом соревновании. На конференциях старых металлистов и бригадников он выступал сплоченным коллективом. Прутков смотрел на крестьян, недавно пришедших в цех, и подмечал уже другие интонации, коллективистические навыки, бойкую работу. Бригадники уехали в деревни и там вели бои по всем фронтам... Работа налаживалась, как иногда говорил он, «на три пальца».

В октябре случилась заваруха. Одним далеко не прекрасным днем трем бригадникам пришлось уйти на поденную работу. Нехватило дела в цехе. Ударники были брошены на переноску материалов. Хотя оплата была назначена по среднему заработку, ребята стали жаловаться. Квалифицированных рабочих послали на двор! В цехе шли пересуды. Снижение расценок застряло на месте.

После трехдневной работы на дворе Прутков созвал стариков, а потом повел поход на завком и заводоуправление. Было выкурено много махорки и папирос, были удары кулаками по столам и договорились как-то сразу.

Председатель завкома и ОЗПК вместе с Прутковым двинулись в контору, пересмотрели ведомости, и директор согласился. Он согласился перебросить часть заказов для завода, сданных в другие производства, снова к себе.

Когда котельники получили наряд и материалы, по цеху прошел грохот довольства. Хохотали и улыбались. Слившийся за период наступления цех праздновал новую победу. Ударники могли гнать работу. Их интенсивность не была больше под угрозой. Заводоуправление поняло, что под'ем не на один день или месяц. Заказы принимались уже из расчета на поднятую вдвое по сравнению с прошлым годом производительность труда.

Ударники праздновали победу. Уверенность их движений поражала новичков. Рука тянулась ровно туда, жу-

да следовало, и ни на миллиметр дальше. Молоток падал через определенный промежуток. Цех шел плечо к плечу. Он уже не тянулся, как это было месяца два назад, он догонял ударную бригаду. Лестной целью было — перегнать!

Боязни падения заработка от снижения расценок уже не было. Интенсивность взяла свое, и цех торжествовал победу ударников, как свои достижения.

По улице падал снег. Он валился тяжелыми мелкими хлопьями, и рельсы, выброшенные заводом, скрывались под ним. Из проходной будки непрерывным потоком шли люди. Завод только дал сменный гудок. Беря бляху, Прутков столкнулся с чьей-то рукой. Он посмотрел под свою руку. Рядом с ним стоял Шаламов. Он подмигнул приятелю, и они вышли вместе.

— Ну, что же? — Прутков выжидающе посмотрел на курносое лицо Шаламова. — Разве я был неправ?

Его глаза рассмеялись, и тонкие лучики морщинок разбежались от них.

— А я разве спорю? — ответил тот. — И сам не без понятия. Ребята меня только смущали.

— А теперь?

— Что теперь? Чай сам видишь! — И Шаламов махнул рукой на прощанье, заторопился домой.

Прутков хотел что-то еще сказать, но только погладил частую щетину бороды, улыбнулся и промолчал.

### III. Ловля душ

Вагин скучал уже вторую пятидневку. Наконец, это состояние стало привычным и близким. Казалось странным, что было время, когда он — комсомолец Вагин — был весел и доволен, когда он — комсомолец Вагин — первый запевал песни, первый выдумывал игры, когда он ежедневно встречался в клубе с Веркой, — Верка работала машинисткой, но была в сущности славной девчонкой, такой же, как он, веселой комсомолкой.

Нет. Этого времени не было. Лишний и тошный снег уже давно падает и тает, тает и снова падает. И Верка уже

давно не ходит в клуб, она предпочитает театр — ведь она стала важной особой, еще бы, с ней ходит инженер Сухов. И Вагин скучает. Инструмент падает из рук. Интенсивность работы резко понизилась. Это замечает и сам Вагин, на это указывают и товарищи по бригаде. Собственно, он знает, что все это пустяк, что если бы комсомолы из ячейки нажали на него, все бы кончилось.

Но комсомолы заняты своими неотложными делами. Секретарь уехал в Москву. Бюро решает что-то в связи с перевыборами Политпросвета, а Вагин просто комсомолец, — сам Маркс велел ячейке не обращать внимания на него. Может быть, это не так, наверное, не так. Но так приятно почувствовать себя всеми заброшенным, одиноким, погрозить кулаком в сторону конторы: — Сидишь, коварная! губки мажешь! Сухова ждешь! Ну и жди... — и свалить вину за испорченную форму на нее, на эту рыжую Верку, а может, и на ячейку. Все они виноваты в том, что примерный комсомолец, — не активист, который только и знает, что свои тезисы и кампании, нет!! — примерный комсомолец Ванюшка Вагин скучает на работе, вечером идет в буфет на вокзал и выпивает полдюжины пива, не больше и не меньше.

И Ванюшка скучает до смены. Скучает и смотрит на Ломова — экий залощенный старик! — а Ломов смотрит на Ванюшку уже вторую пятидневку, даже опоку свою перетащил поближе. Смотрит и даже жалеет, что ли? Чорт его знает! Однако, он так сокрушенно качает головой, так соболезнующе чмокает губами, когда Вагин, еще не проспавшийся от вчерашней пьянки, приходит утром в цех с головной болью и поматым лицом, так смотрит Ломов, что Ванюшке уже тошно становится..

— Плох, я гляжу, совсем плох ты, Иван! Что это у тебя, нелады, что ль, с кем? — и Ломов чмокает губами. Ванька смотрит на губы и соображает, что они похожи на раздавленных полусасохших червячков. Они изгибаются и корчатся. Ему тошно, но, однако, приятно, если человек хо-

чет поговорить о таком, чего никто из других не замечает. Приятно, и Ванька заговаривает с Ломовым.

Ломов, мерно вздыхая, сожалеет о Ванькиной участи. Он уже все знает от Ваньки, а может, и раньше знал? Так кажется Ваньке, но Ломов хорошо слушает и поддакивает. Потом он совершенно неожиданно ошарашивает.

— А ты, Иван, брось скучать! Один ты живешь, вот и приходят в голову разные мысли. Пойдем-ка сегодня ко мне после смены, старуха моя обед готовит, посидишь, посмотришь, отдохнешь.

Перспектива сидения в буфете не удовлетворяет Ваньку. Итти в клуб, когда все ребята знают, что «Верка дала отставку Ваньке», — неприятно. Дома его ждет пустота и холод холостяцкой квартиры, где грязное белье валяется рядом с вайкой и махорка насыпана в сахарницу, выигранную на лотерее. Тошно и там и тут. И Вагин жмет, сердчно давит худенькую ручку Ломова, Вагин согласен притти и посидеть.

Из мартена выливается последняя сталь. Ковш идет по формам, и фейерверк, какого никогда не придумает ни один заводом или садом, фейерверк рвется под темным, прокопченным потолком. Сверкающая сталь брызжет из опок и ровные потоки ее ослепительно блестят. Подняв стоймя свои опки, Ломов и Иван складывают инструменты в ящики. Среди них блистают нежностью и тонкостью резцы, лопаточки, пожички, весь тот набор сложных предметов, которыми делаются точные и громадные формы. Формовщики уже кончили работу. Они ждут гудка и пока переодеваются и перебрасываются словами.

— От скуки еще хрр... трр... — скрипит Ломов, вылезая из комбинезона, — еще есть лекарства, только забываем мы его. А то ву... ву... бу... бу... — Он залез в рубашку и слов не слышно. — Начало Верховное... — Он произносит эти слова с большой бузвы, как нечто очень важное.

Ломов говорит еще что-то, но Ванька не слушает. Он еще раздумывает,

итти ли ему к Ломову или остаться здесь, подождать ребят и пойти на собрание ячейки. Сегодня как раз интересный доклад. В это время проходит Мишка Шпиль и кричит: — Привет от любви вам, Иван Елпатыч! — И Ванька машет рукой. Конечно, Шпиль шутит, и все это ерунда, но все же... Ломов берет его под руку и они выходят из цеха.

\* \* \*

В комнате царствуют уют и благополучие. Чайные чашки белой глины, расписанные петушками и розами, разыгрывают серенаду, посвященную самовару и гостеприимству. После десятой чашки домашнего малинового чая на сидящих у стола нисходит благодущие. Вагин уже не смотрит на пылающие белым жаром скатерти и занавеси. Он не завидует дьявольской теплоте и нежности пуховых перья, застланных великолепной чистой простыней. Он уже чувствует себя, как на родине. Ему не хочется возвращаться в тихий ад неприбранной квартиры.

Ломов ведет беседу. Ломов говорит ласковые слова, отдающие тихим запахом детства. Он советует Вагину жениться и вскользь замечает, что за многих комсомольцев девушки не идут замуж, зная их безобразное поведение. Он говорит о малом заработке и отрыве от работы из-за общественных нагрузок. Вагин с ним, конечно, не согласен, но нельзя же перечить доброму человеку, пригревшему его истерзанную душу. Ломов говорит:

— Да, Иван Елпатыч, — Ванюшку так называли только в шутку, и он приятно улыбается на обращение Ломова. — Сверху у нас молодежь живет... Ты посмотри, то ли дело в деревне. Возьми хоть свою. Вот уехал ты оттуда уже года два, а здесь все еще жизнь не наладишь... А сверстники твои, кои похозяйственной, уже давно женками да теплом домашним обзавелись. Конечно, кои себя не блюдут, тем тоже плохо, но, однако, все же хозяйственный человек жизнь свою улагодустроит.

Голос его течет влажным и лишним потоком. Он заполняет все поры суще-

ствования Вагина. И Ванюшка слушает.

— Вот! И здесь кто похозяйственней — устраивается. Вот, скажем, учиться. Опять-таки тебя не пошлют. Коли пошлют, голодом уморят. Заболеешь. Помнишь Колопятова? Сгиб человек от стипендии. Нет! У нас это лучше. Всяк за всех — и все для бога. Ты посмотри: социализм вы строите? строите. Выспий разум признаете? признаете. А мы — это я не только о себе, нас ведь много верующих, — тоже добиваемся царства небесного на земле. Да ты, сынок, не гляди вольжом. У нас и таких, как ты, много.

Но Вагин уже и не глядит вольжом. Он уже давно слышал, что Ломов баптист. В дальнейшем выясняется, что сегодня Ломов идет на моление в Коломну и что Ванюшка, Иван Елпатыч, ничего не имеет против посещения дома евангельских христиан, если, конечно, за это там не подумают... и он машет рукой довольно неопределенно, то ли на Коломну, то ли на завод...

— Да нет, — Ломов чуть улыбается, — у нас тебя ведь не затащут сразу... У нас много так ходят... И комсомольцы... Сначала, — человек, ведь он грешен, — любопытствуют, конечно, а потом видят, как истинно мы веруем, сознают и тоже веруют... Но силком никого не тащим.

\* \* \*

Улицы темны и пустышны. По ним идут группы людей в два-три человека. Их лица неразличимы и похожи на сотни виденных, но в движениях прячется что-то мягкое, кошачье. От электричества растекаются лиловые реки, и люди подходят группками под свет фонаря, освещающего большую жестяную вывеску:

Дом общины Евангельских  
Христиан

и ниже в скобках:

(баптистов).

Люди прячут лица в воротники пальто. В сенях они отряхиваются от липкого снега, укладывают воротники и,

сняв шапки, входят в комнаты. Желтые стены и деревянные скамейки. На нагих деревянных стенах плакаты и лозунги:

«Ты уже совершил зло —  
сделай добро».

Конституция РСФСР.

§§ 13 и 14.

На большом плакате шар земли и подпись: «Нас много, и земной рай ждет нас».

Люди приходят и целуют друг друга, тихо и еле слышно произнося: — Брат! Сестра! — Они рассаживаются на скамейках, и старшие ведут разговоры между собой. В углу сидит молодежь. Вагин неловко заговаривает с соседом. Ему отвечают ласково и ободряюще.

В углу он замечает знакомого парня. Он долго соображает, кто это, и не может вспомнить. Пресвитер окидывает взглядом толпу сидящих, — их около 40 человек, много мещан и крестьян, и человек 8 рабочих, — и говорит:

— Начнем, братья.

Высокий человек в черном костюме достает из кармана черную книгу и произносит:

— Гусли! Стих двести сорок седьмой.

Он произносит речитативом четыре строчки стихов и садится. Камертон замирает на тонкой ноте, и все запевают. Они поют согласенно, и хриплые голоса мужчин почти не выделяются из общего хора. Вагин соображает, где он слышал этот мотив и слова и неожиданно вспоминает. Вспоминает вместе с лицом знакомого парня. Парень комсомолец, а мотив и слова напоминают Интернационал:

Вставай, грехом поработенный,  
Весь мир беспомощных рабов,  
Иди на бой непримиримый  
И будь на жизнь и смерть готов!  
Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем  
Любовь и правда воцарятся,  
В сердцах не будет зла совсем!..

Люди поют. Они смотрят на Вагина и ему не хочется выделяться. Он раззевает рот. Люди поют, и пение их становится торжественным.

«Гусли» неистощимы. Уже пропели триста восемнадцатый стих, а чтец все еще произносит речитативом четыре строчки новых стихов. Стихи дурны, но «верующие» не замечают. Наконец, на сцену, т. е. на середину комнаты, выходит другой. Он раскрывает евангелие, читает наугад какой-то стих и начинает проповедь. Проповедь звучит странно. Оратор предлагает:

— И потому не будем относиться формалистически. Организованно встанем на колени и принесем наше моление господу...

Разом опускаются на колени. Вагин молчит, но тоже встает рядом со скамьей. Старуха в длинной шубе бормочет молитву. Вот она говорит громче и громче, и голос ее покрывает остальные. После пятиминутной молитвы она произносит: аминь. Все отвечают ей и встают.

Худошавый, пробритый до синевы проповедник-немец, чуть акцентируя язык, произносит длинную речь на тему: «Не давайте накопленного вами, и никто не отымет его от вас». Текст взят из евангелия, но речь является вольной вариацией. Проповедник говорит о «духовных богатствах, накопленных братьями», но ясно видна экономическая подоплека проповеди. Вагин чувствует ее, но лозунг «не давайте накопленного» звучит убедительно. С задних скамей доносятся нервные вскрипы: — Правильно, брат!..

А проповедник горячится. Он уже приводит цитаты из Маркса и Ленина, он доказывает, что они, т. е. Ленин и Маркс, истинные христиане, и только теперь идет извращение их линии. «Братья и сестры» готовы аплодировать проповеднику. Вздутые щеки божьих старушек отвисли и губы их движутся вождеденно. Они мечтают. О, они покажут это «царство земное»!

«Не отдавайте накопленного, и никто не отымет его от вас». — Правильно, брат, правильно!

А проповедник горит ревностью о вере. Он уже рассказывает, как в немецкой школе в Москве, где учится его дочь, безбожники сожгли религиозные книги: — На них были такие замечательные переплеты и такие изуми-

тельные картины были в них. И зачем сожгли? Говорят, что они развращают малышей? Это — божественные книги? А «они», разве «они» не развращают их, наших детей?

Проповедник изнурен своей верой. Он задыхается от злобы. Он бормочет о «братьях за границей». Потом он неожиданно рушится на колени, и толпа падает вслед за ним. О чем они молятся? О «братьях из-за границы»? О их скорейшем приходе? «Не отдавайте накопленного, и никто не отымет его от вас!»

Снова звучит песнь. Она звучит угрозой:

Мы идем в одеждах снежных  
Под хоругвями Христа.  
В рай идем мы безмятежный,  
Без него нам жизнь пуста...

Пустая угроза. Они, очевидно, чувствуют это, ибо в следующих строфах они уже не грозят, а просят Христа избавить их от этой «гнусной» жизни.

Вагин выходит вместе с Ломовым. Его голова звенит, но Ломов нахаживает его цитатами и стихами. У ворот Ломов берет с него обещание «приходить во всякое время за помощью и советом...»

\* \* \*

По улице идут комсомольцы из единственного кино. Они поют простуженными голосами громкую песню: «Наш паровоз летит вперед...» Поют они, и с ними перекликается другой хор, сквозь окна, но комсомольцы поют громче: «В коммуне остановка».

Слов другого хора не слышно. Слышна игра на балалайке и мандолине. Женские голоса поют на мотив «Кирпичиков». Но это не «Кирпичики» — это молитва. «Воспойте господа на гуслях и свирелях» — сказал Давид, и балтисты поют господу на гитарах и мандолинах. Голоса молодые. Это орудует хор балтистов. На одной половине женщины и девушки кроют и шьют советские ситцы. Это кружок кройки и шитья «евангельских христиан».

Вагин и Семен Кривцов сидят с хором. Они подпевают хору. Слова простые. Мотив знакомый. Комсомольцы исключили их из ячеек. В клубе скуч-

но. Здесь они уже как дома. «Сестры» ухаживают за «новообращенными». Пресвитер сам наставляет их. И бывшие комсомольцы уже свыжились с «братьями». Им не режет слух «организованное вставание на колени», а молиться даже приятно. Вдвоем им даже весело. Вагин сошелся с Семеном еще на первом собрании. Семен работал на поденной в заводе. Был в ячейке, но работу не вел. С ним работы тоже не вели. И теперь они веселятся как умеют.

Дети евангелистов идут в пионеры. Дети евангелистов идут в комсомол. Отцы евангелистов пытаются пролезть в партию. И те и другие довольны собой, когда им это удается. И те и другие снимают галстуки, горящие «яровью замученных братьев во христе», и вынимают из карманов билеты, когда идут на моление. Но одно другому не мешает. И они молятся. На работе они осторожно ведут разговорчики. В школах их дети тоже ведут разговорчики. Новые «братья во христе» идут на моления, шествуют в хоровые кружки, кроят и шьют в «Доме евангельских христиан». Чем не клуб? Хулиганства нет. Безбожных лекций нет. Кинокартины «западного содержания» можно и в рабочем клубе увидеть.

\* \* \*

Ломов формует цилиндр. Он подтащил свою опоку к молодому парню, на

которого, по известным ему слухам, ведет поход комсомольская ячейка за лодырничанье на производстве. Ломов ведет разговор о соревновании, о унижении расценок, о том, что скоро «последний пот выгонят своими выдумками из рабочего человека...»

Парень слушает и поддакивает. Еще бы, нашелся человек, который понимает его наболевшие рапы.

Вечером они вместе идут домой.

\* \* \*

— Чорт их знает! Разберешь что ли какой сектант, а какой нет? Разве ребята скажут? А все равно не вытранишь его с производства...

— Ну, а насчет усиления антирелигиозной работы? Можно, я думаю, что-нибудь предпринять?

— До рождества уже недалеко. Картину вот привезут, докладчик из Москвы придет... Посмотрим...

И культурники смотрят. Они ждут докладчиков из Москвы. К баптистам тоже приезжают докладчики. Приезжают не только из Москвы, а из Лондона, Нью-Йорка. Они не смотрят, а делают.

Падает снег. Из завода выходит 4.000 человек. Среди них только три-четыре Ломова да человек пять «новообращенных», но и это плохо. Слышите, культурники, безбожники, комсомольцы, плохо! Нужно, чтобы не было ни тех, ни других.

Коломна.

### 3. НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА

Л. К. Солдатов

В истории восхождений на вершину Эльбруса лето 1929 г. может считаться одним из самых замечательных: никогда еще ледяные склоны старика Эльбруса не подвергались такому количеству атак, как в этом году <sup>1)</sup>; по

<sup>1)</sup> В 1929 г. исполнилось ровно 100 лет со времени первой попытки восхождения на Эльбрус; но из участников этой первой по времени экспедиции, возглавлявшейся академиком Купфером, на вершину не взойшел никто. Первое удачное восхождение было сделано только 39 лет спустя английским альпинистом Дугласом Фрешфильдом.

приблизительным подсчетом, свыше 100 человек пытались истекшим летом взойти на эту величайшую вершину Европы; тридцать человек достигло поставленной цели; в числе их было одиннадцать иностранцев; двое из них (австрийские альпинисты) впервые за всю историю восхождений поднялись на западную вершину на лыжах, проделав затем исключительный по красоте и стремительности спуск с вершины на лыжах же по направлению к седловине (5.200 м.), а затем к «при-

кту одиннадцати» (4.200 м.). И это в разгаре лета! Следует также отметить, что в этом году впервые была поставлена метеорологическая будка на склоне восточной вершины на высоте 5.300 м. членами кружка туристов ЦЕКУБУ во главе с Ю. С. Паниотиным<sup>1)</sup>.

Наша группа, состоявшая из шести человек (еще двое присоединились в

новом лесу на берегу стремительно несущегося Баксана. Новые деревянные здания базы «Советского Туриста» находятся на другом берегу; легкий бревенчатый мостик не позволяет под'ехать непосредственно к зданию базы; вещи перетаскиваем «самобытно». Прибывший автобус был окружен толпой местных жителей, еще не привыкших к такому способу сообщения: автобусная линия проведена сюда



Приезд к подножию Эльбруса. База «Советского Туриста»

Нальчике), выехала из Москвы 20 июля. Утром 23 июля мы были в Нальчике, а часа через два автобус уносил нас по долине Баксана к подножию Эльбруса. Сто пятьдесят километров по живописной долине до Тегенекли пролетели быстро. Около часу дня автобус остановился в прекрасном сос-

<sup>1)</sup> Заслуживает внимания относительно высокий процент участия в восхождениях этого года на Эльбрус членов указанного кружка: из 19 русских альпинистов, взойшедших на вершину, 11 являлись членами кружка туристов ЦЕКУБУ. Автор настоящего очерка — участник одного из восхождений на Эльбрус, организованного упомянутым кружком туристов.

лишь в этом году.

Яркое солнце, рев потока, шум ветра, горные массивы, со всех сторон сжимающие долину, дают сразу массу новых впечатлений.

Почти отвесные скалы с одной стороны покрыты сосновым лесом, а со стороны Эльбруса они почти гладкие, сверху скалистые, далеко-далеко уходящие в синеву неба. Снежных шапок Эльбруса отсюда не видно: ближайшие склоны их скрывают.

Горный воздух (высота места 2.000 м.), сосновый лес, исключительные по красоте окрестности (ледник Шехильды, ущелье Адыл-Су, ледник

Ирик, вид на вершины Юсеньги, Эльбруса, Донгус-Оруна и др.), удобный способ сообщения — все предопределяет судьбы этого района, как одного из лучших высокогорных курортов СССР и центра притяжения будущих экскурсионных потоков.

Так как никто из нашей группы не имел специального высокогорного стажа, то было решено день-два уделить предварительной тренировке.

На следующее утро, вооружившись всеми принадлежностями высокогорного туризма (кошки, ледорубы, дымчатые очки и т. д.), мы двинулись на Бечойский ледник, рассчитывая в один день подняться на перевал и вернуться на базу. Подъем оказался довольно трудным; трое из нашей группы до вершины не добрались. Остальные были вознаграждены за потраченные усилия прекрасной панорамой горного Кавказа с высоты свыше 3.000 м. Конусы Эльбруса четко вырисовывались на фоне синего неба. Вид на Эльбрус с Бечойского перевала наглядно показал всем нам, что предстоящий подъем — вещь не шуточная.

На базу вернулись уже в темноте.

На следующий день — 25-го, сговорившись с носильщиками и проводником Сендом Хаджиевым и собрав все необходимое для подъема, двинулись по направлению к «Кругозору» — первой гигантской ступени Эльбруса. Носильщики и проводник несколько задержались, и мы вышли вперед, не дожидаясь их. Сеид Хаджиев — живая летопись восхождения на Эльбрус. На вершине Эльбруса он был 8 раз: это своего рода всесоюзный и мировой рекорд.

Дорога от базы до Азау (12 километров) сравнительно пологая; в настоящее время она приспособляется для автобусного движения. Идем в составе 6 человек; двое из наших спутников оказались от подъема на вершину и решили дожидаться нашего возвращения на базе с тем, чтобы вместе затем идти в Сванетию.

Как-то незаметно подошли к котловине Азау. Покрытая травой, довольно широкая долина замыкается впереди крутой стеной, по которой, извиваясь,

идет тропинка на «Кругозор». Мы остановились на полчаса; достали молоко и айран<sup>1)</sup> у балкарской семьи, живущей здесь постоянно.

На «Кругозор» пришли, когда уже стемнело. Холодно, ветренно. Неясные контуры палаток — это приют «Советского Туриста». Хочется пить, но вода далеко; за ней нужно идти к леднику. Подкрепившись взятыми с собой припасами, мы разместились по палаткам. Я расположился с двумя новыми спутниками: доктором Н. Н. Усольцевым и К. П. Некрасовым. Они провели на «Кругозоре» уже сутки, — привыкли к горному воздуху перед подъемом на вершину.

Встали на следующее утро очень рано, т. к. нужно было использовать часы, когда снег еще прочен. С «Кругозора» открывается прекрасная панорама на вершины главного хребта, на долину Ваксана и на фирновые белые поля, замыкающиеся двумя вершинами Эльбруса. «Кругозор» — сравнительно небольшая площадка на высоте 3.200 м., покрытая травой с глыбами скал по краям; крутые обрывы, вплотную подошедшие ледники, фирновые поля — все это вместе с близко стоящими массивами горных великанов создает величественную картину: здесь царство гор.

Быстро собрался и, наскоро позавтракав, вышли около 4½ часов утра по направлению к «приюту одиннадцати». Сперва шли по осыпи, довольно крутой; скоро показался ледник; привязали кошки, одели дымчатые очки. Итти не трудно. Сеид шел медленно, делая время от времени короткие остановки; обходим трещины, более узкие перепрыгиваем. Но солнце все выше, становится жарко, даже небольшой груз неприятно тягощует. Временами подъем становится настолько крут, что приходится идти зигзагами. Фирн еще прочен, солнце не успело его размячить. Время идет незаметно. Панорама все шире. Конусы Эльбруса кажутся

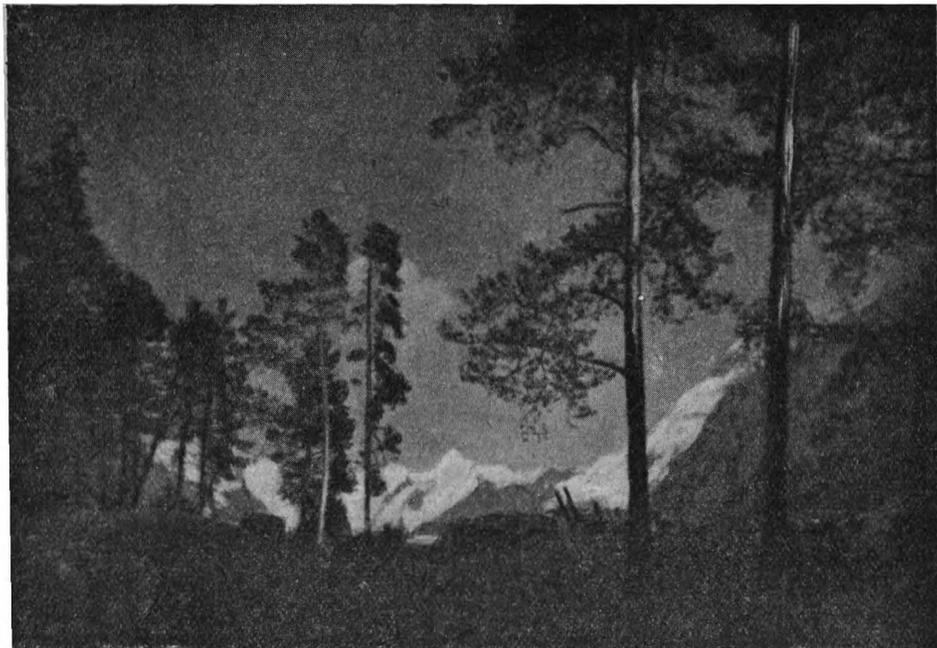
1) Кислое молоко, приготовленное особым способом.

совсем близкими. Хочется пить. В трещинках кое-где под коркой льда можно достать чистую воду.

Вот перед нами крутой под'ем, покрытый фирновым льдом. Поднялись и как-то неожиданно вышли на обширную белую поляну, почти пологую, в конце которой чернели огромные куски лавы; рядом прилепилась желтенькая железная будка, построенная нынешним летом инженером Раковским по инициативе «Общества Пролетар-

жества других, причудливо изрезанных со своими белоснежными вершинами, застывшими на голубом фоне неба. Мы находимся на высоте 4.200 м. Это немного ниже Монблана. Прямо на солнце очень жарко, в тени же охватывает холод, и самое тепло кажется каким-то обманчивым: так противоречиво все окружающее — зимний ландшафт и июльское палящее солнце.

Отдохнув немного, стали готовить



Окрестности Тегенекли

ского Туризма». Было около 10 часов утра

Так вот как выглядит этот «приют одиннадцати»! Небольшой островок скал среди белого моря сплошного фирнового льда. Будка сделана из железа; при порывах ветра издает гудящий звук. Впереди, закрывая горизонт, высятся вершины Эльбруса — близкие и доступные. Если обернуться назад, то перед вами открывается, охватывая все поле зрения, могучая цепь вершин главного Кавказского хребта от чуть заметного на западном крае Арарата до резко очерченных великанов — Ужбы, Шхары, Донгус-Оруна и мно-

себе обед. Зашумел по-домашнему примус, поставленный в будке. Подкрепились. Погода попрежнему исключительно хорошая.

Чтобы выспаться перед под'емом, устраиваемся на ночлег уже с 5 часов. Будка не была еще к этому времени окончательно доделана, и нам всем пришлось разместиться прямо на полу. Будка небольшая; нас 9 человек; легли «сардинками». Никто не мог позволить себе роскоши спать на спине. Но сон не приходил. Необычное время, новые впечатления, теснота, быть может, и высота, на которой мы находились, оказывали на нас свое

действие. Нас охватывало беспричинное веселье.

Спим не более 1½ часов. Сквозь сон слышим голос Сеида; нужно вставать. Холодно, темно, вставать явно не хочется: ведь надо подниматься и идти по холоду и ветру, среди ночи. Здесь потребовалось некоторое усилие воли. Зажгли стеариновые огарки; при их мерцающем свете стали собираться. Охватывает дрожь, пальцы плохо повинуются. Необходимые вещи куда-то как на зло исчезают в нужную минуту. Наскоро поели. Привязали к ногам кошки и в 1½ часа ночи вышли из будки.

Погода стала портиться. С запада сплошная черная пелена, вершины окутываются время от времени туманом. Но все же решили идти.

Подъем сперва не крут; идем, делая короткие остановки. Впереди — Сеид. Часа через два начинает розоветь восток. Там узенькая полоска неба, еще чистого; тлеет надежда, — может-быть, с восходом солнца тучи разойдутся. Но не дошли мы и до приюта Пастухова, как начал падать мелкий, редкий снежок.

Стали со всех сторон надвигаться облака. Сеид, все время недовольный погодой, решительно настаивает на возвращении. Жалко отказаться от мысли достигнуть вершины.

Неохотно и уныло начинаем спускаться.

Около 5 час. утра мы снова у нашего гостеприимного приюта. Едва успели мы к нему приблизиться, как разыгрался сильнейший снежный буран. Забились в будку, жалобно аккомпанировавшую своим гулом мелодиям Эльбруса. Так как к нашей компании прибавилось еще трое, то в будке уже совсем ни стать, ни сесть. Ноги мерзнут в сырой обуви, температура в нашем домике около 3-х градусов. Настроение неважное. Все кругом бело: кажется, что солнце и голубое небо надолго покинули этот уголок. Прождали около часа; трое взшедших вчера на вершину решили спускаться, несмотря на буран. К ним присоединились и все мои спутники. Сидеть и ждать здесь, имея ограниченное коли-

чество провизии, совершенно бессмысленно. Делались ссылки и на опыт прежних восхождений, указывавший, что при движении туч со стороны Сванетии (с юго-запада) ненастье всегда бывает более или менее длительным. К несчастью, тучи шли именно из Сванетии. Сеид на вопросы о погоде давал уклончивые ответы.

На меня все эти убедительные аргументы действовали слабо. Спуск воспринимался как какая-то капитуляция. И, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», я решительно заявил, что остаюсь в будке по меньшей мере до завтра. Погода на Эльбрусе чрезвычайно капризна; может-быть, и прояснит к следующему дню. Ко мне присоединились два спутника, — они тоже решили переждать еще сутки. Встал вопрос о проводнике. Как спускаться без проводника, да еще в такую погоду? Но Сеид, повидимому, не был склонен двигаться вниз. Выйдя вместе со всеми из будки, он через несколько минут снова вернулся к нам уже один. Он показал нашим товарищам дорогу, сам же спускаться не захотел.

Вьюга стала стихать. Облака продолжали стремительно проноситься мимо нашей будки. Вершин Эльбруса, конечно, не видно. Холодно, неудобно. Но зато внутри нашего домика стало лучше. Четверо разместились в нем с комфортом. Первым делом привели в порядок наше временное обиталище. Расстелили как следует наши постели, сварили на примусе чай. Подкрепились, согрелись. Легли спать. Укрывшись всем, что у нас было теплого, быстро заснули. В течение дня несколько раз просыпались, выходили из будки посмотреть, как обстоит дело с погодой. Снега нет, но облака с быстротой проносятся мимо будки, охватывая пронизывающей, холодной сыростью. Вершины время от времени частично начали выступать из тумана. Холодно, ветренно, неприветливо. Около пяти часов вечера приготовили обед. Поели, согрелись, побеседовали о перспективах погоды, потом снова задремали.

Проснулись от возгласов Сеида. Глазам не верится: ни снега, ни вьюги,

ни облачка! Звезды, мягкий лунный свет, усиленный отражением снега.

В восторге вскакиваем. Не торопясь, основательно, начинаем собираться. Предстоит долгий, долгий путь.

Снежные вершины прекрасны в солнечный день на голубом фоне неба; они могут быть не менее ослепитель-

их свет ослабляется лунным сиянием. Позади в уровень с нами и ниже громоздятся фантастические очертания вершин главного хребта. Глубоко внизу — густая тень.

Довольно холодно. Снег хрустит под стальными зубьями кошек. Временами наше восхождение напоминает мне ночную лыжную прогулку. Странно думать, что сегодня 28 июля и совсем не-



«Кругозор»

ны и при облачной погоде, когда снежные великаны то открываются, то снова исчезают в клубящемся покрывале. Но зрелище, которое предстало перед нашими взорами при выходе с «приюта одиннадцати», было совершенно исключительно в своей необычной, какой-то сказочной прелести. Если бы даже наш подъем не удался, то и тогда мы были бы вполне вознаграждены картиной горного ландшафта в лунную ночь. Прямо перед нами гигантские конусы Эльбруса; зеленовато-серебристые, они таят в себе что-то нереальное. Небо усыяно звездами, они не очень яркие,

далеко от нас разгар лета, душные ночи, купанье.

Вчерашняя вьюга намела местами свежий снег; временами ноги уходят в него по колена. Ветер, пока еще не сильный, но холодный, дует навстречу с вершин. Идем гуськом. Впереди Константин Павлович Некрасов, за ним Сеид, указывающий направление нашего зигзагообразного пути, доктор Николай Николаевич Усольцев, а сзади я. Темп взят весьма умеренный, и в моменты коротких остановок, когда мы поворачиваемся, как по команде, спиной к Эльбрусу и ветру, дыхание и пульс почти нормальны. Идем с глубо-

кой уверенностью в душе: вершина будет взята. И хорошая погода, и ранний выход с «приюта одиннадцати», и достаточный сон в течение почти всего дня, и основательный завтрак перед выходом — все укрепляло эту уверенность и повышало настроение. Сеид начинал петь. Но его голос здесь, на снежных массивах Эльбруса, звучал довольно жалобно. Время от времени в сознании мелькает мысль: а горная болезнь? Не одолеет ли? Не преградит ли путь? До вчерашней точки еще не дошли; но как будет выше? Ведь мы все, кроме Сеида, впервые в жизни находимся на такой высоте. Но об этом как-то не хочется думать. Снег похрустывает под зубьями кошек, становится круче под'ем. Ветер все резче. Но горизонт попрежнему чист, звезды спокойно мерцают, гигантские снежные поля искрятся, освещенные луной.

Восток начинает чуть розоветь. Звезды незаметно слабеют в своем блеске; сказочный, зеленовато-голубой свет вершин тускнеет. Высоко вверху ясно обозначились лавовые скалы приюта Пастухова. Они немного справа от нас. Ветер все крепчает, свирепеет несет мелкую порошу, с шипением проносающую мимо нас по твердому фирну. Временами вязнем в свежем снегу. Восток алеет все сильнее. На огромной высоте, вблизи гигантских конусов, наблюдаем восход солнца.

Приближаемся к приюту Пастухова.

Разреженный воздух, повидимому, начинает сказываться на моих спутниках. Идущий впереди К. П. Некрасов замедляет шаги и все чаще останавливается. Но долго стоять не позволяет резкий, холодный ветер. Мое одеяние, достаточное для лыжного бега в морозный день, здесь защищает плохо.

Сеид просит разрешить идти вперед; я иду за ним. Скоро стало ясно, что нашим спутникам нелегко выдерживать прежний темп. Они соглашались на то, чтобы мы с Сеидом пошли впереди; они же пойдут медленнее по нашим следам. Так и сделали. Скоро, обогнув крутой склон, мы потеряли из виду наших спутников. Холод усилился настолько, что вода во фляжках

превратилась в лед. Время от времени мажем лицо ланолином, чтобы предохранить себя от ожогов горного солнца.

Идем прежним темпом. Вдруг слышим свист внизу; свистит кто-то из отставших спутников. Сеид начинает нервничать. Обувь на одной из его ног разорвалась и ждать, стоя на месте, холодно. Да и вообще холодно. — «Нет такой закон, чтобы тащить вверх! Не можешь — иди вниз!» — Из-за ближайшего склона показывается фигура доктора, резко выделяющаяся на белом фоне. Идет, повидимому, с большим трудом; машет руками, чтобы подождать. Ждем, став спиной к вершине. Подходит. Сообщает, что с Константином Павловичем плохо: идти не может. Нужен нашатырный спирт, капли Кола (восстанавливающие сердечную деятельность), которые были у меня в сумке. Я даю ему и то и другое.

Идем дальше. Направо высится огромный массив восточного конуса — очень крутой; впереди наискось — западная вершина. Седловины не видно, к ней подходим как-то неожиданно. Путь почти пологий. Но странно, идти приходится почти так же, как и раньше: необходимо останавливаться через 40—50 шагов; ускорить темп крайне трудно. Сказывается перемена давления — высота 5.200 м. Вот мы и у перевальной точки. Пред нами уже нет снежных массивов, — открывается панорама по ту сторону Эльбруса. На глубине не менее двух километров — разрозненные белые облака, плывущие над долиной Кубани. В просветы облаков выступают смутные зеленоватые очертания. Деталей нет.

Направо и налево от нас высятся, уже близкие, оба конуса Эльбруса: левый западный — 5.633 м., правый восточный — 5.595 м. Но до них с седловины все же около 400 м. по вертикали, — а под'ем очень крут. Холод и ветер еще сильнее, воздух очень разреженный. Спрятавшись от ветра за скалой, мы с Сеидом решили отдохнуть, подождать наших спутников. В виду того, что снизу стали ползти облака, мы решили восходить на восточную вершину, требующую меньше времени для ее одоления. С того



«Приют одиннадцати». Будка

места седловины, где мы отдыхали, эта вершина сильно отличается от западной. Здесь нет сплошного белого покрывала. Куски лавы, черные, ко-

ричевые, чередуются с белыми пятнами фирна и снега. Дикий, суровый ландшафт.



На «Приюте одиннадцати». Наблюдение за восхождением на вершину

Было около 9 часов утра, когда мы с Сеидом пришли на седловину. Через некоторое время вдали показались фигуры медленно идущих спутников. Но они менялись ролями: пациент доктора, подбодренный нашатырным спиртом и каплями Колла, идет впереди, доктор же, растерявший остаток сил на двойном подъеме и спуске, сзади.

Двинулись в последнюю атаку. Впереди очень легко идет Сеид, за ним стараюсь идти я, спутники сзади. Останавливаются чаще, но все же упорно продвигаются вперед. Еще немного усилий и — вершина! Что-то в роде лунного кратера; вместо одной вершины — белого конуса — их здесь целых три. Довольно большая каменная площадка: к более высокой вершине идет естественная каменная дорожка. Поднимаемся по ней.

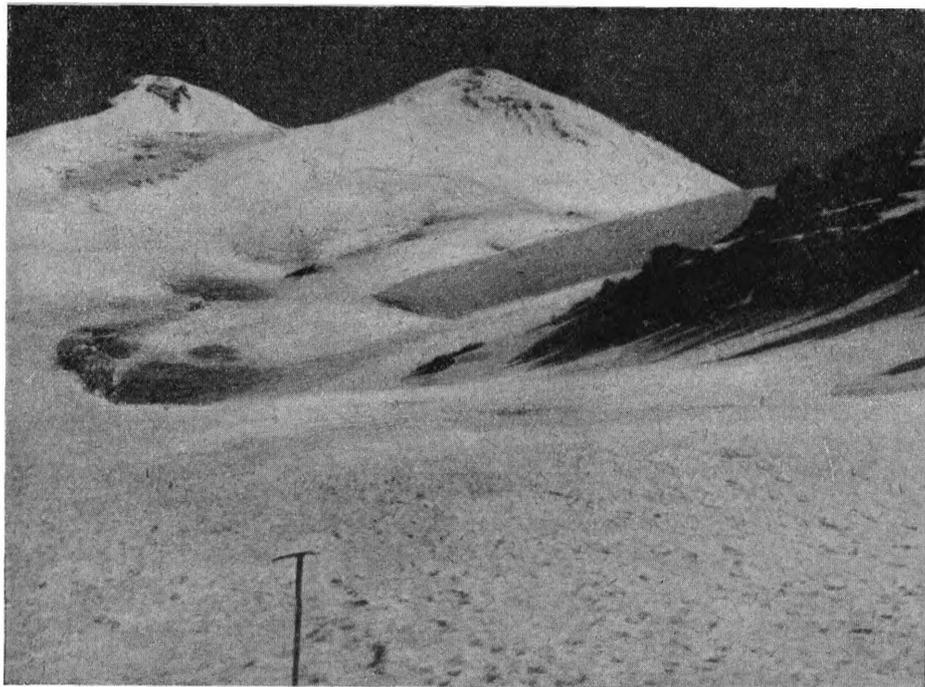
На север и северо-восток раскинулся широчайший горизонт с долиной Кубани, лежащей на огромной глубине; видны лишь общие контуры. Каспийское море сегодня скрыто от глаз. Прямо на юг — отошедшие вниз, знакомые вершины главного хребта, охватывающего почти половину горизонта. Направо от крайней западной точки этого хребта голубеет вдали гладь Черного моря. Еще правее, непосредственно перед нами, ослепительно белый конус западной вершины, резко выступающий на фоне синего неба. Итак, цель достигнута. Но свирепый ветер, ревниво охраняющий вершину, сегодня не позволяет долго наслаждаться дивной картиной, открывающейся перед нашими взорами.

Неимоверно холодно. Сажусь на камень и заковевшими пальцами пишу коротенькую записку о том, что 28 июля, в 11 часов утра, мы трое и Сеид Хаджиев поднялись на восточную вершину. Записку Сеид положил в жестянку и спрятал ее под пирамидку из камней, вынув термометр, положенный туда предшествующими путешественниками. Настолько намерзли, что оставаться дольше на вершине нет желания. Скорее вниз, к теплу, к лету! Быстро промелькнула мысль:

сейчас 11 часов утра, до седловины минут 20—25 спуска. Отдых с полчаса, а затем можно подняться и на западную вершину. Но эта мысль мелькнула и быстро погасла. Девятичасовой путь в условиях разреженного воздуха отнял много сил.

Начался спуск. Теперь уже без зигзагов. Прямо вниз по ровному белому, весьма крутому склону. Сеид сел и, тормозя справа ледорубом, помчался вниз. Временами вскакивая, снова садясь, он быстро удалялся, скоро превратившись в черненькую точку на белом фоне. Спуск здесь, конечно, легче, чем подъем. Металлические зубья кошек не дают скользить ногам и, опираясь на пятки, можно бегом спускаться с очень крутых и высоких склонов. Путь до «приюта одиннадцати» потребовал у меня всего 1½ часа времени вместо 9½, потраченных на подъем. Но об одном я забыл при спуске: о жгучих лучах горного солнца, о лыжном шлеме, который положил в сумку, ланолином не мазался, а бежал все время лицом к солнцу. Непрерывный путь в течение 10 часов сказался. Хочется пить. Лицо горит, обожженное солнцем. Ноги устали от непрерывного быстрого спуска. Стащив не без труда мокрые ботинки, я улегся в будке и почти сразу заснул глубоким сном.

Приблизительно минут через 40 я был разбужен какими-то криками. Протираю глаза: передо мною группа молодежи, человек 14. Это туристы, пришедшие сюда тоже для подъема на вершину. Мелькает мысль: прошлую ночь нас было 9, и мы спали «сардинками». Теперь нас 18. Ясно одно — нужно немедленно спускаться на «Кругозор». С трудом надеваю совершенно мокрые ботинки, привязываю кошки. Дело осложнилось тем, что предстояло нести на себе часть груза, который сюда несли носильщики. Взвалив тяжелую ношу на плечи, я в компании с Сеидом и моими спутниками стал спускаться. Первые 20—25 минут было очень трудно. Снег за день оттаял, и через каждые три-четыре шага я проваливался выше колен. Но как



Конусы Эльбруса

только мы перешли на твердый лед, а потом на осыпь, стало легче. Через 1½ часа мы были уже на «Кругозоре».

Как приятно чувствовать под ногами мягкую траву, пережить переход от

зимы к весне, посидеть у костра и удобно расположиться в палатке на гряде мягких войлоков!

На утро я двинулся вниз через Азау на базу к моим товарищам.

# За рубежом

1. С. ГАЛЬПЕРИН. По всему свету. — 2. И. ТАЙГИН. Японские силуэты

## 1. ПО ВСЕМУ СВЕТУ

(Очерки международной политики)

### С. Гальперин

Гаагский триумфатор. — «Шахтизированная» Германия. — За кулисами лондонского радио. — Перестрелка через Тихий океан. — Международные претензии парижской биржи.

#### Гаагский триумфатор

Гаагская конференция закончилась полным триумфом нового французского премьера Андре Тардьё. И среди «побежденных» нашлось немало охотников впрячься в победную колесницу триумфатора. Редактор «Deutsche Allgemeine Zeitung» д-р Клейн разразился 7 января целым панегириком по его адресу. Отметив, что на августовской конференции (Гаага № 1) самым интересным персонажем был Сноуден, а на январской конференции это место занял Тардьё, редактор органа германской тяжелой индустрии делает любопытное сопоставление Тардьё с прежними французскими «светилами» Пуанкаре и Брианом.

«Пуанкаре — человек санкций и залогов, адвокат, владеющий всеми тайнами своего ремесла, непреклонный защитник «права» Франции и «виновности» Германии, но в то же время человек, который спас франк и который, может быть, колеблясь, может быть, с неохотой, но все же желает по-своему заключить мир с Германией.

Бриан — льстец, чарователь, подкупающий оратор, не затрудняющий себя знакомством с текстами и документами, крупный политик богемского ти-

па, ставший знаменитым главным образом благодаря своему неотразимому красноречию (впрочем, все крупные политические деятели Франции — блестящие ораторы), гениальный импровизатор, гибкий человек, быстро схватывающий и пропагандирующий новые идеи, носящиеся в воздухе, умеющий быстро менять курс при возникновении оппозиции, сторонник «французского мира», пытающийся убедить весь мир, что Версальский мир сам по себе совершенно недостаточен.

Тардьё — человек совершенно другого калибра. Он стоит сейчас лишь у порога своей карьеры государственного человека, карьеры, которая начинается под знаком ликвидации войны. Он появляется как совершенно новый тип деятеля на европейской политической сцене. Пуанкаре 70 лет, Бриан приближается к этому возрасту, 53-летний Тардьё является по отношению к ним представителем нового поколения. В расцвете своих сил, с рассчитанной энергией, с острым и дисциплинированным умом, он уже в течение ряда лет пользуется во Франции репутацией человека, час которого должен наступить... Теперь этот час настал: Клемансо умер,

Пуанкаре болен, Бриан начинает выдыхаться, Эррио не пользуется общим признанием... Тардье хочет вести Францию по новому пути, сознательно идя к поставленной цели без увлечений и сентиментальностей. Он не хочет больше фраз, готовых мнений, он ищет хладнокровия, уверенности в себе, умения принимать решения...

Статья в «Deutsche Allgemeine Zeitung» характеризует настроения германской буржуазии ко времени гаагской конференции № 2. О каком бы то ни было сопротивлении «хозяевам» она не помышляла, — она предпочитала приглядываться к хозяину, особенно к новому, в надежде использовать те или иные его личные особенности для того, чтобы выторговать себе хоть какую-нибудь скидку.

Д-р Клейн рассчитывал подействовать на Тардье лестью, обращением к его здравому смыслу, германская делегация предпочитала роль казанской сироты. Занятая ею позиция по наиболее острому вопросу о санкциях, т. е. о праве кредиторов прибегать к оккупации германской территории в случае неаккуратного взноса Германией причитающихся с нее платежей, была поистине замечательна.

Гаагский корреспондент парижской газеты «Information» так излагает позицию германской делегации в этом вопросе: «Мы понимаем, что у вас есть меры защиты (в случае нежелания Германии платить), и мы даже указываем по этому случаю на экономические способы воздействия: блокаду, конфискацию германских имуществ, находящихся за границей, и т. д. Мы понимаем, что вы используете эти средства. Вы можете в случае необходимости оккупировать германскую территорию, и мы будем в этом случае беззащитны. Но не требуйте от нас, чтобы мы торжественно признали за вами это право» («Information» 8 января).

Но все эти слезницы ни к чему не привели. Германской делегации пришлось согласиться на включение в план Юнга права Франции на применение санкций по отношению к Германии, если та не захочет или окажется не в

состоянии аккуратно вносить репарационные платежи. Тардье не воспользовался советами д-ра Клейна и предпочел идти по испытанной дорожке Пуанкаре и Бриана, по пути неумолимого исполнения Версальского договора.

Позиция Германии на второй гаагской конференции была безнадежна. Если на первой конференции она могла хотя бы попытаться использовать раздоры между ее кредиторами (на практике оказалось, что Сноуден и Бриан в конце концов столковались за ее счет), то в Гааге № 2 германская делегация имела перед собой единый фронт кредиторов, лидерство в котором Англия добровольно уступила Тардье. Перед британским «рабочим» правительством маячила в этот момент морская конференция, имеющая для Англии гораздо большее значение, чем гаагское соглашение, и Сноудену не было никакого смысла осложнять к открытию лондонского торжища свои отношения с Францией, от позиции которой в известной мере зависит исход этого торжища.

Гаагская конференция прошла бы совсем тускло, если бы не «драматический» инцидент с выступлением директора государственного банка Германии Шахта. В тот момент, когда обе стороны уже почти окончательно пришли к соглашению, Шахт, прибыв на конференцию, заявил, что Имперский Банк отказывается внести назначенную для него планом Юнга долю в основной капитал Банка Международных Расчетов. Это выступление произвело впечатление разорвавшейся бомбы, ибо осуществление всего плана было поставлено под угрозу.

Но бомба оказалась лишь громкой петардой, — она вызвала шум, за которым не последовало никакого взрыва. Даже, наоборот, она способствовала благополучному исходу переговоров.

Выступавшие единым фронтом кредиторы отнеслись к выступлению Шахта, как к простой бутаде. Они полагают, — пишет «Temps», — что «выступление Шахта создало инцидент лишь в отношениях между германским прави-

тельством и директором Имперского Банка, что это — вопрос лишь внутренней германской политики, который должен быть урегулирован в Берлине и ни в какой мере не может затруднить работу конференции... Даже органы умеренных германских партий ставят вопрос: кто сегодня правит в Германии. Германскому правительству надлежит дать ответ на этот вопрос, чтобы рассеять всякие недоразумения» («Temps» 15 января).

На эту холодную угрозу германская делегация поспешила дать успокоительный для кредиторов ответ. Преемник Штреземана Курциус немедленно заявил, что в случае нужды Имперский Банк может быть заменен в качестве акционера Банка Международных Расчетов другими крупнейшими германскими кредитными учреждениями. А когда и это обещание не вполне удовлетворило кредиторов, германское правительство заявило, что это решение является лишь временным и что в ближайшем будущем будет издан закон, обязывающий Имперский Банк выполнять возложенные на него по плану Юнга функции. А Шахт заявил, что в качестве лояльного германского гражданина он вынужден будет этому законодательному постановлению подчиниться.

Необходимо, однако, при этом отметить, что если капитуляция германской делегации перед кредиторами была полной, то говорить о капитуляции Шахта перед германским правительством не приходится. Германское правительство обязалось в законодательном порядке обязать Шахта выполнять международные соглашения Германии, но оно не решилось поставить вопроса о таком изменении устава Имперского Банка, которое сделало бы вообще невозможной систематическую оппозицию Шахта республиканскому правительству Германии.

Мы коснемся этого вопроса в дальнейшем, сейчас же необходимо отметить, что крайне националистическое на первый взгляд выступление Шахта на деле сыграло в руку союзникам. Если вспомнить, что в начале конференции Тардьё в обоснование своего

требования о санкциях вызывающе бросил германской делегации заявление, что германское правительство не может претендовать на безусловное доверие победителей, ибо оно само в себе не уверено, за его спиной действуют посторонние силы, то становится ясным, что выступление Шахта дало лишний козырь в руки Тардьё.

Любопытно и то обстоятельство, что, несмотря на все заявления Шахта о том, что он не намерен принимать участия в комбинациях, унижительных для Германии как независимой державы, правые круги французской буржуазии проявили по отношению к нему достаточные признаки симпатии.

### „Шахтизированная“ Германия

Мы остановились на позиции французской прессы в вопросе, который она сама считает входящим в область германской внутренней политики, потому, что оценка эта в общем правильно характеризует основные тенденции развития правительственного кризиса в Германии. Расхождению между Мюллером и Шахтом в вопросах международной политики французская пресса не придает значения, — ни тот, ни другой не намерены в действительности бороться против версальского закабаления Германии. В вопросах же германской внутренней политики французские националисты становятся на сторону своих германских собратьев, ибо считают, что фашизм, неприкрытый, связанный с диктатурой финансового капитала в Германии, для них предпочтительнее, чем судорожные метания социал-фашистов, так как лучше обеспечивает аккуратное выполнение кабальных условий плана Юнга.

Буржуазная и с.-д. германская пресса проявляет в данном случае меньшую степень проницательности. Демократический Berliner Tageblatt призывает «энергично протестовать против упрямства Шахта, имеющего целью лишь показать, что он — человек, способный стукнуть кулаком по столу» («Berliner Tageblatt» 14 января). Орган центра «Germania» пишет: «Невероятно, чтобы общественное мнение Германии примирилось бы с существованием в стра-

не двух сил, правящих одна против другой, ибо это могло бы лишь подорвать престиж Германии за границей... Борьба против Шахта будет вестись правительством и партиями, а не германской делегацией в Гааге... Мы думаем, что Шахт на этот раз слишком натянул струну и выпрыгнуть партию ему не удастся».

Наиболее возмущен был выходкой Шахта с.д. «Vorwärts». Мы находим в этой газете следующую филиппику против непокорного финансиста: «В декабре Шахт командовал финансовой политикой страны. В январе он ведет в Гааге свою собственную внешнюю политику. Не будет ли он объявлен императором в февралье? Во всяком случае Гугенберг и «Стальной Шлем» не должны больше метаться в поисках диктатора. Он имеется... Недопустимо, чтобы диктатура Шахта могла установиться при правительстве, в котором заседают четыре социал-демократа. Если они не могут добиться прекращения такого положения, они не могут больше нести ответственность за направление правительственной политики» («Vorwärts» 14 января).

Благородное негодование социал-демократического органа не стоит, однако, ни гроша. Менее всего германская социал-демократия склонна трактовать диктаторские претензии Шахта с классовой точки зрения. Ее органы всачески стараются замазать тот объективный факт, что репарационное закабаление Германии является тем фактором, в условиях которого германская финансовая плутократия получает точку опоры для полного порабощения германского пролетариата. Ибо признать этот факт значило бы сознаться перед трудящимися массами Германии, что и политика теперешнего германского правительства с социал-демократам Мюллером во главе лишь облегчает установление диктатуры финансового капитала.

Но то, что пытается скрыть социал-демократическая пресса, всенародно разоблачает коммунистическая газета. «Rote Fahne» берет быка за рога, указывая, что «Шахт является олицетво-

рением диктатуры финансового капитала, а социал-фашистское правительство Мюллера, Зеверинга и Висселя вырашивает этот экономический фашизм» («Rote Fahne» 14 января).

Германская социал-демократия отбрасывает в сторону не только социалистическую фразеологию, но и традиции буржуазной демократии. Она проводит травлю коммунистической прессы, тысячами гноит в тюрьмах революционных рабочих, запрещает союз красных фронтовиков и вооруженной рукой подавляет массовые выступления пролетариев. Кровавые дни в Берлине в мае 1929 года вызвали неодобрение даже со стороны некоторых буржуазно-демократических газет, указавших, что устроенное с.д. полицмейстером Цергибелем побоище не было вызвано необходимостью.

Сейчас Германия вступает в полосу жестоких классовых боев. План Юнга требует величайших усилий со стороны германского капитализма, в особенности в области экспорта, между тем как условия для последнего неблагоприятны. Американский кризис, имеющий тенденцию перерасти в кризис всего мирового хозяйства, бьет прежде всего по Германии, ибо последней придется развивать свой экспорт (а без него она не будет иметь валюты для уплаты репараций) в условиях снижения цен на мировом рынке и естественной тенденции к усилению таможенных прогатов со стороны всех конкурирующих с Германией стран.

Поскольку германская буржуазия не имеет ни малейшего желания парировать эти трудности снижением своих прибылей, перед ней остается лишь путь снижения заработной платы и максимального изъятия из доходов широких трудящихся масс при помощи усиления налогового пресса и сужения расходов на все виды социального страхования и социального обеспечения.

Германская буржуазия не настолько наивна, чтобы думать, что такого рода наступление развернутым фронтом на жизненный уровень рабочего класса может проводиться без сильного со-

противления со стороны пролетариата. Политика жесткой руки поставлена поэтому в порядок дня.

Германская социал-демократия, судорожно цепляющаяся за власть, еще пытается доказать (буржуазии, что по части жесткости «социалистические» министры и начальники полиции не уступят буржуазным. Коммунистической партии объявлена открытая война. После расстрела нескольких организованных германской компартией демонстраций (в саксонском городке Хартмансдорфо убито при разгоне демонстрации 5 рабочих) социал-демократический министр внутренних дел Пруссии Гржезинский издал циркуляр о полном запрещении демонстраций в Пруссии и открыто заявил, что перед правительством стоит задача запрещения коммунистической партии, якобы «провоцирующей» на это правительство своими разговорами о переходе на нелегальное положение. «Rote Fahne» подвергается конфискации чуть ли не из номера в номер.

Угрозы Гржезинского не производят, однако, терроризирующего влияния на рабочий класс. На массовых митингах протеста, устроенных компартией в ответ на заявление социал-демократического держиморды, берлинские рабочие приняли решение готовиться к массовой политической забастовке, как к самому действительному средству борьбы пролетариата против диктатуры буржуазии и социал-фашистов. В то же время растет влияние компартии в рабочих массах. Все большее и большее количество фабзавкомов переходит из рук реформистов в руки руководимой коммунистами революционной профсоюзной оппозиции. Германская компартия создала уже ряд своих опорных пунктов на важнейших промышленных предприятиях, особенно в Берлине и в Рурской области. С большим успехом проходит и объявленная германской компартией в порядке социалистического соревнования вербовочная кампания. За сравнительно короткий промежуток времени в компартию вступило 8.000 новых членов, и на несколько тысяч человек усилились и ряды комсомола.

Германия находится накануне жесточайшей схватки между рабочим классом и буржуазией. Обе стороны готовятся к бою.

### За кулисами лондонского радио

Если для Германии гаагское соглашение было прелюдией к боям на внутреннем фронте, то для ее кредиторов Гаага, наоборот, была мостом к новому и более чреватому последствиями международному словоблудию на тему о так называемом морском разоружении. Надо было покончить с всеми проблемами, вытекавшими из «ликвидации» последствий прошлой войны, чтобы начать методически готовиться к новой.

Официально, впрочем, цель открывшейся 21 января лондонской конференции была прямо противоположная: крупнейшие империалистические державы собрались для того, чтобы ослабить угрозу новой войны путем сокращения морских вооружений. На первом торжественном заседании правительственные ораторы, начиная от «рабочего» премьера Макдональда и кончая фашистским министром ин. дел Италии Гранди, наперебой надрыгались у микрофона, чтобы поведать всему миру о своих пацифистских намерениях. Обывательская публика с умилением принимала по радио эти миролюбивые речи и гордилась возвышенным образом мыслей своих правителей.

Но эта радиофицированная болтовня, конечно, никого не может ввести в заблуждение, кроме, впрочем, лидеров Второго Интернационала. Но и их «наивность» тоже деланная, — она входит в систему политической работы Бонкуров, Вандервельде и прочих Гендерсонов. Их политическая установка — делать вид, что Лига Наций работает на благо народов, а Второй Интернационал играет роль толкача этой одушевленной благими намерениями, но несколько медлительной Лиги.

Верное этой тактике, бюро Второго Интернационала собралось 4—5 января в Гааге — поближе к господам министрам — для обсуждения своей позиции в вопросе о морском разоружении. Ре-

резолюция была принята весьма глубокомысленная. Второй Интернационал выразил свое сожаление о том, что Соединенные Штаты до сих пор не входят в Лигу Наций и что державы временно отказались от обсуждения вопроса о разоружении в рамках этой Лиги. С тем большим удовлетворением приветствует Второй Интернационал инициативу британского рабочего правительства Англии, которому удалось добиться созыва конференции пяти крупнейших морских держав в Лондоне. Решения этой конференции поступят в подготовительную комиссию Лиги Наций по созыву конференции по разоружению для того, чтобы обеспечить успех этой конференции.

Уже эта постановка вопроса свидетельствует о том, что Второй Интернационал играет роль простого подголоска Лиги Наций. Международное меньшевистское бюро поспешило солидаризоваться с заправилами Лиги: английским «рабочим» правительством, проявившим «благородную» инициативу, и французским правительством, подчеркнувшим в своем меморандуме, что какие бы то ни было решения лондонской конференции могут получить международное признание лишь по утверждению их соответствующими инстанциями Лиги Наций.

В практической своей части резолюция Второго Интернационала делает попытку отмежеваться от официального французского тезиса о том, что «разоружение на море находится в зависимости от соответствующих мероприятий в области воздушных и сухопутных вооружений, ибо все виды оружия находятся между собой в тесной связи». Но немедленно вслед за этим делается в угоду Франции натиск на соперничающую с ней Италию: «Второй Интернационал будет поддерживать инициативу британского правительства и следить за тем, чтобы другие правительства не ставили во главу угла вопросы престижа, и в частности следить за тем, чтобы фашистское правительство Италии не сорвало бы лондонской конференции».

Общий смысл резолюции: Второй Интернационал будет поддерживать

Англию против Америки и Францию против Италии. Правда, эта «антантовская» позиция плохо вяжется с каким бы то ни было разоружением, но ведь для Вандервельде нет никакого основания держать себя в роли председателя Второго Интернационала иначе, чем на посту министра ин. дел Бельгии. И те же соображения руководят и всеми его коллегами.

Социалисты всех стран поддерживают в вопросе о разоружении точку зрения своего правительства. Во Франции самым горячим защитником правительственного меморандума явился Бонкур, который, кстати сказать, занялся затем стратегическим обследованием франко-итальянской границы. О выступлении Бонкура мы находим следующий отзыв в телеграмме парижского корреспондента «Times»: «Речь Поля Бонкура встретила горячее и поразительно единодушное одобрение большей части парижской прессы. Почти без различия партий все газеты поддерживают доводы бывшего социалистического председателя французской делегации в Женеве. Особенно подчеркиваются следующие положения: опасность лондонской конференции состоит в том, что она пытается separatно разрешить вопрос об одном из видов вооружений; взаимозависимость сухопутных, морских и воздушных средств войны не может быть оставлена без внимания; паритет в том виде, как он принят для Англии и для Америки и как он намечался для Франции и Италии, означает лишь увеличение вооружений до нового высшего уровня и, говоря словами Бонкура, неизбежно возвращает нас к системе союзов, тайных переговоров и частных соглашений» («Times» 21 дек.).

Из доводов Бонкура особенно заслуживает внимания указание на то, что принцип паритета флотов конкурирующих на море держав фактически сводится к увеличению морских вооружений до нового высшего уровня. Это блестяще доказывается анализом англо-американского соглашения о паритете. Об англо-американском соглашении на счет равенства флотов можно, впро-

чем, говорить лишь условно, поскольку Америка настаивает на предоставлении ей права на обладание 21 крупным крейсером, а Англия соглашается для Америки лишь на норму в 18 крупных крейсеров. Но если даже оставить эту оговорку в стороне, то существенным с точки зрения Америки является тот факт, что предоставляемая ей даже в английском варианте норма в 18 крупных крейсеров и 15 мелких намного больше имеющегося в настоящий момент у САСШ наличного флота и оставляет Америке большой простор для строительства новых боевых единиц, ибо паритет подгоняет мощность американского флота к английскому.

Но еще более любопытен тот факт, что принцип паритета не означает ограничения новых морских вооружений даже для Англии. Английский морской министр Александер с большой помпой заявил, что во имя разоружения Англия согласилась уменьшить свой флот с 70 до 50 крейсерских единиц. Как-какие консервативные газеты даже обеспокоились этими разоружительными тенденциями морского министра, но правительственная «Daily Herald» неожиданно разболтала секрет «широкого жеста» Александера. «Что это за цифра 70? — спрашивает официоз британской рабочей партии. — В 1926 г. в британском флоте было 47 крейсеров, в 1927 г. — 48, в начале 1929 г. — 52 и в конце 1929 — 54 крейсера. Таким образом, предложение Александера о 50 крейсерах означает, что наш флот будет сильнее, чем в 1927 г., и лишь несколько слабее, чем в настоящее время». Отметив незначительность этого сокращения, «Daily Herald» с пафосом пишет: «Это не тот дух, при котором конференция может окончиться успешно. Примите во внимание, господа из адмиралтейства, что мы не склонны более смиренно принимать ваши указания» («Daily Herald» 14 янв.).

Может показаться странным, что орган рабочей партии нападает на морского министра, члена кабинета Макдональда, за недостаточность его тяги к разоружению. Но странность эту разгадать не трудно. Своими нападками

«Daily Herald» помогает Александеру отразить упреки консерваторов в том, что он ради разоружения жертвует интересами британского флота и в то же время скрывает от непосвященных тот факт, что Александер не только ни в какой мере не сокращает боевую силу английского флота, но даже несколько ее увеличивает. Ибо 54 крейсера, числящиеся сейчас в списках английского флота, включают в себя и известное число совершенно устаревших судов, а крейсеров, представляющих собою боевую единицу, в британском флоте в данный момент не более 45. Устанавливая норму в 50 крейсеров, Александер дает еще некоторый простор для нового морского строительства.

Демагогия «Daily Herald» имеет, наконец, целью отстоять некоторую свободу действий для Макдональда, ибо «великодушные» предложения Александера менее всего, конечно, могут обмануть американских морских экспертов, со стороны которых на конференции можно ожидать всяких новых трюков.

Необходимо отметить, что принятое в Вашингтоне по предложению Макдональда решение об уничтожении подводного флота было направлено к тому, чтобы обезопасить английский флот от всяких неприятностей в Ламанше и тем самым освободить английский флот для операций в других морях, т. е. косвенно усилить его по сравнению с американским флотом.

Английское предложение об уничтожении подводного флота направлено, таким образом, не только против Франции, но и против Америки. Другим маневром лондонских социал-пацифистов является согласие их на увеличение японского флота с установленной Вашингтонским соглашением 1921 г. пропорции 5 : 5 : 3 до 5 : 5 : 3½, ибо усиление морской мощи Японии направлено лишь против Америки, а не против Англии.

Наконец, и итальянское требование о паритете французского и итальянского флота также укладывается в рамки англо-американского соперничества, ибо уменьшение французского

флота на руку Англии. Надо иметь в виду, что франко-итальянский паритет имеет для Италии смысл лишь при условии сокращения французского флота, ибо угнаться за последним, если бы равенство было принято на уровне французского флота, она экономически не может. Так, по данным, публикуемым «Temps» (от 19 января), наличный французский флот имеет тоннаж 513 тысяч тонн, а итальянский — лишь 274 тысячи тонн, а если принять во внимание строящиеся суда, то соответствующие цифры будут: для Франции — 712 тыс. тонн, а для Италии — 393 тыс. тонн.

Настоящие строки пишутся в тот момент, когда лондонская морская конференция лишь приступает к своей работе. Не подлежит сомнению, что в ходе работ этой конференции соперничество империалистических держав обрисовывается еще более выпукло, но уже та обстановка, в которой лондонская конференция начинает свою деятельность, достаточно вскрывает лживость «миролюбивых» устремлений буржуазных и «социалистических» правительств. Разыгранный 21 января в палате лордов, где происходит заседания конференции, радиоконцерт прошел очень гладко, но дальнейшие заседания пройдут без услуг микрофона, ибо империалистическая какофония не приспособлена для ушей профанов.

### Перестрелка через Тихий океан

Достопочтенные партнеры по лондонской игре в разоружение выдвигают друг против друг не только стратегические, но и не менее увесистые «золотые» аргументы. Это особенно ярко сказалось на отношениях между Соединенными Штатами и Японией.

Япония в январе отменила запрещение вывоза золота из страны, что является, по мысли авторов этой финансовой реформы, окончательной стабилизацией золотого курса иены. Говорить о прочности этой реформы пока преждевременно. Несомненно во всяком случае, что правительство и тесно связанные с правительственной партией минсейто крупнейшие японские банки достаточно подготовились к

этой реформе, вопрос о которой поставлен уже давно.

Тем не менее американский капитал немедленно перешел в наступление. Токийское отделение американского «Нэшенэл Сити Банк» сразу же после вступления нового закона в силу заявило, что 21 января оно вывезет в Америку золото на сумму 12 миллионов иен. Хотя «Нэшенэл Сити Банк» имеет достаточное основание вывезти золото из Америки в связи с потерями, понесенными им в период биржевого краха, но не подлежит сомнению, что все же побудительную причину этой поспешности надо искать в области международной политики. Значительная часть японской печати усматривает в решении «Нэшенэл Сити Банк» своего рода демонстрацию, являющуюся ответом на требование Японии о повышении установленной для нее пропорции морских сил с 5:5:3 до 5:5:3½.

Открытие лондонской конференции совпадает, таким образом, с началом «золотой» перестрелки между Америкой и Японией через Тихий океан. Сам по себе вывоз 12 миллионов иен золота, хотя за ним ожидается вывоз золота и некоторыми другими иностранными банками, оперирующими в Японии, не может, конечно, сразу подорвать устойчивость японской валюты, и японское правительство проявляет оптимизм — может быть, деланный — в проведении финансовой реформы.

Более серьезным является разразившийся в Японии экономический и политический кризис. Кризис этот отчасти связан с американским кризисом, — сокращение потребления предметов роскоши в САСШ не могло не отразиться на вывозе японского шелка в Америку, — но в значительной степени он связан именно с финансовой реформой. Поддержание золотого курса иены требует жестких условий кредитования, что само по себе является ударом по развитию народного хозяйства страны. Всем известно, с какой огромной промышленной депрессией было связано проведенное в Англии Черчиллем восстановление золотого фунта стерлинга.

Проведение «золотой» реформы в Японии связано с тем большими затруднениями, что уже до нее в течение всего 1929 года в стране проявлялись явные признаки промышленной депрессии. Так, по данным японского государственного банка, индекс числа занятых рабочих составлял в октябре 1929 года лишь 91,5 (за 100 приняты данные 1926 года). Вексельное обращение за 1929 год также понизилось по сравнению с 1928 г. приблизительно на 6,5 проц.

Финансовая реформа сразу обострила все эти явления. В хлопчатобумажной промышленности предстоит сокращение производства на 20 проц. Картель крупнейших сталелитейных предприятий заявил о своем намерении сократить производство в I квартале (январь—март) 1930 г. на 30 проц.

И это лишь первые — январские — отклики на «оздоровительную» финансовую политику правительства.

Эти экономические осложнения тесно связаны и с политическими затруднениями. Увольнения рабочих, перевод на короткую рабочую неделю и временные закрытия фабрик становятся все более частым явлением. Безработица, которая при перенаселенности Японии является хроническим бедствием японского пролетариата, вступает в острую фазу. Волна недовольства охватывает все более и более широкие трудящиеся массы Японии.

Показателем этих политических затруднений является декрет о роспуске парламента и назначении новых выборов. Роспуск парламента как раз в момент созыва лондонской конференции, когда японской делегации необходимо с достаточной авторитетностью отстаивать свое требование о повышении установленного для Японии соотношения флотов с другими державами, сам по себе свидетельствует о серьезности переживаемого Японией политического и хозяйственного кризиса.

Официальным мотивом роспуска парламента является неблагоприятное для правительства соотношение сил в парламенте: правительственная либерально-буржуазная партия минсейто насчи-

тывает около 175 депутатов, тогда как оппозиционная партия сейюкай, во главе которой стоят чисто милитаристические группы, имеет за собой 240 депутатов. Такое распределение парламентских мандатов не соответствует, по уверениям правительства, истинному соотношению сил в стране.

Само собой разумеется, что и новые выборы не отразят истинного настроения большинства населения Японии хотя бы потому, что введенное в 1927 г. и впервые примененное на выборах 1928 г. «всеобщее» избирательное право предоставляет фактически право голоса лишь 13 миллионам граждан при 60-миллионном населении Японии. Да и эти 13 миллионов человек голосуют при сильном нажиме правительства, имеющего достаточный арсенал средств для воздействия на избирателей.

Тот факт, что правительство партии минсейто, в течение года обходившееся без парламентского большинства, сейчас решило пойти на риск новых выборов, сам по себе говорит о том, что экономический кризис требует от правительства решительных мероприятий, на которые правительство меньшинства пойти не может.

Правительство вынуждено поэтому всеми мерами добиваться завоевания парламентского большинства, чтобы затем с достаточной «авторитетностью» проводить свою политику. В центре этой политики, несомненно, будут лежать беспощадное подавление волнений безработных и жесткая налоговая политика, направленная к поддержанию находящейся в стесненном положении промышленности за счет обирания трудящихся масс.

Мы присутствуем, таким образом, при процессе расширения мирового кризиса. Свыше 3 миллионов безработных в Германии, затяжная безработица в Англии, рост безработицы в Чехо-Словакии, Италии, Австрии, Венгрии, Румынии и ряде других европейских стран, крах «просперити» и рост безработицы в Америке — вот те сообщения, которыми пестрит в настоящее время мировая печать. Сейчас кризис безработицы перебрасывается в Япо-

лию. Дальний Восток, так же и как и Дальний Запад, оказывается пораженным той же язвой, от которой страдает послевоенный капитализм Европы.

### Международные претензии парижской биржи

На фоне мирового кризиса есть, однако, отдельные страны, которые пока еще не испытывают на себе достаточно ощутительно влияние кризиса. К числу таких стран принадлежит Франция. «Если биржевые сделки значительно замедлились в конце года под влиянием мировой депрессии, то парижский денежный рынок выявил в данном случае исключительную силу сопротивления» — так заявил французский министр финансов гаагскому корреспонденту журнала «Europe Nouvelle» (см. «Europe Nouvelle» от 11 января).

Заявление это любопытно по двум причинам. Во-первых, оно является первым официальным признанием паличия мирового кризиса (скромно именуемого «депрессией») со стороны буржуазного министра. Во-вторых, оно является своего рода манифестом, ибо за выщипанной фразой следует другая многообещающая фраза: «Настал час для нашего денежного рынка взять на себя международную роль. Основные условия создания крупного финансового центра сейчас налицо. Страна восстановила свою традиционную мощь в области сбережения. Она значительно расширила свою производительную деятельность. Наконец, и в особенности, франк стал золотой валютой неоспоримой прочности, на основе которой вполне возможно вести международные расчеты».

Итак, французский министр финансов официально возвещает претензии французского капитала на то, чтобы отбить у Лондона его монополию мирового денежного рынка и сделать Париж центром финансирования мировой торговли. Претензия эта не является неожиданностью. Еще в ноябре прошлого года французская печать сообщала о том, что директор Банк де Франс Моро сделал министру финансов доклад об использовании скопившихся во Франции огромных запасов золота и

иностранной валюты для «создания на парижском рынке организации, которая могла бы играть первую роль в распределении международного кредита».

В докладе Моро был намечен ряд мероприятий, которые необходимо провести для осуществления этой задачи. К числу этих мероприятий относятся изменение системы налогового обложения биржевых и торговых сделок и специализация французских банков по функциям: депозитные банки, репортные банки (для кредитования биржевых спекуляций) и акцептные банки. Роль акцептных банков состоит в том, что они ставят свою гарантию на сделках между торговыми фирмами различных стран. Если, скажем, германская фирма закупает какой-либо товар в Аргентине, то она, естественно, стремится получить от поставщика краткосрочный кредит, дающий ей возможность расплатиться за полученный товар, хотя бы частично, по реализации его на месте. Но так как аргентинская фирма недостаточно осведомлена о кредитоспособности ее германского клиента, то предоставление кредита связано с риском, который, естественно, мешает заключению сделки. Тут-то и приходит на помощь крупный акцептный банк, обычно всемирно известный, подпись которого на обязательстве покупателя в достаточной степени обеспечивает кредитора. Акцепт является поэтому наилучшей формой кредитования международной торговли, а создание в том или ином мировом центре банков, производящих функцию акцепта, превращает этот центр в международный рынок векселей.

Почти одновременно с докладом Моро Шерону парижская пресса сообщила о том, что ряд крупнейших французских банков организует в Париже акцептный банк с капиталом в 100 миллионов франков. Таким образом, первый шаг в завоевании Парижем роли международного денежного рынка был сделан.

Значение этого факта понятно: финансирование мировой торговли является для французских банков источни-

ком прибылей, используемых в значительной степени на кредитование французской промышленности и торговли и, кроме того, дает министерству иностранных дел могущественное орудие воздействия на международную политику.

До сих пор роль международных мировых денежных рынков принадлежала Лондону и Нью-Йорку. При чем Нью-Йорк финансировал международную торговлю путем биржевых операций, а Лондон — преимущественно путем учета и акцепта международных векселей. Не вдаваясь сейчас в технические детали американской и английской систем, укажем лишь, что американская система неизбежно связана с биржевой спекуляцией, и последний крах на нью-йоркской бирже отделил ее невыгодные стороны. Английская система представляется более «солидной», но она требует великолепной банковской организации, которая и была основой преобладания Лондона на международном денежном рынке.

К созданию этой банковской системы и приступает сейчас французский капитал под непосредственным руководством министерства финансов и Банк де Франс.

И надо признать, что эта перспектива представляет серьезную угрозу для Лондона. По количеству запасов золота Банк де Франс уже значительно обогнал английский банк. К тому же приток золота во Францию идет безостановочно. Как известно, в октябре английский банк был вынужден повысить учетный процент с 5½ до 6½ процентов в виду серьезного положения, создавшегося в результате отлива золота во Францию и в Америку. Крах на нью-йоркской бирже к концу октября создал обратный отлив золота из Америки в Англию, что позволило

английскому банку вновь снизить учетный процент. Но и до краха, и после него золото из Англии (как и из ряда других стран) продолжало отливаться во Францию. Золотой франк оказался могущественнее фунта стерлингов.

В накаленную атмосферу империалистических распрей вступает новый фактор. Французское золото является для «рабочих» империалистов Англии не менее серьезной угрозой, чем французский подводный флот, против которого строит мины Рамзай Макдональд.

Вместе с тем империалистические тенденции французского капитала создают серьезную угрозу для французского пролетариата. Окрепшая французская буржуазия уже объявила открытую войну французской компартии и унитарной конфедерации, стоящей во главе красных союзов Франции. Само собой разумеется, что удар по революционному авангарду французского пролетариата является стратегическим приемом для общего наступления капиталистов на рабочий класс Франции. Усиленная рационализация, проводимая с благословения лидеров реформистской конфедерации, сокращение французского экспорта после стабилизации франка, непрекращающееся повышение индекса прожиточного минимума, поднявшегося с 531 в IV квартале 1928 г. до 556 в середине 1929 г., и, наконец, общие условия мирового кризиса — все это создает почву для развертывания ожесточенной классовой борьбы. Рост стачечного движения в 1929 г. и в начале 1930 г. служит тому наглядным показателем. «Цветущая» капиталистическая Франция заключает в себе те же корни капиталистических противоречий, как и ее менее удачливые конкуренты.

## 2. ЯПОНСКИЕ СИЛУЭТЫ

И. Тайгин

## Япония—не Европа!

Когда яркое весеннее солнце стало медленно склоняться к горизонту, мой спутник, немецкий профессор, двадцать лет проживший в Японии, уверенно протянул руку вдаль и с явным волнением в голосе воскликнул:

— Вот она — Страна Восходящего Солнца!

На линии горизонта, слегка туманясь и синев, неровными изломами вычерчивался гористый берег. Было что-то сказочное и волшебное и в этом ярко-синем, слегка волнуемом море, и в этой дальней земле, так неожиданно поднявшейся из океана, и в этой белой полосе пены за кормой. Было что-то особенное в тоне и жестах немецкого профессора. Но для меня все это было еще мало понятно. Я обернулся к моему спутнику и спросил:

— Вы, кажется, чем-то взволнованы?

— Взволнован? Конечно, взволнован! — ответил профессор с какой-то неуловимой вибрацией в голосе. — Я провел в Японии лучшую половину своей жизни, я изъездил и исходил ее вдоль и поперек и могу сказать, не хвастаясь, что знаю ее, как редкий из европейцев. Она вся у меня вот тут, на ладони... И все-таки я не уверен в своем знании. В Японии есть что-то своеобразное и особенное, что-то глубокое и непонятное, что навсегда останется закрытым для людей западной культуры. Никогда я не испытываю этого так ярко, как тогда, когда после нескольких месяцев пребывания в Европе вновь возвращаешься к японским берегам. Явственно ощущаешь, что соприкасаешься с какой-то неразгаданной тайной, и от этого волнуешься.

— Но в чем же дело? — невольно откликнулся я. — Разве современная Япония с ее фабриками, автомобилями и броненосцами не та же Европа?

— Ничего подобного! — горячо возразил профессор. — Япония — не Евро-

па, совсем не Европа! Япония есть Япония! Если вы не научитесь понимать этой основной истины, вы не поймете в Японии ничего.

Я с некоторым недоумением поглядел на моего собеседника, но он продолжал со все возрастающим одушевлением:

— Хотите примеров? Пожалуйста, сколько угодно... Вот хотя бы Осака — двухмиллионная столица японской промышленности. Огромный шумный город с сотнями дымящихся труб, с многоэтажными зданиями магазинов и контор, с широкими, залитыми асфальтом улицами. Как-будто бы совсем Европа. Но приглядитесь внимательнее к этим самым широким, залитым асфальтом улицам и вы увидите: с одной стороны, по ним быстро несется великолепный ролс-ройс или лимузин, а с другой — по ним же торопливо шлепает копытообразными подошвами рикша, самый обыкновенный средневековый рикша, который в поте лица своего везет грузного и грубого американца. Если хотите, это — символ современной Японии: сочетание быстрого автомобиля с человеком-скотиной.

И так на каждом шагу.

Пройдите по центральным районам Токио, — широкие, красивые улицы, громадные железобетонные дома американского типа, блестящие магазины, вечная толкучка автомобилей, автобусов, трамваев, мотоциклеток. Совсем Европа. Но отойдите немножко в сторону, сверните в чисто японские кварталы города, и вы увидите совсем другую картину: узенькие, кривые переулки, где с трудом могут разминуться для встречных велосипеда, крохотные домики из фанеры и бумаги — настоящие избушки на курьих ножках, сотни прямо пахнущих восточных лавочек с какими-то непонятного вида съестными продуктами, пестрая и густая толпа пешеходов, забавно постукивающих по скверной мостовой своими «гета» — японской разновидностью деревянных

сандалий. И вы сразу чувствуете, — это уже не Европа, а Азия.

Или взглянете вечером на тот же Токио с высоты — целое море огней, целое море то вспыхивающих, то гаснущих световых реклам. Глядя в такие моменты на столицу империи, начинаешь воочию понимать, почему Япония считается второй по электрификации страной в мире. Опять-таки — совсем Европа. А на ряду с этим — знаете ли вы? — в двухмиллионном сверкающем Токио до сих пор нет канализации. В летние месяцы целый ряд районов столицы поражен совершенно нестерпимым зловонием. Снова Азия, и при том весьма заскорузлая Азия.

-- Но все-таки японская промышленность, техника, банки... — начал было я.

— И они не делают Японию Европой, — резко перебил меня мой собеседник. — Вы говорите — промышленность? Что ж, нельзя отрицать, в этой области Япония за последние десятилетия достигла крупных успехов. Однако, и тут — какое поразительное сочетание современности с средневековьем! Вот вам характерный пример. В Осака вы найдете десятки крупнейших текстильных фабрик. Они оборудованы по последнему слову техники. Везде — новейшие английские и американские машины, наиболее совершенные методы производства. Ни в Ланкашире, ни в Германии вы не найдете ничего лучшего. Чем не Европа? Но пройдите как-нибудь по длинным корпусам текстильных фабрик — и вам бросится в глаза одна особенность: на фабриках везде работают исключительно молоденькие девушки, в возрасте от 12 до 20 лет. Взрослых работниц почти нет. Почему так? А дело очень просто. Японские текстильщицы — это настоящие рабыни. В подавляющем большинстве они крестьянские девушки. Родители подписывают с дирекцией фабрики контракт, и на 2—3 года продают своих дочерей в полное и бесконтрольное распоряжение предприятия. Молодых девушек отрывают от семьи, увозят в город и ставят к прядильному или ткацкому станку. Живут они тут

же в общежитии при фабрике. Кормятся в фабричной столовой. Необходимые вещи покупают в фабричной лавке. За ворота фабрики им выходить строго запрещено. Родители навещать дочь также не имеют права. Вся переписка между девушкой и домом цензуруется конторой. Заработная плата работницам на руки почти не выдается: часть ее отсылается дирекцией непосредственно в деревню родителям, другая часть идет в погашение кредита работницы в лавке, столовой и т. д., кое-что отчисляется в «сберегательный фонд» работницы, т. е. на приданое. Ибо почти все крестьянские девушки идут на фабрики для того, чтобы помочь семье, и для того, чтобы скопить малую толику для выхода замуж. Проработав 2—3 года в промышленности, такая работница возвращается в свою деревню, находит себе мужа и превращается в крестьянку. Но покупает она свое «счастье» лишь временной продажей себя в рабство. Ведь до чего доходит дело, — в последние годы на текстильных фабриках были стачки работниц, во время которых выставлялись такие требования, как «разрешение выходить за ворота», «разрешение видаться с родителями во время болезни» или «разрешение свободно выходить замуж». Куда же дальше? Здесь на вас обоими глазами смотрит уже не Европа, а подлинная Азия и притом средневековая Азия.

А банки? Биржи? Страховые общества? Капиталистические компании? Их в Японии тысячи, десятки тысяч. В Токио, Осака, Кобе, Нагойя, Киото, Иокогаме они пестрят вам глаза своими зданиями, конторами, вывесками, рекламами, объявлениями. То же самое, что в Лондоне, Берлине, Нью-Йорке. И однако... раз в год все биржевые маклера Японии идут в храм и усердно молятся — о чем? Представьте, они получают «от бога» точные указания о ценах и котировках на предстоящие 12 месяцев! Можете вы себе представить что-нибудь подобное в Европе?..

Или семья? Япония несомненно является одной из наиболее капиталистических стран в мире. Капитализм

же везде построен на принципе индивидуализма, крайнего индивидуализма. Между тем в Японии до сих пор основной социальной единицей общества является не личность, а семья, причем семья в самом широком понимании этого термина (т. е. с родителями, внуками, кузенами, кузинами и т. д.). Скорее это даже не семья, а род. Семья управляется семейным советом, и первая, наиболее святая обязанность каждого члена семьи — в точности следовать решениям совета. Совет же судит обо всем на свете; о том, кого из членов семьи и на ком надо женить, кого с кем надо развести, кому какую профессию изучать, кому какими спекуляциями заниматься. Два года назад мне пришлось покупать участок земли в Токио, — шесть месяцев не мог закончить этой простой операции потому, что один из членов семейного совета той фирмы, у которой я покупал землю, был в отъезде, а без него семейный совет не имел кворума. Крупнейшие капиталистические концерны в роде Митсуи и Мицубиси вплоть до настоящего дня управляются своими семейными советами. Если в семье полетария работают двое или трое, в профессиональный союз вступает обычно только отец. Это считается достаточным: если к организации примкнул глава семьи, то членами ее тем самым становятся и все прочие работники той же семьи. Да, индивидуум в Японии даже и сейчас скован по рукам и ногам «семейной тиранией»! Опять странное сочетание Европы и Азии, XX века с XV столетием.

Или еще — армия, флот... Модернизация их начата была раньше всего, на их развитие и усовершенствование не жалели ни энергии, ни средств. И действительно, в смысле организационно-техническом вооруженные силы Японии стоят вполне на уровне наиболее «передовых» стран. Армия построена по прусско-германскому образцу, флот — по образцу британскому. Они испытаны уже в крупных боях и доказали, что по праву могут считаться вооруженными силами XX столетия. И однако... Герой русско-японской войны генерал Ноги покончил свою жизнь

в 1912 г. харакири, желая следовать в могилу за своим императором. А вместе с генералом Ноги харакири сделала и его жена. Этого мало. После своей смерти генерал Ноги был возведен в звание божества. В Токио ему построен храм, ему служатся молебны и приносятся жертвы. С другим героем русско-японской войны — престарелым адмиралом Того — вышло еще чуднее. Ноги стал богом, по крайней мере после смерти. Того же уже сейчас, при жизни, получил звание божества. Ему уже сейчас оказывают неземные почести, и на торжественных банкетах у императора он всегда сидит за особым маленьким столиком, на одну лишь ступеньку ниже микадо, который в свою очередь, по понятиям японцев, тоже является божеством. Что это — Европа или Азия? Какой век — XX или XV? Что сказали бы вы, если бы в один прекрасный день Фош или Гинденбург были объявлены богами?

И, наконец, еще один, последний пример. В прошлом году мне пришлось строить здание для новой немецкой школы в Центральной Японии. В качестве архитектора был приглашен один из крупнейших японских авторитетов в этой области, профессор политехникума, талантливый писатель-специалист Накамура-Сан. Он учился в Европе и Америке, прекрасно владеет несколькими иностранными языками и широко известен за пределами своей страны как большой мастер по постройке зданий, устойчивых против землетрясения. Казалось бы, рекомендация достаточная. Накамура Сан — яркий представитель наиболее квалифицированной японской интеллигенции, живое воплощение XX века в своей стране. Так вот, этот самый Накамура-Сан, закончив все чертежи и подписав контракт на постройку школы, вдруг задает мне как-будто случайный вопрос: «Скажите, пожалуйста, какие в вашей стране существуют обычаи, которыми ознаменовывается начало постройки здания?» С некоторыми недомыслием я ответил, что в таких случаях у нас устраивается торжественная церемония закладки первого камня, приглашаются видные лица, произно-

сятся речи и т. д. Накамура-Сан с видом величайшего интереса выслушал мои объяснения и с самой очаровательной японской любезностью (которой, к слову, никогда не надо верить) стал восхищаться разумностью и целесообразностью наших обычаев. Однако, по всему виду архитектора, по тону его голоса, по характеру жестов я чувствовал, что Накамура-Сан что-то не договаривает. Я не ошибся. Спустя несколько минут, сделав самую приятную улыбку и вдохнув с легким присвистом большой глоток воздуха, что у японцев означает максимум почтения к собеседнику, Накамура-Сан осторожно начал: «А в нашей стране есть обычай, что перед тем как начать постройку здания, с того места, где будет вестись постройка, надо выгнать чертей...» Я с полным недоумением посмотрел на моего собеседника: что он, — шутит или смеется надо мной? Нет, Накамура-Сан был совершенно серьезен. Только зрачки его глаз немножко закатились, точно он смотрел куда-то в даль веков. Я переспросил архитектора, не ослышался ли я. Оказывается, нет, не ослышался. Накамура-Сан говорил именно об «изгнании чертей», которые-де населяют всякий пустырь, всякий незастроенный участок земли. Для «изгнания чертей» надо пригласить буддийского монаха. Монаху надо заплатить, а он уж сделает все, что полагается: дунет, плюнет, покропит святой водой и произнесет необходимые заклятия. Накамура-Сан брался сам устроить в два счета всю эту операцию... Я не верил своим глазам, или вернее, ушам. И все-таки факт оставался фактом: один из крупнейших представителей японской интеллигенции серьезно говорил об «изгнании чертей» с купленного мной земельного участка. Что это — Европа или Азия? Какой это век — XX или XV?..

Нет, Япония — не Европа. Тысячу раз нет! Япония есть Япония. Япония — это причудливое, подчас просто фантастическое сочетание Азии с Европой, прошлого с настоящим, дикого средневековья с рафинированным модернизмом, первобытной сохи с

электрическим поездом и автомобилем.

— Но где, в чем причина этой поразительной пестроты японской жизни? — невольно перебил я профессора. — Ведь Япония уже 60 лет идет путями европейской цивилизации. Неужели за такой сравнительно длительный период времени страна не успела переродиться и перевоспитаться с ног до головы?

Профессор отвечал:

— То, что складывалось веками и даже тысячелетиями, не может сойти со сцены в несколько десятков лет. У японской старины глубокие корни, и она не сдает своих позиций без боя. Не забудьте также, что европейская цивилизация явилась красивым цветком, пересаженным в Японию из чужого сада. Такому цветку вдвойне трудно укрепиться в новой и не совсем привычной земле. В течение полувека различные элементы западной культуры — техника, военное дело, политические формы, наука, искусство — крупными порциями вспрыскивались в толщу старо-японского уклада. Что получилось в результате? Получилось пестрое сочетание старого и нового, частью уже принявшее форму прочного химического соединения, а частью еще представляющее чисто механическое смешение двух разнородных элементов, подобно смешению масла и воды в стакане. Отсюда те противоречия, которые так остро режут глаз каждому наблюдателю японской жизни. Несмотря на все свои огромные успехи, Япония все еще находится в переходной стадии развития. Она все еще не вышла из периода ученичества, — я сравнил бы ее со студентом последних курсов университета, — не даром в области культуры, науки, искусства, литературы она до сих пор не дала ни одного действительно мирового имени.

И еще одно. Японцы — очень способная, трудолюбивая и настойчивая нация, но они — имитаторы, а не творцы. Как подражатели — они гениальны, как носители самостоятельной мысли — они ниже всякой критики. Не стану ругаться за будущее, но такими они пока-

зали себя, по крайней мере на протяжении минувших 12 столетий. Со времени «революции Мейдзи», как называют японцы переворот 1868 г., они с громадной энергией и с несомненным успехом имитируют европейско-американскую цивилизацию. А в течение тысячи лет перед тем они систематически пили из источников китайской культуры. Бросьте беглый взгляд на дореформенное прошлое Японии, и вы будете поражены, — все лучшее, все наиболее ценное в старо-национальном укладе жизни ведет свое начало из Китая. Формы земельного устройства, принципы государственного управления, религия, философия, письменность, архитектура, наука, поэзия, литература — все, все взято из Китая. Поразительно, до какой степени было могущественно влияние Китая на Японию: иного примера столь полного культурного поглощения одной нации другой, пожалуй, не найти в мировой истории! Конечно, часто бывают случаи, когда одна, более отсталая страна попадает в ученичество к другой, более передовой, — однако, через известный промежуток времени обычно ученик становится на ноги и начинает творить свою собственную культуру, которая нередко далеко превосходит культуру учителя. В Японии не случилось ничего подобного. Японской культуры никогда не было и нет. В течение тысячи лет до «революции Мейдзи» Япония просто переводила на свой язык китайскую культуру, а сейчас она переводит культуру капиталистического Запада. Эта слабость творческого духа имела очень большое значение. Она сильно замедлила освоение Японией новой цивилизации и превращение ее в подлинно европейскую страну.

Пароход замедлил ход и стал осторожно входить в длинную, узкую бухту, со всех сторон окруженную сказочно-прекрасными горами, с мягкими лесистыми шапками, ярко-зелеными долинами и крутыми отвесами береговых скал. На волнах замелькали сотни рыбацких лодок, катеров, парусных шхун, моторных шлюпок. Несколько

тяжелых морских гигантов пачкали небо темными клубами своих труб. Вдали обрисовались неясные силуэты портовых зданий, за которыми веселым пучком во все стороны разбежались кривые улочки с кукольными домами. Мы подходили к городу. Немецкий профессор с наслаждением вдохнул: бежавшие нам навстречу смешанные запахи порта и, пожимая мне на прощанье руку, заметил:

— Простите меня за длинный и, может быть, немного скучный монолог. Но я надеюсь, что сказанное мной поможет вам легче ориентироваться в новой обстановке.

Профессор не ошибся. Как часто и охотно я вспоминал его впоследствии! С какой признательностью я не раз перебирал в памяти его меткие оценки и остроумные выводы! Да, не подлежит никакому сомнению: профессор действительно хорошо понимал Японию.

#### Немного географии

... «Много богов после того родилось, и число их возрастало все больше и больше. Но так как мир продолжал оставаться в состоянии хаоса, то делать богам было нечего. Тогда собрались все боги и решили послать двух небожителей, Изагаги и Изанами, в туманные сферы для того, чтобы они превратили их в твердую землю. На прощанье боги сказали: «Мы даем вам бесценное сокровище, с ним вы будете править землей, которую должны создать». И при этом вручили Изагаги и Изанами острое копьё, прозванное Ама-Но-Нубоко, украшенное дивными драгоценностями...

Чета небожителей ступила на пловучий мост, который соединял небо и землю, и с любопытством стала смотреть вниз. Внизу же она увидела мир, еще не созревший, подобный густому туману, качающемуся в воздухе вверх и вниз и издающему необычайное благоухание... Изагаги спустил вниз свое драгоценное копьё и почувствовал, что оно коснулось чего-то. Он дернул копьё вверх, — с острия его скатились вниз и упали тяжелые капли, которые немедленно же превра-

тились в остров. Это был остров Онокоро<sup>1)</sup>. Обрадованные небожители спустились с пловучего моста на чудесно созданный остров и сделали его своим домом.

Когда Изанаги и Изанами захотели пожениться, они воздвигли в центре острова высокую колонну, названную Колонной Небесного Величия, а вокруг нее построили огромное здание, названное Дворцом Восьми Измерений. Затем Изанаги, который был мужчиной, пошел вокруг колонны налево, а Изанами, которая была женщиной, пошла вокруг колонны направо. Когда оба небожителя встретились, то Изанами первая воскликнула: «Как приятно видеть такого прекрасного юношу!» На это Изанаги ответил: «Как приятно любить такую прекрасную девушку!..»

В положенный срок Изанами родила своему супругу сына, но мальчик был слаб и лишен костей, как пиявка. Огорченные родители положили его в лодку, сделанную из тростника, и пустили плыть по течению. Однако, второй ребенок небожителей был не лучше первого. Тогда испуганные небожители поднялись на небо и стали спрашивать богов о причинах постигшего их несчастья. И боги отвечали: «Виновата женщина. Она согрешила, когда, идя вокруг Колонны Небесного Величия, первая сказала приветствие. Женщина никогда не должна забегать вперед мужчины».

Небожители поняли свою ошибку и решили ее исправить. Когда они снова вернулись на землю, они еще раз обошли вокруг Небесной Колонны. Но на этот раз Изанаги первый воскликнул: «Как приятно видеть такую красивую девушку!» На что Изанами отвечала: «Как я счастлива встретить такого прекрасного юношу!» Этот обмен приветствиями был более правилен и больше соответствовал закону природы.

Все дети, рожденные небожителями после того, не оставляли желать ничего лучшего. Первым был рожден остров Авадзи, вторым Сикоку, третьим Кюсю, четвертым Цусима и, наконец,

пятым самый главный остров Японии — Хонсю... После этого Изанаги и Изанами стали родителями большого числа меньших островов, которые расположились вокруг главных».

Так рассказывает древняя легенда о сотворении Японии<sup>1)</sup>.

Со времени Изанаги и Изанами в географии страны, вероятно, не произошло никаких серьезных изменений, но так как географические познания небожителей не отличались полным совершенством, то и должен несколько исправить и дополнить вышеприведенное описание в свете научных завоеваний последующих тысячелетий. Ибо по опыту знаю, что даже блестяще окончившие вуз или втуз советские интеллигенты имеют самые фантастические представления о природе и географии Японии.

Что такое Япония?

Это — империя 2.870 островов. Острова распределяются следующим образом:

|   |       |
|---|-------|
| Собственно Япония . . . . .                               | 519   |
| Колонии (Корея, Формоза, Ю. Сахалин, Пескадоры) . . . . . | 1.615 |
| Мандаты и оккупированные области (Квантунг) . . . . .     | 746   |

2.870.

Бедные небожители-предки! Им, вероятно, и не снилось такое многочисленное потомство. Однако, если остаться в стороне острова мелкие и мельчайшие, имя которым легион, то окажется, что крупных островов в Японской империи только 6, а именно:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Хонсю . . . . .      | 230 тыс. кв. км. |
| Хоккайдо . . . . .   | 88 " " "         |
| Кюсю . . . . .       | 44 " " "         |
| Ю. Сахалин . . . . . | 36 " " "         |
| Формоза . . . . .    | 36 " " "         |
| Сикоку . . . . .     | 19 " " "         |

453 тыс. кв. км.

А за вычетом колоний — Ю. Сахалина и Формозы — останется лишь 4

<sup>1)</sup> Легендарный остров японской мифологии.

<sup>1)</sup> См. Saichiro Isobe. — «The story of Ancient Japan?», Tokyo, 1929.

главных острова: Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку, которые в сущности и являются четырьмя «китами» Японии. Все остальное уже мелочь, правда, имеющая подчас серьезное стратегическое значение, но не играющая сколько-нибудь серьезной роли ни в экономической, ни в политической, ни в культурной жизни нации.

Как велика Япония?

Собственно Япония (без колоний и мандатов) занимает территорию, равную 388 тыс. кв. км. Это значит, что общая площадь Японии совершенно такова же, как площадь Польши или Финляндии. Но вот что важно: на этой площади в Японии живет 63 млн. населения против 30 млн. в Польше и 3½ млн. в Финляндии. Вместе же со всеми своими мандатами и владениями Японская империя занимает площадь в 675 тыс. кв. км., т. е. площадь Франции и Чехо-Словакии вместе взятых. Но зато и население всей империи в целом достигает 90 млн. человек.

Что значат эти цифры в более конкретном выражении?

Приведу один пример. Если вы захотите проехать всю собственно Японию с севера на юг, — от порта Ваканаи на о. Хоккайдо до порта Кагосима на о. Кюсю, — вам придется проехать 3½ суток в скором поезде и пересечь при этом два пролива. Зато проехать Японию с запада на восток, даже в самом широком месте главного острова Хонсю, можно всего лишь в двенадцать часов. Ибо Страна Восходящего Солнца, по воле небожителей или по прихоти природы, вытянулась длинным и узким поясом островов вдоль восточного берега Азии.

Существует широко распространенное мнение, что климат Японии прекрасен и делает ее волшебной страной хризантем и роз. Это и верно и неверно. Верно в том отношении, что цветы — красивые, но не пахнущие цветы — составляют неотъемлемую составную часть японской жизни. Прекрасно цветение вишен весной, прекрасны осенние клены в Никко. Неверно в том отношении, что климат Японии, по крайней мере для европей-

цев, в большей части страны тяжел и изнурителен.

На севере, на большом лесистом острове Хоккайдо, характером и природой сильно напоминающем наш Урал, климат здоров и приятен. Здесь лето похоже на наше русское лето, а зима покрывает землю пушистой снежной пеленой. Жители ходят на лыжах, катаются на коньках. На центральных равнинах острова январские морозы доходят до 20—25°. Японская армия как раз в это время устраивает тут свои маневры для подготовки солдат к войне в зимней обстановке... Против кого? Это ясно само собой: Япония имеет только одного соседа с глубокими снегами и крепкой зимой.

Но зато чем дальше на юг, тем горячее и тем мучительнее становится климат. Мучителен он, однако, не своими жарами. Сухая жара переносится европейцами сравнительно легко. Мучителен он тем, что сильная жара сочетается в нем с не менее сильной сыростью, а такая комбинация нередко становится нестерпимой. Возьмите Токио, Осаку или Кобе, — зимой в этих городах климат почти хорош. Снегу нет. Температура никогда не опускается ниже нуля. Светит яркое солнце. Цветут цветы. В январе дамы ходят в летних блузках по улицам. Лишь иногда с моря дует сырой, пронизывающий ветер, приносящий с собой туманы и дожди. Но вот наступает лето. В июне месяце начинается «Ньюбай» — пять недель непрерывных проливных дождей, когда кажется, что небо опрокидывается на землю. Все реки и озера выходят из берегов. Все ручьи превращаются в грозные потоки. Воздух насквозь пропитан влагой. В те краткие моменты, когда прекращается дождь, от земли, нагреваемой ярким подтропическим солнцем, валит пар, и острый запах прели и гнили переполняет атмосферу. В эти недели бурно расцветают травы и деревья, быстро зреет рис на полях. Кончается «Ньюбай» и на смену ему приходят долгие, жаркие и сырые летние месяцы, когда грозное южное солнце беспощадно сжигает мокрую преющую землю, когда температура доходит до

40—45° и в воздухе стоит замороженная тишина. Ни ветерка, ни дуновенья. А в то же время гнетет всепроникающая, всепоражающая сырость. Все время живешь в атмосфере, подобной той, какая бывает на банном полке. Пот с людей струится непрерывным потоком. Вновь одетая рубашка через час становится теплой, мокрой тряпкой и противно липнет к телу. Взятая в руки бумага сразу мкнет и чернила на ней расплываются. Тело изнемогает от какой-то непобедимой слабости, мысль становится вялой и ленивой. Ботинки, простоявшие ночь под кроватью, на утро зеленеют от плесени. Зимние костюмы, не запаянные с весны в металлические ящики, гниют и расплзаются по швам. И так дни за днями, недели за неделями вплоть до конца октября. Даже ночь не приносит никакого облегчения — та же сырая жара, та же нестерпимая духота плюс еще тысячеголосый до краев наполняющий воздух неугомонный свист цикад.

Легко ли в такой атмосфере европейцу? Очень нелегко. И нет почти европейца, который мог бы понастоящему приспособиться к этому климату, который в большей или меньшей степени не страдал бы от него. Единственное счастье — это то, что в Японии нет тропических лихорадок. Однако, и без них японский климат является весьма тяжелым испытанием, из которого европейцы и американцы далеко не всегда выходят победителями.

### Красива ли Япония?

О, да, Япония очень красива! В этом отношении ее всемирная слава вполне заслужена.

Я вспоминаю свои первые впечатления, когда в один прекрасный весенний день я мчался со скорым поездом от Симоносеки к Токио. Из окна вагона я видел южную половину главного острова Хонсю. Я смотрел, как замороженный, и не мог глаз оторвать от быстро меняющейся, но неизменной в своей сказочной красоте картины...

Мягкие изломы слегка затуманенных зеленокудрых гор, гор, которые не дают своим величием, а лишь пленяют

чарующей нежностью красок и прелестью очертаний. Тихие долины, по дну которых быстро мчатся шумливые реки и потоки. Голые красноватые скалы, с высоты которых стремительно падают вниз всклокоченные ленты водопадов. Светлые, задумчивые озера, в своих ясных водах отражающие то острые пики гор, то легкие извилины прибрежных холмов. Вишневые рощи, осыпанные, точно розовым пухом, весенними цветами. Рисовые поля, залитые водой, с согбенными фигурами крестьян в огромных соломенных шляпах. Пестрые деревни с десятками игрушечных домиков из фанеры и бумаги, с раздвижными стенами и идеально-чистыми циновками. Большие шумные города с кривыми улицами, яркими вывесками, ревом гудков, звоном трамваев, колотью, грязью, автомобилями, рикшами, громадными каменными домами. И тут же рядом — ослепительно-яркое южное солнце, гаснущее вечером в зареве роскошных закатов; сверкающее бездонно-голубое небо; сотни волшебных-прекрасных островов и островков с их зелеными рощами, белыми домиками и высокими крышами буддийских храмов, вереницей бегущих на всем протяжении Внутреннего моря<sup>1)</sup>; наконец, бурный прибой Великого океана, от мощных ударов которого глухо сотрясаются прибрежные скалы...

И так все время, все 24 часа, которые поезд бежит от Симоносеки до Токио. Это было какое-то потрясающее нагромождение красоты, которое опьяняло меня, завораживало, делало почти нечувствительным ко всем другим впечатлениям жизни. Я знаю Альпы и Кавказ, французскую Ривьеру и Байкальское озеро, но все-таки такой бешеной концентрации красоты на таком ограниченном пространстве я еще никогда не видел. И все время у меня на языке вертелся недоуменный вопрос: неужели это правда? Неужели это подлинная страна, а не искусно сделанная театральная декорация?..

<sup>1)</sup> Так называется пролив между островами Хонсю и Сикоку, считающийся одним из самых красивых мест Японии.

Позднее я много путешествовал по Японии. Я побывал в северной половине главного острова Хонсю, я изъездил Хоккайдо в разных направлениях, я видел остров Сикоку, я исколесил Капсайский район (район Осака, Кобе и Киото), я был на озере Бива и на берегах Японского моря, — и везде я находил то же самое, что так поразило меня в первый день моего пребывания в Стране Восходящего Солнца: громадное, нечеловеческое скопление красоты, которому нет равного в мире.

Память ярко рисует мне отдельные незабываемые картины...

Вот Хаконе. Узкая, извилистая дорога меж скал и утесов. Автомобиль крутыми зигзагами подымается все выше и выше. Лес, в начале редкий и прозрачный, становится все гуще, все таинственнее. Птицы меньше поют, солнце меньше играет по стволам деревьев. Редкие селения, отдельные домики все дальше остаются позади. Горы, лес, скалы... Скалы, лес, горы... И вдруг, как-то совсем случайно и неожиданно, автомобиль выскакивает на вершину. Деревья сразу раздвигаются, солнце снова вступает в свои права. Еще миг — и вы видите перед собой чудное, как мечта, и прозрачное, как хрусталь, горное озеро. Оно причудливо брошено здесь, в расщелине меж скал, на высоте 2.000 футов над уровнем моря. Оно километров десять в длину и километра два в ширину — узкое и длинное, как клинок самурайского меча. Вокруг озера весело толпятся кудрявые рощи, зеленые холмы, задумчиво-синевящие горы. Вдали белеет парус рыбака. Кругом — ни звука, ни движения. Полная тишина. Лишь в зеркальные воды озера величаво смотрится снежноголовый Фудзи-Сан<sup>1)</sup>, — самая могучая, самая прекрасная и самая знаменитая вершина Японии. Смотришь на эту картину и чувствуешь, что переживаешь сказку наяву, старинную сказку, внезапно переносящую тебя к тем седым временам, когда Изанаги и Изанами чудесным образом рождали свои прекрасные острова...

Вот Юума. Суровый северный остров Хоккайдо. Вулкан Комагатаке, из кратера которого еще и сейчас временами вырываются столбы дыма и огня. Его красное скалистое тело четко-остроконечным узором вырисовывается на фоне голубого неба. Его склоны обрывисты и изрезаны глубокими расщелинами. Он мрачен и жесток... А у подножья этого вулкана, в тени, отрабатываемой его вершиной, тихо плещет волной прекрасное озеро Юума. Воды озера чисты и глубоки. По озеру разбросаны сотни мелких и мельчайших островов. Есть острова, на которых большая компания может свободно устроить веселый пикник. Но есть и такие острова, на которых с трудом умещаются две молодых березки. Легкие изогнутые мосты то там, то там перекинуты через проливы между островами. Звучит семизен<sup>1)</sup>. Ярко пестреют бумажными вывесками пловучие ресторанчики, причудливыми иероглифами зазывая под свою гостеприимную кровлю гуляющих. Медленно плывут между островами лодки, движимые и управляемые по-японски одним кормовым веслом. Вся атмосфера дышит чарующей негой и глубоким спокойствием. Кажется, время остановило свой бег. А ночью, когда все ресторанчики ярко горят огнями и когда сотни лодок с фонарями на носу, подобно огромным светлякам, во всех направлениях движутся по невидимому озеру, картина становится совсем волшебной. Опять переживаешь дивную сказку, сказку, которая будит где-то глубоко в подсознании отблески далеких воспоминаний прошлых веков...

Вот Хиейсан. Высокая лесистая гора в окрестностях Киото. Маленький, точно игрушечный, фуникулер медленно и плавно подымает вас со дна широкой котловины, в которой расположена древняя столица Японии. Все выше, все выше! Мимо бегут скалы, потоки, кружевные мосты, купы деревьев, редко разбросанные домики. С каждой минутой все шире горизонт, все дальше и глубже храм и строения Киото. Кажется, точно все быстрее, все

<sup>1)</sup> У нас обычно известна под именем Фудзи-Яма.

<sup>1)</sup> Род японской гитары.

стремительнее воспаряешь над темной землей и все ближе возносишься к небу. Вдруг неожиданный толчок. Фундукер стал. Путь окончен. Пассажиры торопливо выходят из крохотного вагончика на платформу. Но это еще не вершина горы. Дальше длинный и извилистый подъем пешком. Впрочем, не совсем так: кто хочет — пешком, а кто хочет... на двуногой человеческой скотине. Ко мне подбегают двое маленьких, сухопарых японцев. У них на плечах длинный шест, а на шесте мелкая и широкая корзина с пестрой подушкой на дне. На ломанном английском языке они горячо убеждают меня сесть в корзину и отдаться на волю их испытанных ног и плеч. Я категорически отказываюсь. Но не все оказываются столь же «героическими». Вот две дородные японки спокойно взгромоздились на услужливо поставленные корзины и, точно насадки на яйцах, ритмично заколыхались на плечах носильщиков. Высокий, толстый американец с вонючей жвачкой во рту тоже влез в этот странный бамбуковый экипаж. Он едва поместился в корзине, а бедные маленькие японцы только крикнули под тяжестью его огромного тела. А один немецкий турист устроился еще оригинальней: он шел сам, но с обеих сторон его толкали в спину двое миниатюрных японцев...

Все выше, все выше! Дорога то вьется зигзагом по склону горы, то внезапно пропадает в расщелинах скал и в густых делях леса. Вот первая каменная площадка, на которой путешественники делают привал. Вот вторая каменная площадка, с которой открывается дивно-прекрасный вид на широкую панораму ярко зеленеющих гор и холмов. Еще усилие! Еще несколько крутых зигзагов вверх!.. И вдруг вы останавливаетесь, как вкопанный. Вы внезапно теряете дар слова.

Так вот она, вершина! Какой волшебный, какой необятный простор! Какая мощная, какая потрясающая картина!.. Глубокая котловина, в которой лежит Киото, перед вами вся, как на ладони. В дымке легкого тумана ле-

жит прекрасный город. Чуть маячат сказочные башни его храмов и дворцов. Кругом — горы, долины, озера, мягко нежащиеся в лучах полуденного солнца. За ними — снова горы, долины, озера. Дальше — еще горы, острые пики, скаты, провалы. Дальше — еще горы, еще синие цепи все более гаснущих, слабеющих, распыляющихся вершин. И так до самого горизонта.

А с другой стороны — гигантский скачок в пустоту, и там, глубоко внизу, в сверкающей оправе из ярко-зеленых берегов, кокетливо нежится жемчужина японских сказок — «священное» озеро Бива. Его холодные и прозрачные воды полны тишины и покоя. Как чудное исполинское зеркало без единой трещины, оно мерно и ровно убегает на десятки километров вдаль. Вот где-то мелькнул рыбацкий парус. Вот где-то сверкнул ярко-белым бортом небольшой пароход. И снова гладь озера невозмутима. И снова оно бесстрастно и спокойно смотрит в голубую глубь небес...

А там, дальше, за зеркальными водами озера ярко зеленеют рисовые поля, мягкими уступами взбегают вверх лесистые горы. За ними тянутся новые цепи, одна другой дальше, одна другой нежнее, пока не сливаются с горизонтом в легкой синеющей дымке...

Смотришь на эту картину с высоты Хиейсан и опять думаешь: неужели это правда? Неужели это подлинная Япония, Япония XX столетия? Так мог выглядеть мир в первый день творения...

Хаконе, Онума, Хиейсан... И только ли это? Память все рисует и рисует... Вот дивная аллея криптомерий в Никко, мрачная и величавая, как дорога к смерти. Вот весь залитый солнцем, веселый и счастливый остров Авадзи во Внутреннем море, тот самый Авадзи, который, по словам легенды, был первым здоровым ребенком Изанаги и Изанами. Вот маленький лазурный порт Цуруга в дивной рамке из живописных лесистых гор, откуда Япония поддерживает регулярную почтовую связь с Владивостоком. Вот горя-

чие серые ключи Ноборибетсу на Хоккайдо, в темной расщелине меж гигантских скал, закутанные облаками горячего пара, рождающие кипящие ключом, резко пахнущие озера, — настоящая картина из Дантова ада...

Да, Япония красива, очень красива! Но только в ее красоте слишком много однообразия. И еще: в ее красоте нет мощи, нет величия, которые подавляют. Все здесь дивно-прекрасно, но мягко, миниатюрно, подстрижено, приглажено — не людьми, а самой природой. Тут не Кавказ или Алтай, а Крым. Вот именно! Уж если

искать какой-либо параллели с советской страной, я сказал бы, что по типу и характеру своей красоты Япония больше всего напоминает Крым. Но Крым — или, точнее, то, что мы обычно связываем с этим именем, — узкая полоска южного берега полуострова, шириной в 15—20 километров. Представьте себе, что Крым протянулся на 1.500 километров, и вы получите некоторое понятие о том, как выглядит наяву Страна Восходящего Солнца. Она красива, но эта однообразная и слишком нежная красота скоро приедается, как чересчур приторная сладость.

# Из прошлого

## НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА к А. В. ТОПОРОВУ

Предисловие и примечания Л. С. Утевского

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикация писем Тургенева, начавшаяся вскоре после его смерти, продолжается до наших дней и далеко еще не закончена. Напечатано уже свыше четырех тысяч писем, число же ненапечатанных, повидимому, еще очень велико.

Столь большие размеры этой переписки могут удивлять, однако, лишь на первый взгляд. Писатель, прочными нитями связанный с русской почвой, более четверти века прожил за границей. Внимательный наблюдатель русской жизни, горячо интересовавшийся всем, что происходило на родине, он, конечно, не мог жить без общения с русскими друзьями. Общение это поддерживалось не только путем кратковременных наездов в Россию и встреч с друзьями за границей, но и путем регулярной и интенсивной переписки. Эта же ненормальность его положения — постоянное пребывание вдали от России — заставляла его обращаться к русским друзьям с многочисленными и разнообразными просьбами. Из-за границы, — пишет Гончаров в своей «Необыкновенной истории», — Тургенев «командовал друзьям, всего более Анненкову: «Пришлите то, справьтесь об этом, доставьте сие, прикажите оное...» Кто-то видел одно такое письмо и сказывал, что в нем было 14 поручений, означенных №№ 1, 2, 3, и т. д. «Необыкновенная история» Гончарова в целом — рукопись патологическая и бредовая. Однако, следует признать, что в цитированных нами строках Гончаров — наблюдатель недоброжелательный, но зоркий — не погрешил против истины.

С середины семидесятых годов (к этому времени П. В. Анненков сам переселился за границу) таким приятелем Тургенева, исполняющим все его поручения, становится Александр Васильевич Топоров.

Внимательные читатели переписки Тургенева не могли не заметить в его письмах 70-х годов таких фраз: «мне придется избрать в уполномоченные Топорова», «передайте подателю сей записки, знакомому Вам Топорову», «приходится снова писать Вам через Топорова», «отписки Савиной перешлите через Топорова», «прошу Вас через Топорова поместить перевод», «молодец Топоров», «верный Топоров», «преданный Топоров», «неизбежный Топоров»...

В тех же письмах Тургенев рекомендует его в самых горячих выражениях: «Это человек безукоризненной честности, дельный, преданный и деятельный... он именно то, что французы называют un homme de confiance... Поверьте мне, это совсем хорошая личность...», «Этого человека я рекомендую сознательно и искренне» (М. М. Стасюлевичу). «Он хороший и преданный Вам человек и вполне достоин Вашего участия. В Вашей рекомендации Вы никогда не раскаетесь...» (М. Г. Савиной). «Я больше радуюсь радости Топорова, чем успеху «Нови»... «Он настоящий друг» (Ю. П. Вревской). «Он право очень хороший человек» (А. Ф. Онегину).

Но кто же этот Топоров, столь горячо рекомендованный Тургеневым? Биография его далеко незаурядна.

Сын мелкого придворного служителя (род. в 1831 г.), Топоров в молодости был лакеем Александра II. С детства испытывая тягу к знанию, он не удовлетворяется этим положением, выдерживает экзамен на звание зубного врача и становится дантистом при дворцовом врачебном дежурстве. Движение шестидесятых годов захватывает Топорова, и вскоре он становится горячим пропагандистом среди молодежи новых идей. В начале шестидесятых годов Топоров уже знаком с:

Н. Г. Чернышевским, Г. З. Елисеевым, В. А. Слепцовым, к которому особенно был близок, и с рядом сотрудников «Современника» и «Искры». Широкий круг знакомых образуется у него среди художников и актеров. Критик А. М. Скабичевский, в молодости примыкавший к кружку группировавшейся вокруг Топорова молодежи, вспоминает, что знакомство с Топоровым и его влияние были поворотным моментом в его жизни и определили его дальнейший путь.

В начале шестидесяти годов, когда начинаются нападки «Современника» на Тургенева, Топоров, вращавшийся в кружке этого журнала, не только еще разделял его позицию, но, по свидетельству А. М. Скабичевского, после выхода в свет «Отцов и детей», возбудивших негодование радикальной молодежи, «вопил на всех перекрестках о ренегатстве Тургенева».

Тургенев познакомился с Топоровым летом 1874 г. через поэта Полонского, в доме которого Топоров был своим человеком. С этих пор Топоров становится преданным другом Тургенева и его горячим поклонником, а для Тургенева делается приятелем и незаменимым человеком, «исправнейшим из комиссионеров, бывших, настоящих и будущих». Современники вспоминают, что во время своих приездов в Петербург Тургенев не мог обойтись без Топорова, всюду ему сопутствовавшего. Во время же пребывания Тургенева за границей регулярная переписка между ними не прерывалась. Тургенев был искренне расположен к Топорову и высоко его ценил. Это «образцовый комиссионер», «светлая голова», «он такую мне оказывает приязнь,—пишет он А. Ф. Онегину,—что я не могу не быть ему благодарен». В 1882 г. уже больной Тургенев поручает ему ответственные переговоры по продаже нового издания своих сочинений, а в июле 1883 г., за месяц до смерти писателя, Топоров едет к нему в Париж для переговоров о продаже авторских прав Тургенева и проводит у постели умирающего несколько дней. Последние два письма к Топорову написаны Тургеневым за месяц до смерти, неизвестным и с трудом разборчивым почерком. «Приезжайте как можно скорее, если хотите еще застать меня...» — читаем в одном из них. «Приезжайте когда хотите, любезный Топоров,—читаем в другом (оно было получено им уже до приезда в Париж),—я для всех поневоле всегда дома, а уж для Вас-то...»

Топоров пережил Тургенева всего на 4 года, он умер 20 октября 1887 г.

166 писем Тургенева к Топорову поступили в 1926 г. в Пушкинский Дом. 28 из них были опубликованы вскоре после смерти Тургенева в «Русской Старине» (1883 г. № 10) и в 1884 г. перепечатаны в «Первом собрании писем Тургенева». (В «Русской Старине» напечатано всего 30 писем, но два из них отсутствуют в нашем собрании; в «Первом собрании» напечатано 29 писем: 28 из них перепечатаны из «Русской Старины» и одно—впервые напечатанное. Таким образом, из 166 писем, поступивших в Пушкинский Дом, всего опубликовано 29 писем.) Вся эта группа напечатанных писем касается лишь одного эпизода: продажи Тургеневым в 1882—83 гг. при посредстве Топорова собрания своих сочинений, а затем и своих авторских прав И. И. Глазунову. Все остальные письма (сто тридцать семь), среди которых находятся и наиболее интересные, до сих пор не были опубликованы.

Значительная часть ненапечатанных писем посвящена различным деловым поручениям, но ряд писем представляет собой первостепенный интерес. Из числа этих последних мы печатаем здесь тринадцать писем. Насыщенные содержанием, дающие много ценного историко-литературного и исторического материала, они будут интересны не только для биографа, для специалиста-исследователя, но и для всякого культурного читателя.

Тургенев не только поручения дает «неизбежному Топорову», но и откровенно беседует с ним, интересно высказывается, дает любопытные отзывы. Эта безусловно откровенная беседа тянется на протяжении девяти лет, с 1874 до 1883 г., касаясь разнообразных вопросов, интересовавших Тургенева. Мы находим здесь ряд в высшей степени интересных отзывов о событиях в областях литературы, политики и общественной жизни того времени. Окрашенные в характерные «тургеневские» тона («жизнь вообще дело невеселое, это давным давно решенный вопрос»), письма к Топорову отражают и мелкие и крупные факты, и промелькнувшие встречи, и поразившие смерти, давая представление о последних годах жизни писателя, о его трудах и днях этой поры.

Мы печатаем письма по новой орфографии, но с соблюдением особенностей тургеневского правописания.

Л. Утевский

1.  
Париж.  
50, Rue de Douai.  
Среда, 17/5 февр. 75.

Любезнейший Александр Васильевич, сороковые годы в жизни самые трудные — и Вы находитесь в самом трудном моменте этих годов.— Потерпите маленько—и мысль о старости— даже одинокой — уже не будет так страшить Вас. А что жизнь вообще— дело невеселое—это уже давным давно решенный вопрос.

Мне приходится сказать Вам, как Чичиков Тентетникову. — «По всему видно, что Вам нужно жениться». — Детьми обзавестись— вот главное.— А впрочем — и это глупо.

Все высылаемые Вами газеты и книги получаю я самым исправным манером.— Спасибо за подписку на Русский Вестник. — Подпишитесь на «Гражданин<sup>1)</sup>» — и пожалуй не на мое имя — а на имя девицы Арнгольт, Mademoiselle Louise Arnholt, rue de Douai 50<sup>2)</sup>. Действительно — надо следить и за этим.

Сегодня же написал Салаеву<sup>3)</sup>, чтобы он немедленно выслал Вам три экземпляра моих сочинений<sup>4)</sup>. — Я ему давно об этом писал — и полагал, что он давно их выслал — да он видно позабыл. — Я от Суворина<sup>5)</sup> получил очень любезное и интересное письмо.

А какову шутку отмочили с моим рассказом «Стучит». И представьте: переводчик почел за долг прислать мне экземпляр!! Вот наглость!<sup>6)</sup>

Здоровьем я — ничего, бодрствую; но мозги совсем высохли: ничего оттуда не лезет.

За сим будьте здоровы, поклонитесь всем приятелям и верьте в искреннюю дружбу.

преданного Вам  
Ив. Тургенева.

1) «Гражданин» — ярко реакционная газета, основанная в 1872 г. кн. В. П. Мещерским. В конце того же года (22/10 декабря) Тургенев пишет Топорову: «Гражданина» больше не надо».

2) Бывшая воспитательница детей г-жи Влардо. (Тургенев и Влардо жили в Париже в одном и том же доме.) Она между прочим ухаживала за Тургеневым во время его долгой предсмертной болезни.

3) Салаев, Ф. И. (сконч. в 1879 г.) — московский издатель и книгопродавец, с 1865 г. по 1880 г. неоднократно издававший сочинения Тургенева.

4) Тургенев имеет в виду изданные Салаевым в 1874 г. «Сочинения И. С. Тургенева» в 8 томах.

5) Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912) — известный журналист, с 1863 по 1874 г. сотрудник либеральных «Петербургских Ведомостей», в которых он выступал против реакционной журналистики того времени. С 1876 г. становится издателем «Нового Времени» и через некоторое время совершенно меняет свой облик. Меняется и отношение к нему Тургенева. «Вот выработался гад... — писал он в 1882 г. о Суворине П. В. Анненкову, — в сравнении с ним Булгакин является чуть ли не идиллической фигурой» («Печать и Революция», 1922 г., кн. 2, стр. 99).

6) «Стучит» — рассказ из «Записок охотника», впервые напечатанный в 1874 г. «Вчера мне из Москвы прислали русский (отвратительный) отдельно изданный перевод моего рассказа «Стучит», — писал Тургенев 12 февраля в ст. 1875 г. М. М. Стасюлевичу, — который в прошлом октябре явился у Салаева в Москве в полном издании — а 2 месяца тому назад был во французском переводе помещен в «Temps»! — Это уже переходит за границы всего возможного... — После этого можно и «Дворянское гнездо» и «Дым» перевести с французского или немецкого и напечатать отдельно и продавать...» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. 3-й, стр. 49).

2.

Париж.  
50, Rue de Douai.  
Четверг, 1-го апр. 75.  
20-го марта.

Любезнейший Александр Васильевич, я немножко виноват перед Вами — не тотчас отвечал на Ваше письмо. И хоть бы я мог сказать в извинение, что работаю сильно и то нет! Лениюсь по прежнему. — И здоровье по прежнему — т. е. не худо, не смотря на то, что подагра от времени до времени стучится ко мне в дверь — т. е. в ноги. — Через 6 недель еду в Карлсбад — а до того времени авось как-нибудь дотяну.

«Гражданин» — аккурратно получается девицей Арнгольт — но читается мною<sup>1)</sup>. Коли «Дело»<sup>2)</sup> действительно так пусто — ну и господь с ним! — Подарок на елку давно получен и с'еден, с благодарностью. — Как только я узнал, что он шол от Рагозиных<sup>3)</sup> — я написал им письмо. — Очень это было любезно и мило с их стороны. —

Я дал знать моему управляющему, чтобы он выслал Вам сто рублей на заплату долга и предбудущие расходы.

А теперь сообщу Вам нечто, которое прошу Вас сохранить в глубочайшем секрете: — Йогансен<sup>4)</sup> мне ничего не платит за романсы г-жи Виардо<sup>5)</sup>, а я, щадя ее самолюбие, говорю, что он мне дает 25 р. сер. за каждый. Напишите мне письмо, в котором Вы скажете, что получили от Йогансена 125 р. сер. за последние 5 романсов, а я это письмо ей покажу (она читает по-русски) — так как она начинает подозревать мою дружескую хитрость — и я ей эти деньги заплачу, а Вы их будто задержите в Петербурге по моему распоряжению, на мои расходы. — Сделайте все это, как я изложил Вам, любезный Александр Васильевич, а я Вам за это отвешиваю низкий поклон. — И сохраните все в тайне!<sup>6)</sup>

Мы здесь «Демона»<sup>7)</sup> получили (аранжированного для фортепиано) — прочли его со вниманием — и убедились, что это вещь, хотя и почтенная — но скучная и неоригинальная. — Гораздо большее разочарование (потому что ожидания были большие) принес нам роман Л. Н. Толстого<sup>8)</sup>. С его талантом забрести в это великосветское болото и топать и толкаться там на месте — и относиться ко всей этой дребедени не с юмором — а напротив с пафосом, серьезно — что за чепуха! — Москва загубила его — не его первого, не его последнего. — Но жаль его больше, чем всех других<sup>9)</sup>.

Любезный друг, Вам скучно живется... Что делать?! — И всеобщая пора у нас в России скучная — и Ваша в особенности... Сороковые годы жизни называются. — Приходится повторить с И. С. Аксаковым:

Когда же ты пройдешь,  
О молодость, о тягостное время!<sup>10)</sup>

Деятельности нет разумной — вот беда. —

Если я успею стряхнуть свою лень и кончу свою большую повесть<sup>11)</sup>, то мы увидимся в конце года — я привезу ее в Петербург... Если же нет... тогда разве Вы завернете в Париж?

Желаю Вам всего хорошего и дружески жму Вам руку.

Преданный Вам

Ив. Тургенев.

1) См. предыдущее письмо.

2) «Дело» — журнал Г. Е. Благосветлова, издававшийся в Петербурге с 1866 г. по 1888 г.

3) Евгений Иванович Рагозин (род. в 1843 году) — экономист и общественный деятель. В 1872 — 74 гг. — один из издателей «Недели».

4) А. Йогансен — петербургский музыкальный издатель, с которым Тургеневу неоднократно приходилось иметь дело в связи с изданием романсов П. Виардо.

5) Полина Виардо (1821 — 1910) — знаменитая певица. В 1843 г., приехав в Петербург, Виардо познакомилась с Тургеневым. Это знакомство имело исключительное значение для писателя, с тех пор и до конца дней связавшего свою жизнь с жизнью Виардо и ее семьи. В нашей литературе большей частью господствует неправильный и недостаточно объективный взгляд на отношения Тургенева и Виардо и на ее значение в жизни писателя. Лишь в последнее время начинается новая оценка этого вопроса. Последней работой, посвященной отношениям Тургенева и Виардо, является книга И. М. Гревса «История одной любви». М. 1927. 2 изд. 1928 г.

6) Виардо начала писать романсы в начале 60-х годов и писала их не только на французские, немецкие, но и на русские слова: Пушкина, Лермонтова, Фета и самого Тургенева («Многие из них прелестны, — пишет Тургенев, — и, во всяком случае, стоят неизмеримо выше обыкновенных произведений этого рода». «С.-Пет. Вед.», 1869 г., № 110). С этих пор Тургенев неустанно хлопочет об их издании в России (вышло несколько альбомов, первый в 1864 г.), обращается по этому поводу с различными просьбами к друзьям и неоднократно просит их о помешении отзывов и заметок об этих романсах в различных петербургских газетах.

7) Опера А. Г. Рубенштейна.

8) «Анна Каренина».

9) Аналогичный отзыв об «Анне Карениной» дает Тургенев и в письме к Я. П. Полонскому: «Анна Каренина» мне не нравится, хотя попадают истинно великолепные страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнет Москвой, ладаном, старой девицей, славянщиной, дворянщиной и т. д.» («Первое собрание писем И. С. Т.», стр. 260). Столь же отрицательные отзывы дает он в письмах и к ряду других лиц.

10) Тургенев не совсем точно цитирует заключительные строки стихотворения И. С. Аксакова «Усталых сил я долго не жалел». В действительности эти строки читаются так:

«Когда же власть, скажи, твоя пройдет,  
О молодость, о тягостное время».

(Стихотворения И. С. Аксакова, изд. 2-е, М. 1886, стр. 24).

11) Тургенев имеет в виду свой роман «Новь», законченный им лишь в июле 1876 г.

## 3.

Париж.  
50, Rue de Douai.  
Четверг, 22/10-го апр. 1876.

Любезнейший Топоров, спешу ответить на Ваше письмо, только сегодня мною полученное.—Прежде всего благодарю Вас за аккуратное исполнение моей просьбы на счет Иогансена <sup>1)</sup>. Теперь перейду к другим пунктам.

Представьте Вы себе мое невежество! Я не знаю, о ком Вы говорите, упоминая автора «Очерков Гоголевского периода русской литературы» <sup>2)</sup>.—В моих воспоминаниях я упомянул только об одном критике:—Писареве <sup>3)</sup>,—но его статья такого заглавия не носит.—Добролюбов?—Но о нем я говорил с уважением <sup>4)</sup>.—Н. Г. Ч. <sup>5)</sup>? Но о нем совсем не говорил. Пожалуйста, разъясните мое недоумение.

Что касается до «Нового Времени», то я с удовольствием готов заявить, что нахожу журнал и дельным и хорошо составленным <sup>6)</sup>.—Я думал, что я уже писал Вам о нем в этом смысле. Я с большим интересом прочитываю каждый номер.—Передайте это от моего имени г-ну Чебышеву-Дмитриеву <sup>7)</sup>, которого весьма благодарю за его дружеское расположение ко мне.

В предыдущем письме Вы говорили мне о Н. Курочкине <sup>8)</sup>.—Я был у него и всячески старался быть с ним любезным, ибо весьма скоро заметил в нем то раздражительное самомнение и даже обидчивость, о которых Вы пишете: но он со времени нашего чтения более меня не посетил — и я даже не знаю продолжает ли он быть в Париже—или уже уехал куда-нибудь.

Так как теперь в Париже находятся Писемский <sup>9)</sup> и Рубинштейн <sup>10)</sup>, то весьма вероятно, что мы опять риснем составить литературно - музыкальное утро.—Первое нам очень удалось <sup>11)</sup>.

Дайте мне, пожалуйста, знать, когда Вы получите деньги от моего управляющего.—Я остаюсь здесь еще месяц—а там еду через Баден в Карлсбад.

Поблагодарите Рагозиных и Петровых <sup>12)</sup> за память. — Кланяюсь Вам и дружески жму Вам руку.

Преданный Вам Ив. Тургенев.

1) См. предыдущее письмо.

2) Знаменитые «Очерки гоголевского периода» Н. Г. Чернышевского, наиболее известные из всех его критических статей, печатавшихся в 1855—57 гг. в «Современнике».

3) В своих «Воспоминаниях о Белинском» Тургенев рассказывает о своем свидании с Писаревым в 1867 г. См. чрезвычайно интересную переписку Тургенева с Писаревым в «Радуге» (Альманах Пушкинского дома). П. 1922, стр. 207—225.

4) «Добролюбова я... высоко ценил, как человека и как талантливого писателя» — пишет Тургенев в своих воспоминаниях, в статье «По поводу «Отцов и детей». Тургенева и Добролюбова многое разделяло (см. об этом в статье Ляцкого «Чернышевский в редакции «Современника», в которой напечатаны воспоминания Чернышевского о Тургеневе и Добролюбова. «Современный Мир», 1911 г., №№ 9, 10, 11). Думается, что отзыв Тургенева все же был искренен, по крайней мере при известии о смерти Добролюбова (сконч. 17 ноября 1861 г.) он пишет П. В. Анненкову: «Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он собирался меня съездить живьем. Последняя его статья, как нарочно, очень умна, спокойна и дельна» (Анненков «Шесть лет переписки с Тургеневым» в «Литер. воспоминаниях». П. 1909, стр. 558).

5) Николай Гаврилович Чернышевский. Об отношениях Тургенева и Чернышевского см. в указанной статье Ляцкого.

6) В 1875 г. «Новое Время» издавалось журналистом К. Трубниковым. К. А. С. Суворину оно перешло через год, в 1876 году.

7) Александр Павлович Чебышев-Дмитриев (1835—1877 г.) — профессор уголовного права Петербургского университета и публицист. С 1874 г. — сотрудник «Нового Времени», в котором он под псевдонимом «ЭКС» вел критические фельетоны.

8) Николай Степанович Курочкин (1830—1884) — литератор, брат известного поэта, издателя «Искры». В 70-х годах жил в Париже. О встрече Тургенева с ним в Париже интересные подробности сообщает в своих воспоминаниях А. Луканина («Северный Вестник», 1887 г., № 2).

9) Алексей Феофилактович Писемский (1820—1881). В апреле 1875 г. Писемский приехал в Париж и провел там три недели, часто встречаясь с Тургеневым. См. письма Тургенева к Писемскому. «Новь», 1886 г., № 12.

10) По всей вероятности, Николай Григорьевич Рубинштейн (1835—1881) — выдающийся пианист и музыкальный деятель, брат А. Г. Рубинштейна.

11) Эти утра устраивались для извлечения средств на содержание русской читальни в Париже. Первые два утра дали чистого дохода 4.200 франков (письмо к Топорову от 25/13 мая 1885 г.).

12) См. письмо 4-е, примечание 7-е.

4.

Карлсбад.  
König v. England.  
Воскресенье, 6-го июня  
24-го мая 1875.

Третьего дня вечером я, наконец, попал сюда, любезнейший Александр Васильевич, и вчера принял пить воду. Живу я в прежнем доме, в отличной квартире. Здоровье пока хорошо — но тут-то и не надо зевать и стараться предупредить болезнь. Буду исполнять в точности все докторские предписания.

В самый день отъезда из Парижа получил я Ваше письмо. — Вы спрашиваете меня, что Вам делать из присланных денег? Да во-первых заплатите самому себе, что я Вам должен — а остальные храните до востребования. Вы уже знаете, что я Вам очень благодарен за распоряжение о г-не С. Блоцком<sup>1)</sup> — а что касается до книжки г-на Венгерова<sup>2)</sup> — то не трудитесь ее высылать. Сам автор мне ее выслал. — Ужасно варварским языком она написана! И что ему была за охота откапывать мои давным давно мертвые стихи<sup>3)</sup>! Но более всего мне досадно то, что, по его словам, я писал повести по французски, по немецки, — по английски! Чорт знает, что за чепуха! Я никогда ни одной строки не написал для печати не по русски. — Да и как это писать не на своем языке?!<sup>4)</sup>

Здесь из русских — развалина Соллогуб<sup>5)</sup> — и граф А. К. Толстой<sup>6)</sup> — тоже развалина. Да я и рад: мне хочется быть одному.

Поклонитесь от меня Петрову<sup>7)</sup> и скажите ему, что проходя по площади и посматривая на домик, в котором он жил, я вспоминаю о нем. — Я здесь останусь до половины июля нов. ст.

За сим дружески жму Вам руку и остаюсь

преданный Вам  
Ив. Тургенев.

1) Почти за два месяца до этого, 29/17 апреля, Тургенев писал Топорову: «Я получил от г. Александра Филипповича Снежко-Блоцкого... бывшего редактора «Киевского Телеграфа» — письмо, в котором он, сообщая мне о постигшем его ужасном бедствии, совершен-

ной слепоте — просит вспомоществования. — Многого я сделать не могу — но из прилагаемого письма, которое я вас прошу передать ему лично — вы увидите, что я определил на это дело 100 р...»

2) Книга С. А. Венгерова «И. О. Тургенев», критико-биографический этюд, изданная в 1875 г.

3) К своим стихотворениям (он писал их лишь в молодости, в период 1838—1847 гг.) Тургенев чувствовал «положительную, чуть не физическую антипатию» и не включал их в собрание своих сочинений. — «Я не только не имею ни одного экземпляра моих поэм, — писал он в 1874 г. А. С. Венгеру, — но дорого бы дал, чтобы их вообще не существовало на свете» (Первое собр. писем, стр. 234). В книге Венгерова две главы (V и VI) посвящены разбору его стихов.

4) В письме к Венгеру от 24 мая 1875 г. Тургенев дает отзыв об его книге. — «Я никогда ни одной строки в жизни не напечатал не на русском языке, — шепчет он и здесь, — в противном случае я был бы не художник, а просто дрянь» (Перв. собрание писем, стр. 261).

5) Гр Владимир Александрович Соллогуб (1814 — 1882) — писатель.

6) Гр. Алексей Константинович Толстой (1817 — 1875) — поэт. Он скончался через несколько месяцев после встречи с Тургеневым в Карлсбаде, «Толстого мне очень жаль: славный был человек» — писал Тургенев Я. О. Полонскому. Как поэта же он считал его «второстепенным, пожалуй, третьестепенным» (письмо к М. Е. Салтыкову. Первое собрание писем, стр. 276).

7) Осип Афанасьевич Петров (1806 — 1878) — знаменитый оперный певец. Тургенев встречался с ним в Карлсбаде в 1873 и 1874 гг.

5.

Карлсбад.  
(Богемия).  
König v. England.  
18/6 июля 1875 г.

Любезнейший Александр Васильевич, я в долгу перед Вами за два письма и две посылки (стихотворения Тютчева и биография Пушкина). — Все эти книги пришли так же скоро, как письма — и мне остается только, по обыкновению, искренне благодарить Вас. — Биографию Пушкина я прочел немедленно — я ее не знал — и нашел, что она составлена образцовым образом — и выбор из стихотворений отлично сделан<sup>1)</sup>.

Я тотчас же отдал эту замечательную книжку одному здесь находящемуся весьма умному русскому мальчику лет 14. — Он прочтет ее с великой пользой.

«Нового Времени» я в Карлсбаде не получаю—и потому, к сожалению, не мог прочесть фельетона, о котором Вы упоминаете. Но почему Чебышев...?).

Венгеру я, разумеется, никакого права не давал печатать мое письмо<sup>3)</sup>—и мне это было неприятно; но ведь не протестовать же!!—разве Вы знаете этого господина?

Что касается до статьи Пыпина о Белинском и его полемики со мною в последнем номере «Вестника Европы»<sup>4)</sup>—то, прочтя ее со вниманием—я убедился, что он прав и вернее моего взглянул на деятельность нашего великого критика, не смотря не то, что он не знал его лично, как я. Я об этом упомянул в письме к Стасюлевичу<sup>5)</sup>.—Если мои сочинения дождутся нового издания, я сделаю необходимую оговорку и поправку<sup>6)</sup>.—Но до того времени мне едва ли удастся это сделать.—Если Вы не преувеличиваете то влияние, которое по дружбе Вашей ко мне, приписываете мне на Русскую молодую публику, то я желал бы, чтобы это влияние высказалось и оправдалось при выходе моего нового романа—если только ему суждено появиться на свет!<sup>7)</sup> Но опять-таки благодарю Вас за прямо и откровенно высказанное мнение.

Лечение мое подвигается обычным медленным шагом; на этот раз в Карлсбаде как-то особенно скучно!

Дружески жму Вам руку и остаюсь преданный Вам

Ив. Тургенев.

Р. S. Будьте так любезны, пришлите мне вторую книжку Суворина<sup>8)</sup>.

1) Трудно установить о какой именно биографии Пушкина идет речь, так как к тому времени существовало уже несколько биографических работ.

2) Одно слово неразборчиво.

3) В книге Венгерова (стр. 39) напечатано автобиографическое письмо к нему Тургенева от 19 июня 1874 г., являющееся ответом на запрос Венгерова. Письмо это перепечатано в «Первом собрании писем Тургенева», стр. 233.

4) Известная работа Н. А. Пыпина «В. Г. Великий. Опыт биографии» печаталась в «Вестнике Европы» в 1874 и 1875 гг. В июньском номере 1875 года Пыпин полемизировал с Тургеневым по поводу его воспоминаний о Белинском, не соглашаясь с некоторыми его мнениями и выводами и находя его характеристику Белинского неверной.

5) 20/8 июля Тургенев писал Стасюлевичу: «Я прочел статью Пыпина—и, по зрелом соображении фактов, должен сознаться, что едва ли он не вернее моего взглянул на деятельность Белинского. Стало быть полемизировать мне с ним нельзя—а скорее нужно сделать оговорку в будущем издании моих «Воспоминаний» («Стасюлевич и его современники», т. 3, стр. 57).

6) Действительно, в новом издании 1880 года, Тургенев сделал это в виде особого «прибавления» к своим воспоминаниям о Белинском.

7) Речь идет о романе «Новь».

8) В 1875 г., после ухода из «С.-Петербургских Ведомостей», А. С. Суворин собрал свои фельетоны «Недельные очерки и картинки», которые он вел в этой газете под псевдонимом «Незнакомец», и выпустил их двумя книжками, имевшими большой успех.

6.

Москва.

Удельная Контора.  
Вторник, 20 февр. 79.

Любезнейший Александр Васильевич,

Спешу сообщить Вам, что дело мое приходит в ясность: новое завещание брата так мастерски составлено (самим г-м Маляревским)<sup>1)</sup>, что, как говорится, иголки не подпустишь: вместо 100.000 р. я получаю с небольшим 60.—И то хорошо: Маляревский, при его влиянии на брата, мог ничего мне не оставить<sup>2)</sup>. Завещание будет утверждено 25-го числа в здешнем Окружном Суде, так же и права мои на наследство.—Сообщите это все доброму Самарскому<sup>3)</sup>, так как он принимает во всем этом деле участие.

А мне точно везет—как Вы предсказывали: в Четверг мне здешние молодые профессора давали обед с сочувственными «спичами»—а третьего дня, в заседании Любителей Русской Слоvesности, студенты мне такой устроили небывалый прием, что я чуть не одурел—рукоплескания в течении 5 минут, речь обращенная ко мне с хоров и пр. и пр. Общество меня произвело в почетные члены<sup>4)</sup>. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал, но и взволновал порядком. Не знаю от этого ли, но со вчерашнего дня у меня заболело правое колено—и я не могу почти ходить... Авось это будет не настоящий припадок.—

В конце нынешнего месяца я опять в Петербурге;—а до тех пор желаю Вам всего хорошего и крепко жму Вам руку.

Преданный Вам  
Ив. Тургенев.

1) Муж приемной дочери брата Тургенева, которого он оставил почти все свое огромное состояние.

2) М. М. Стасюлевичу Тургенев писал 29/17 января 1879 г.: «Брат мой, Н. С., скончался, окруженный мошениками; меня уже известили, что они, до наложения печатей, успели утащить 20.000 р. наличными» («М. М. Стасюлевич и его современники», т. 3-й, стр. 159). См. также «Русская Старина», 1886 г., кн. 3, стр. 601—605.

3) В. В. Самарский - Быховец — адвокат.

4) См. об этом: Н. Я. Стечкин «Из воспоминаний об И. С. Тургеневе», Спб. 1913, стр. 18 и М. М. Ковалевский «Воспоминания о И. С. Тургеневе» — «Минувшие годы», 1901 г., № 8.

7.

Париж.  
50, Rue de Douai.  
9-го янв. 1883 г.  
28 дек. 1882.

Любезный Топоров,

Сейчас получил письмо от Вас и от Глазунова<sup>1)</sup>.—Я начинаю думать, что мой почерк до того неразборчив, что меня понимают совсем на выворот.—В письме к Жозефине Антоновне<sup>2)</sup> я говорил ей, что Григорович известил меня о том, что Гончаров с одобрением и похвалой отзывался о стихотворениях в прозе<sup>3)</sup>—и только я прибавил от себя, что это, вероятно, доказательство слабого их успеха в публике<sup>4)</sup>. А Вы пишете, что она поняла это прямо на выворот и кстати браните Григоровича, который, я обязан сказать, в отношении ко мне, оказывался всегда верным и искренним приятелем<sup>5)</sup>. Опять шагнуло на меня этим запахом сплетни и личных дрягов, которым положительно провоняло все наше общество, особенно литературное,—и какое это известие, которое, сообщенное Яковом Петровичем—у бидо Гончарова?<sup>6)</sup>—Господи, какая чепуха!

Статью о Полонском, конечно, можно поместить в 1-й том<sup>7)</sup>; пришлите ее. III том все еще не розыскан<sup>8)</sup>.

В воскресенье я должен буду подвергнуться довольно мучительной операции: у меня из брюха вырежут «невром», приключившийся со мною 24 года тому назад в следствие небольшой хирургической операции.—Все это время он оставался неподвижным величиною в малую горошинку; но вот уже три месяца, как начал расти и пухнуть (он уже теперь больше грецкого ореха). Досадно то, что меня, вследствие порока сердца нельзя хлороформировать и я лихо буду мучиться в течении четверти часа.—Потом придется слечь недели на три<sup>9)</sup>. Я воспользуюсь этим временем, чтобы окончательно исправить остальные томы и набросать обещанные две статьи<sup>10)</sup>.—Пожалуйста, не распространяйте этого известия: толки обо мне и по моему поводу в газетах мне противны до нельзя.—Общее состояние моего здоровья — прескверно; боли в груди и в спине возобновились с удвоенной силой, несмотря на молоко и пр., и пр.—Но и об этом, пожалуйста, не распространяйтесь: а то, право, хоть откажись от получения наших журналов! Стало быть, нечего делать этим господам, как только сплетничать — да, выражаясь Дружининским словом... языком!

Поздравляю Вас с новым годом, которому трудно быть хуже старого и жму Вам руку.

Ив. Тургенев.

1) И. И. Глазунов — глава известной книгоиздательской фирмы Глазуновых.

2) Жозефина Антоновна Полонская (ум. в 1920) — жена поэта Я. П. Полонского, близкий друг Тургенева, См. ее векролог, написанный А. Ф. Кони — «Вестник Литературы», 1920 г., № 1.

3) «Стихотворения в прозе» напечатаны в 12-й кн. «Вестника Европы» за 1882 г.

4) Тургенев имеет в виду следующее свое письмо Ж. А. Полонской (от 12 декабря): «Я очень рад, что мои «Ст. в пр.» понравились вам и Якову Петровичу. Что они, вне небольшого тесного кружка, публике понравиться не могут, лучшим доказательством тому сообщенное мне Григоровичем известие, что Гончаров их хвалит. Вы понимаете, что после этого и толковать нечего!» (Перв. собрание писем, стр. 529).

5) «В вашем дружеском участии к моим интересам я бесповоротно уверен» — писал 3 декабря 1882 г. Тургенев Григоровичу. Тургенев не всегда был такого мнения о Григоровиче и за двадцать лет до этого, в 1860 г., в пись-

ме к гр. Ламберт дал ему жестоко отрицательную характеристику («Письма И. С. Тургенева к гр. Ламберт». М. 1915, стр. 104).

6) Давние дружеские отношения Тургенева и Гончарова (знакомство их началось в 1847 г.) с течением времени омрачились болезненной мнительностью Гончарова, заподозрившего Тургенева в плагиате. Хотя столкновение их на этой почве в 1859 г. и закончилось в 1864 году примирением, но развившаяся у Гончарова с годами болезненная подозрительность, выросшая с течением времени в настоящую манию преследования и достигшая своего апогея в конце семидесятых годов, сделала всякие их отношения невозможными. Результатом этой мании явилась чудовищно бредовая рукопись Гончарова «Необыкновенная история» (опубликована в 1924 г. в «Сборнике Российск. Публичн. Библиотеки» — см. также В. М. Энгельгард «Гончаров и Тургенев», П. 1923), в которой он вслед за Тургеневым обвиняет в плагиате Флобера, немецкого писателя Ауэрбаха и др. Какое-нибудь известие о Тургеневе вполне могло «убить» Гон-

чарова, который даже сообщение о смерти Тургенева встретил словом «представляется».

7) Повидимому «Письмо к редактору «С.-Петербург. Ведомостей» о творчестве Полонского, напечатанное в 1870 г., № 8, в собрании сочинений Тургенева не вошло.

8) Исправленный Тургеневым для нового издания III том собрания его сочинений, отправленный им в Петербург Топорову и утерянный почтой.

9) Об этой операции и о болезни Тургенева см. в нашей книге «Смерть Тургенева». Птгр. 1924.

10) К новому изданию своих сочинений, проданному Глазунову, Тургенев обещал добавить две статьи: «Семейство Аксаковых и славянофилы» и «Пожар» (См. первое собр. писем, стр. 450, 471, 504). Добавлена была и вошла в посмертное издание лишь последняя статья «Пожар на море», продиктованная в июне 1883 г. больным Тургеневым Виадро (См. в воспоминаниях Луканиной «Северн. Вестник», 1887 г., № 3).

# Литература и искусство

1. П. МАРКОВ. Очерки современного театра. — 2. М. ЗЕНКЕВИЧ. Обзор стихов. — 3. Ю. ДАНИЛИН. Торговый дом Александр Дюма и К-о. — 4 К. ЛОКС. П. Мериме

## 1. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА

### Современные спектакли сезона

(К вопросу о публицистическом спектакле)

П. Марков

#### I

Ленинградский ТРАМ (Театр Рабочей Молодежи) одержал победу. Вслед за ним трамбовское движение распространилось по Союзу и стало одной из ведущих театральных сил. Причина заключалась не в новизне приемов и не в эстетическом восторге театральной остротой зрелища. Многие могут быть подвергнуто сомнению в спектаклях ТРАМ'а. Строгий анализ легко отличит самостоятельно трамбовские приемы, коренящиеся в самодеятельном театре, от несомненных и благотворных влияний Мейерхольда. ТРАМ победил ясно выраженным современным мироощущением, которое с неотразимой эмоциональной силой перебрасывается в зрительный зал и захватывает даже предубежденного и недоверчивого зрителя. Рабочая же молодежь увидела в нем свой театр и откликается на его спектакли горячо и страстно. Неверно приписывать мироощущению ТРАМ'а полную завершенность. Оно находится в процессе становления, и формы диалектического спектакля, созданные ТРАМ'ом, вполне отвечают бурному внутреннему процессу, который совершается в его недрах. ТРАМ захвачен жадной потребностью в понимании проблематику современности — его сила в упоре

мысли и в эмоциональной насыщенности. Его мысль горяча, чувства напряжены, он страстно и искренне думает о роли молодежи в стране, о морали, долге, любви — о личности и коллективе, в подчинении задачам социалистического строительства. Он берет эти вопросы, как непосредственную данность: его противоречия — противоречия внутреннего становления живого организма. Между тем как в большинстве театров (особенно дошедших от дореволюционной эпохи и переживающих внутренние конфликты) происходят столкновения мирозерцаний автора и театра, борьба со старым наследием, мучительные попытки перерождения — ТРАМ'у не приходится преодолевать себя. Он лишен понятия трагического, как оно установилось в значительной группе художественной интеллигенции. В театрах зачастую господствовало насыщенное и напряженное восприятие революции как трагического начала. «Блокада» — яркий пример трагического мироощущения. «Трагедия стихийного подчинения», «высокий рок революции», «суровая, подчиняющая ее правда» звучали со сцены театра. Такого восприятия революции лишен ТРАМ. ТРАМ берет революцию как развивающуюся данность, как социальную обусловлен-

ность—вне отвлеченной и заранее принятой морали. Театры часто пытались оправдать революцию. ТРАМ'у этого не нужно делать. Революция для него естественна и закономерна, он родился и связан с нею. Захваченный ее задачами, ТРАМ в своих спектаклях перерастает эстетические рамки и не боится поставить интересующие его вопросы выше законченных художественных требований. В театре органическое восприятие революции редко, — театр есть результат многих, порою взаимно противоположных, волей. Беллетрист, поэт и живописец, выражая каждый по-своему тенденцию эпохи, менее противоречивы, чем театр, в котором происходит столкновение автора, режиссера, актеров и который в огромном большинстве стоит на переломе идеалистического мироощущения. В спектаклях ТРАМ'а невозможно оторвать автора от актеров и режиссера. Пьесы в нем прорабатываются коллективно, и единство работы отражено на сцене единством мироощущения.

Процесс становления мироощущения потребовал особой формы спектакля. Трамбовцы называют ее диалектической. ТРАМ художественно перерабатывает противоречия жизни, приводя их к закономерному единству. Поскольку они подчинены основной линии социалистического строительства, ТРАМ дает политические и публицистические спектакли. «Клеш задумчивый» касается столкновения нэпа и военного коммунизма и — шире — взаимоотношений личности и коллектива. Многие спорные вопросы, получающие в других театрах искривленное истолкование, в ТРАМ'е кровно и волнующе связаны со всем ходом жизни страны. Попытки публицистических спектаклей вне единого мироощущения или оказывались приспособленчеством или раскрывали борьбу внутри театральных организмов между идеологическими требованиями современности и внутренней (художественной и общественной) неподготовленностью театра.

Вопросы мироощущения и мирозерцания дают право на публицистику и на постановку политических вопросов. Не только в ТРАМ'е, но и в та-

ких спектаклях как «Не взирая на лица» (пьеса Пономарева) в Пролеткульте или «Чудак» во П МХТ мироощущение одержало победу, несмотря на отдельные их недочеты. В этих спектаклях вопросы самокритики поставлены резко и вместе с тем они лишены пессимистического налета, обычно свойственного обличительным пьесам. Дело не в бодрящих юморках и не в оптимистических речах, а в основной целеустремленности автора. Рядом художественных и сценических приемов он обновляет и освежает восприятие современности. Спектакли вызывают не пессимизм, а активную волю к дальнейшей борьбе; не мрачную усмешку, а гнев и бодрость. Они не оставляют зрителя в состоянии расслабляющего равнодушия или тихого довольства, но пробуждают здоровую целеустремленную неудовлетворенность, которая по своему существу активная, а не расслабляющая.

За короткий срок театр совершил глубокую общественную эволюцию. Первое пятилетие шло под знаком отвлеченного «созвучия революции». Поворот к «социальному» спектаклю, взамен спектакля «отвлеченно-революционного» утвердился вместе с днями социалистического строительства. Реконструктивный период выдвинул требование социально-политического спектакля. Новые задачи не отменяли прежних, а уточняли и углубляли их. Ясно, что политический спектакль должен быть созвучен революции и социален, между тем как «созвучные» спектакли могли не быть, и в огромном большинстве случаев не бывали спектаклями политическими. Особенно явственно оказался поворот к политическому спектаклю в последних постановках сезона. Такова при всех отдельных неудачах или удачах основная тенденция сезона и таковы те пути, которые выбирают театр и драматурги для ее осуществления. Поскольку страна захвачена важнейшими задачами реконструкции, театры (по самостоятельной инициативе и под давлением общественности) хотят непосредственно служить этим задачам. Драматург стремится близко связать сюжет с те-

кущей жизнью. Вместе с переходом на рельсы политического спектакля происходит ликвидация «созвучных» и «отвлеченных» сюжетов. Театр конкретизирует обобщенную тему в сюжете. В этой конкретизации заключена величайшая трудность, лежащая перед художниками сцены. Драматурги и театры часто терпели крушение, уверенно выбирая значительную и нужную тему, но не находя ей живого выражения в сюжете. Останавливаясь в

порою останавливается в недоумении, встречаясь с жизненными фактами и не будучи в силах в них разобраться. Схематизм первоначальных и продолжающих жить агиток по существу лишен внутренней диалектики. Зритель ждет раскрытия, «опрозрачения» текущей жизни. Глубокий анализ явлений в их внутреннем становлении, в свете большой проблематики становится задачей политического спектакля. Оттого прост не только сюжет «Выстре-



«Чудак». I акт. Постановка И. Берсенева и А. Чебана. Художник Г. Руди

качестве темы на реконструкции страны, ее хозяйства и быта, на вопросах вредительства, на проблемах современной этики — драматурги правы, но они легко впадали в схематичность, рассматривая вредительство, реконструкцию и т. д. как своего рода «вещь в себе», вне того индивидуального, что подчеркивает общее, что не убивает, а только подкрепляет типичность. Безыменский глубоко прав, когда берет в качестве сюжета «две строки петита» о том, как рабочие ударной группы выпустили трамвайный вагон. Современная жизнь сложна и противоречива. Отлично или приблизительно знакомый с основами текущей политики зритель

ла», при всей громадности затронутой темы, но просты сюжеты «Чудака» и успешного пролеткультовского спектакля. Сюжет количественно неравен теме. Сюжет — иллюстрация темы. Оттого «Чудак» при основной теме — вопрос о роли интеллигенции в стране — рассказывает о незначительном случае, на одной из фабрик, происшедшем с восторженным организатором кружка энтузиастов — своего рода ударных бригад. «Не взирая на лица» рассказывает о беспорядках в универмаге.

Было бы глубоко неправильно смешивать приведенное наблюдение с нарочитым снижением темы. Напротив, он обуславливает ее лучшее воплоще-

ние. «Чужак» потому так сильно звучит, что тема и сюжет подчинены единому мироощущению автора, и единичные случаи показаны в общем свете большой проблемы об «участии в строительстве», о «включении себя в круг социалистического строительства». Свою сложную проблему Афиногенов рассматривает в простом сюжете, вовлекая при этом в круг своего внимания этические и философские вопросы, волнующие строителей жизни. Чем яснее, проще и внутренне наполненнее звучат эти пьесы, тем сильнее их агитационное воздействие. Социально-политический спектакль одновременно и спектакль философски-художественный. Таков ход драматургии в наши дни.

## II

Выбор темы и сюжета еще не определяет методов написания. Помимо трамбовского диалектического спектакля происходит борьба между методами психологического реализма и методами непосредственного показа. Хотя Безыменский и Афиногенов оба остановились, по существу, на «строках петита», Безыменский придерживался традиций агитспектаклей, а Афиногенов опирался на метод психологического реализма. Здесь нельзя видеть противоположения миросозерцаний, а в гораздо большей степени различие методов художественного мышления. Безыменский предпочитает столкновение идей в форме образов и обнажение приема. Афиногенов делает акцент на раскрытии внутренней диалектической борьбы образов и на осложнении приема. Понятна психология художника, жаждущего такой же наглядности, как наглядна работа на фабрике и заводе. Она непосредственна и очевидна. Безыменский хочет такого же наглядного воздействия на зрителя. Оттого в выбранном им сюжете он беспощадно обнажает классовые пружины, которые двигают его персонажами, и бросает в зрительный зал ряд лозунгов. Он пользуется своеобразным приемом прямого разоблачения. Афиногенов медленными и хитрыми путями раскрывает сложные социально-психо-

логические комплексы, которыми обусловлены поступки его героев. Его приемы сложнее, и непосредственное агитационное воздействие не так наглядно. Оно вырастает из общего смысла произведения, когда зритель напряженно проследит весь ход борьбы и задумается над рядом вопросов, поставленных Афиногеновым.

Эти методы противоположны и несоединимы. Отдельные приемы Афиногенова, перенесенные в «Выстрел», разрушили бы стиль пьесы. В свою очередь, приемы Безыменского разрушили бы здание Афиногенова. Спор «какой метод лучше» — бессмысленен. Метод художественного мышления есть индивидуальная особенность художника.

## III

Новизна задач неизбежно вызывает обновление драматургических приемов. Она вызвана не формальным экспериментаторством, а необходимостью резко и точно довести до зрителя тезис автора. Публицистика не допускает неопределенности. Автор, заблудившийся в развертывании действия, теряет не только силу художника, но и силу публициста. Зритель ждет авторского слова. Положительные герои, устами которых говорит автор, если и сохраняют убедительность в пьесах непосредственного агитационного воздействия, лишены ее в пьесах психологических. В психологических пьесах тезис вытекает из всей концепции автора. В этом и заключается их преимущественная трудность. Успешный опыт МХТ, введшего лицо «от автора» при постановке «Воскресения», найдет, вероятно, отклик в современной драматургии. Лицо «от автора» выражает не только отношение автора (или театра) к тем или иным образам, но, более того, их общественную тенденцию. Сельвинский в «Командарме», предвидя такую возможность, прибегнул к «конференсье», но придал ему задачи не публициста, а своеобразного иронического комментатора.

Новизна приемов не исчерпывается, конечно, «авторским замком». ТРАМ пользуется «временными сдвигами»,

перемещая действие из настоящего в прошлое и будущее, разрывом действия, публицистическими вставками, параллельно развивающимся действием, переключением образов. Легко переходя от трагического к комическому, ТРАМ показывает одно и то же положение в двух освещениях в зависимости от субъективного восприятия различных действующих лиц или различает мнимый трагизм комедийным финалом. ТРАМ порою избегает метода «унижения» врага или его измелчания, но разоблачает классовую под-

Но грибоедовский стих — чужой для современности. Зачастую вместо того, чтобы раздражать и волновать, он спокойно и монотонно ложился в ухо зрителя. Пьеса, волнуемая обличительным пафосом и гневными выпадами против бюрократизма, рядом прямолинейно и жестко выписанных образов «правоуклонистов», «прислужников», «примазавшихся», с одной стороны, бурной комсомольской волей — с другой, требовала по самому своему жанру более категорического обновления приема.



«Не взирая на лица». I акт. Постановка С. Трусова. Художник Л. Летнар

кладку его трагического пафоса (сцены сектантов в «Клеше задумчивом»).

«Выстрел» Безыменского, «Чудак» Афиногенова и «Высоты» Либединского пользовались более законченными методами, нежели ТРАМ с его бурными философскими и этическими поисками и богатством приемов.

Одновременно с следованием принципам агиттеатра Безыменский воспользовался «грибоедовской традицией». Порывая с сценическим построением «Горя от ума» и предпочитая многосценное построение пьесы, он остался верен методу грибоедовского языка.

Причина сценической неполноты «Высот» Либединского, написанных в форме обычной драмы, лежала в крайней беллетристической перегруженности пьесы. «Происхождение» автора сказало на ее методах. Либединский не столько показывает, сколько рассказывает.

#### IV

Наибольшей формальной четкости достиг Афиногенов, пытавшийся примирить канонические законы драматургии с задачами современности. Внутренняя диалектика образов помогла

Афиногенову избежать примитивного деления на «добрых» и «злых» и раскрыть внутренние противоречия образов. Он не побоялся в основном герое интеллигенте — «чудаке» — вскрыть достаточную долю идеализма. Он не остановился перед тем, чтобы в женщине — предзавкоме — показать внутреннюю борьбу между подчиненностью долгу, верным чутьем и хаосом еще не сбалансированных чувств. Его директор фабрики подхвачен темпом жизни, который владеет им, вместо того, чтобы ему самому овладеть темпом. Каждый из образов есть своеобразная проблема. Их соединение и дает ощущение большой и свободной атмосферы. Он перенес в обстановку мирного строительства «сва и настоящей силой атмосферу своей страны, своего общего дела». Это «общее дело» — строительство социализма — пронизывает активных действующих лиц пьесы. Потому их ошибки и недостатки не носят черт пародии или оскорбления, и потому философия «мещанского практицизма» Горького вызывает резкую оппозицию.

При написании пьесы Афиногенов держался методов психологического реализма и пытался находить для каждой сцены «живую нить» и «живое зерно». Порою он впадал в чувствительность, — и в наши дни вторгались чувствительные ноты лирических романсов; порою он развязывал действие внешними приемами и впадал в формализм. В этих случаях нельзя не видеть чрезмерного влияния на Афиногенова приемов прежней драматургии, — и при ее подавляющей победе в афиногеновской пьесе начинали преобладать нотки лирической пассивности, вместо основной, пронизывающей пьесу воли к борьбе.

Но, рисуя своих героев, Афиногенов задумывался одновременно над рядом сложнейших проблем: о борьбе дружбы и долга в наши дни, о самом понимании дружбы, о коллективной работе и пр. Эти проблемы неизбежно возникали и связывались с образами, затронутыми Афиногеновым. Не все они получили разрешение в пьесе. Но основная проблема — об энтузиазме масс, об упорной воле к победе — сделала

непререкаемым актуальное значение пьесы в целом.

## V

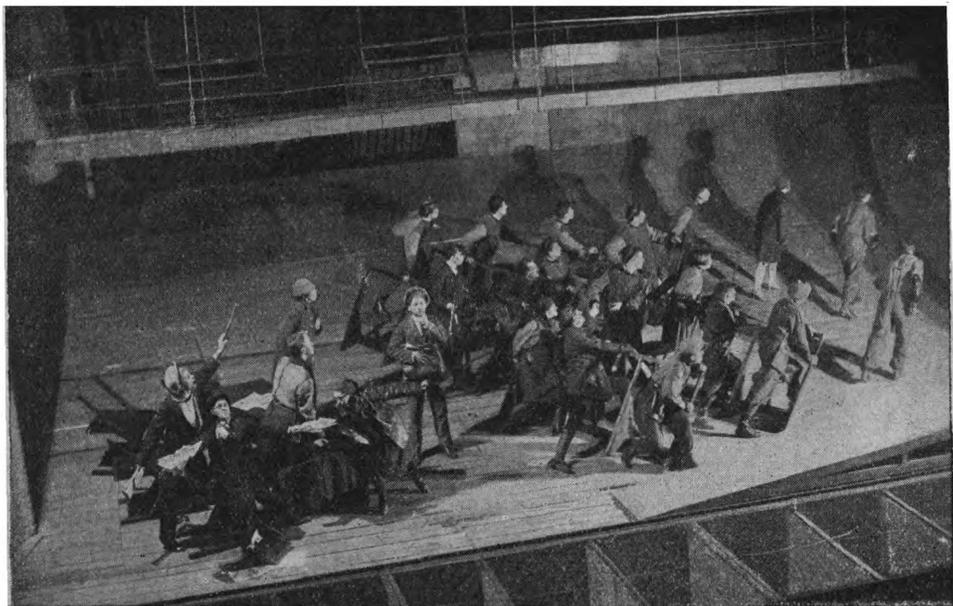
Дело театра помочь автору сценическими средствами обострить основные его тенденции. Среди сценических успехов на первом месте «Чудак» во II МХТ и «Не взирая на лица» в Пролеткульте. II МХТ, ставя «Чудака», искал своеобразного театрального обобщения — доведения до крайней и острой законченности образов пьесы. Режиссер Трусов в «Не взирая на лица» в костюмах искал основ современного водевиля. «Высоты» в театре б. Корш не имели точного режиссерского рисунка, базирясь преимущественно на отдельных актерских исполнениях.

Подход коршевского театра к пьесе Либединского оказался нецелесообразным. Актеры отлично воплощали отдельные роли, но современное звучание пьесы не получила: режиссер не объединил их в едином мироощущении, в едином мирозерцании. Узел, завязавшийся вокруг борьбы на хозяйственном фронте, развязывался на сцене менее ярко, чем, вероятно, мыслилось автору. Послушно следуя тексту пьесы, покорно размещаясь в привычных мизансценах, актеры вполне выпукло играли роли. Некоторые из них, как Ковров и Зражевский, достигали полной законченности образов. Но они играли роли, а не пьесу. Создавали образы, а не спектакль.

В спектакле «Переплав» Щеглова режиссер Каверин, хотя и встал на путь обострения сюжета, пришел к путаным результатам. На этот раз режиссерские приемы противоречили современному сюжету. Каверин и студия Малого театра привыкли к своеобразной «трансформации жизни». Налет этой трансформации лежал и на «Переплаве». Он шел от того понимания «обобщения», которое связано с былым символизмом, всеми корнями противоречат эпохе. Сцена инженера и работницы неожиданно приняла формы «блоковской Руси», и цех преобразился в сияющий и блистающий дворец. Пьеса была «сценически приукрашена» вместо раскрытия ее с точки зрения

социального и психологического содержания. Как и в «Высотах», сюжет волновал, но это волнение было заслугой сюжета, а не театра. В отдельных местах театр становился точным, ясным и конкретным, и тогда, несмотря на бедность авторского материала, представление становилось приемлемым. Хорошая игра, режиссерская отвлеченная изобретательность сами по себе недостаточны для раскрытия социальной задачи спектакля.

ственно-общественного организма. Разлад с современностью, живший раньше во II МХТ, получил разрешение в «Чудаке», и II МХТ впервые был советски-современным. Режиссеры и актеры нашли в образе коммунистов и «чудака» Волгина то сквозное действие, о котором писал Афиногенов: чувство строительства советской страны явилось объединяющим стержнем спектакля. Надо думать, что «Чудак» является и поворотным пунктом в ис-



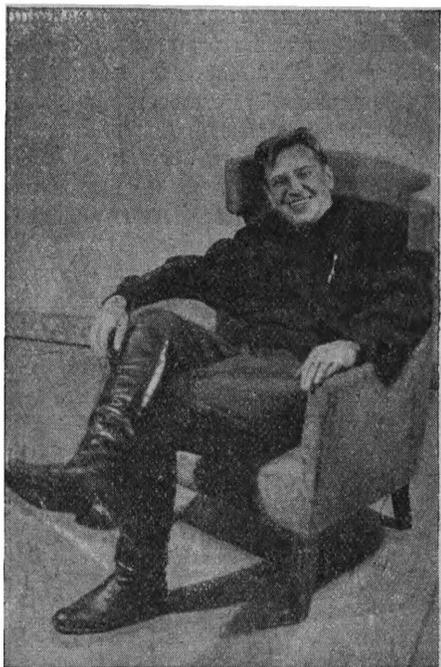
«Выстрел». II акт. Постановка В. Зайчикова, С. Козина, А. Нестерова и Ф. Бондаренко под руковод. Вс. Мейерхольда. Художники Павлов и Калинин.

«Сценические неудачи «Высот» и «Переплыва» компенсировались победой «Чудака» и «Не взирая на лица».

Общий замысел «Чудака», несмотря на отдельные недочеты пьесы, актерского исполнения и режиссуры, доходил до зрителя точно и определенно. Театр угадал автора. Пути перерождения старых коллективов сложны. Современный спектакль был впервые почувствован II МХТ в пьесе, которая затрагивает этические проблемы. II МХТ всегда концентрировал на них внимание, и потому вопросы современной этики его глубоко взволновали. Автор коснулся вопросов, коренных для этого театра, как художе-

теории II МХТ. Сценические приемы, которыми пользовалась режиссура, сводились к обострению чувства жизни: отсюда возникла яркость и насыщенность образов, и мизансцены, паузы, общий ритм спектакля получили новое звучание.

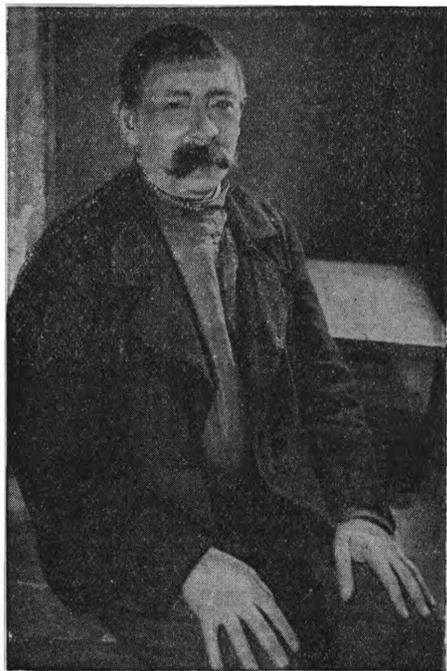
Груз прошлого не лежит на Пролеткульте. «Не взирая на лица» имеет много черт, сходных с ТРАМ'ом. Как и в ТРАМ'е, в Пролеткульте господствует резко субъективное освещение отдельных образов, подчеркивание отдельных социальных черт, игра вещей, как обострение основного действия. Все приемы оправданы общим отличительным пафосом, который про-



«Высоты». Красный директор кожзавода Айвазов — арт. Ковров.

низывает спектакль. Оттого «Не взирая на лица» отмечено единым стилем, а не многими стилями, как «Переplав», хотя в режиссерских приемах Каверина и Пролеткульта много общего. В то время как Каверин пользуется приемом психологического символизма, т. е. ищет символического сгущения психологических переживаний, приемы Пролеткульта выражают сатирическое отношение к театру, к изображаемым беспорядкам в унывермаге. Причина лежит также и в том, что Каверин пытался применить средства, успешно им изобретенные при комедийных иронических постановках, к драме: возникало противоречие жанров. Пролеткульт оставался на твердой почве жизнерадостной, бодрой и молодой комедии — вернее, сатири-

ческого и очень талантливого фельетона. К сожалению, не было на этот раз полной законченности в работе театра им. Мейерхольда над «Выстрелом» Безыменского. Спектакль был построен, как монтаж отдельных сцен. Некоторые из них, как монолог Пришлецова, были сделаны блестяще и достигали социального обобщения. Другие такого обобщения не получили, между тем как вся пьеса подчинена приему непосредственного агитационного воздействия. Может быть, такой результат получился потому, что на этот раз постановка не находилась непосредственно в руках Мейерхольда: театр не нашел общего взгляда на пьесу — того, что мы называем «единым мироощущением», «единым мирозерпанием» и что оживляет спектакль и диктует ему его приемы.



«Высоты». Рабочий кожзавода Галанов — арт. Зражевский.

2. ОБЗОР СТИХОВ <sup>1)</sup>

М. Зенкевич

Роман в стихах кажется в наши дни анахронизмом. Он стал казаться анахронизмом вскоре же после своего создания. Через десять лет после окончания «Евгения Онегина» Лермонтов уже решительно заявлял:

Умчался век эпических поэм  
И повести в стихах пришли в упадок.

Для своего романа, для Печорина, Лермонтов предпочел форму не стихотворную, а прозаическую. На смену роману в стихах «Евгений Онегин» появились: роман в прозе «Герой нашего времени» и поэма в прозе «Мертвые души». Сам Пушкин прекрасно знал, что область романа давно уже безвозвратно отвоєвана у поэзии прозой и что поэту почти невозможно состязаться здесь с романистом прозаиком. Поэтому-то Пушкин так долго, с большими перерывами писал свой роман в стихах и (так же, как и Байрон в «Дон-Жуане») отыгрывался преимущественно на лирических отступлениях. «Евгений Онегин» остался в нашей литературе своеобразным уникалом и был как бы предвестником последующего победного шествия прозаического романа — романов Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова...

Революция снова пробудила тоску по большому эпическому полотну. Грандиозные события не укладывались в небольшие лирические формы, да и сама лирика стала малодейственна, для нее потребовалась непосильная ей общественная нагрузка. Отсюда неодно-

кратные попытки возродить старую эпическую поэму хотя бы в форме стихотворного публицистического фельетона.

Сельвинский более других оказался пригодным к разрешению этой нелегкой задачи. Маяковский слишком эгоцентричен в своих поэмах, Пастернак чересчур лиричен. Сельвинский же умеет растворять свое «я» в чужих, в больших сюжетных построениях, которые обычно под силу только прозаической повести. Блестящее доказательство этому его «Улалаевщина».

«Пушторг» назван романом и построен по образцу старого классического романа в стихах — «Евгения Онегина», «Дон-Жуана». Конечно, Сельвинский при этом далек от эпигонства. Новый роман в стихах он попытался создать на новом материале, обработанном при помощи новой поэтической техники. Не только содержание, но и сама форма романа ультрасовременна. Роман написан своеобразными октавами, очень далекими, конечно, от классических:

Так хватит ли в сердце чего-либо злого,  
Стричь октавы по лекции? Нет.  
Девственность метра синкопой рви!..  
О, диссонанс и разноударник,  
Вы — прыжки с шестых этажей.

Стих «Пушторга» очень прозаичен, язык тоже нарочито прозаичен, часто газетен, «помесь французского с нижегородским». Сельвинский сознательно держит курс на международный жаргон «латинизированного разноречья», в роде волаюка или эсперанто.

Автор заслуживает упрека  
В обилии чужеземных слов,  
Но право же не видит малейшего прока  
В том, чтобы вечно молиться на Даля..  
Нет, я стою за вырыв корней,  
За помесь французского с нижегородским,  
За международность газеты. Вот с кем  
Поэту, который не закоренел,  
Держать бы курс на новый язык  
Латинизированного разноречья.

Старый роман в стихах («Евгений Онегин» так же, как и «Дон-Жуан») в значительной мере держался на лирических отступлениях. В «Пушторге»

<sup>1)</sup> Илья Сельвинский. Пушторг. Госуд. изд. Ц. 3 р. 60 к. в переплете. М. Светлов. Книга стихов. Госуд. изд. Ц. 2 р. 50 к. в переплете. Николай Деметьев. Шоссе энтузиастов. Госуд. изд. Ц. 00 к. В. Александровский. Костер. Изд. «Федерация». Ц. 1 р. 75 к. Виктор Гусев. Поход вещей. Изд. «Федерация». Ц. 1 р. 25 к. Макар Пасынок. Сердце и порок. Изд. «Федерация». Ц. 1 р. Всеволод Рождественский. Гранитный сад. Изд. «Прибой». Ц. 2 р. 25 к. П. Незнамов. Хорошо на улице. Изд. «Федерация». Ц. 1 р. 45 к.

тоже около половины текста отведено под разные отступления, лирические, полемические, просто вставки. Некоторые из них очень удачны, например, концовки глав о зверях, или полемические выпады против критиков романов. Но немало и лишнего, только обременяющего текст. Сельвинский, хотя он и называет себя «преказливым, точно сатир», мало пригоден для той блестящей, легкой, как пена шампанского, «causerie», мастером которой был Пушкин. Для этого Сельвинский слишком тяжеловесен, он гораздо лучше там, где серьезен и деловит.

К такой большой вещи как «Пушторг» нельзя предъявлять тех же требований, что и к небольшому лирическому произведению. Поэма в своих отдельных кусках всегда менее насыщена, более «экстенсивна», чем лирическое стихотворение. Она действует всей своей массой, не чистотой и прозрачностью лирической струи, а широким плавным течением повествования. Отдельные куски «Евгения Онегина» в большинстве слабее лучших лирических стихов Пушкина, но в целом роман подавляет их своей грандиозностью. «Пушторг» тоже надо судить не по отдельным, более удачным или менее удачным отрывкам, а по всему его размаху в целом.

Сельвинский по-своему сумел справиться с поставленной себе задачей. В «Пушторге» много технической изобретательности, блеска, ярких эффектов, особенно в лучших частях, например, в главе XIII с описанием выборов в Моссовет и самоубийства Полуярова. Точно в рупор громкоговорителя переданы песни и выкрики манифестаций с Красной площади, по которой проплывала «акуловая тень аэропланов»:

«О том, как в ночи ясные,  
О том, как в дни ненастные»...  
«Мы жертвою пали в борьбе роковой»...  
«Веди же, Буденный, нас смелее в бой»...  
«Любви беззаветной к народу»...  
«Так за совет, за светлую свободу  
Мы грянем дружное ура»...  
«Да здравствует Рыков и Калинин! Да  
здрав...»  
«...Здравствуй, милая картошка, тошка...»

Под радостный гул этой «народной мистерии» совершается самоубийство

Полуярова, который, перерезав себе венау, видит, как —

ребенок напротив  
Сначала дочерна побагровел,  
Потом вернулся до светлых кровей,  
И стал зеленеть, краснеть, голубеть,  
Как эти деревья, как пух голубей,  
Как этого шара и жизни ротик...  
На свежем бульваре, ослабив оскал,  
Храпел мужчина в красных носках...

И тут же внезапный переход к вскрытию тела, жуткая картина в несколько строчек:

Отрезали голову, бросили в бак,  
Где с кровью мешался раствор формалина...  
Профессор, играя накладками бак,  
Выгнул огромной лиловой малиной  
Сердце. Студенты толпились вокруг  
Меж препаратами двух старух.

Своим романом в стихах «Пушторг» Сельвинский побил новый рекорд в современной поэзии. Он побил рекорд и не быстроту: роман в стихах, приблизительно равный «Евгению Онегину», написан в течение одного только года, в то время как Пушкин писал «Евгения Онегина», правда с перерывами, в течение семи лет. Этот рекорд на быстроту не мог не отразиться на романе Сельвинского. В «Пушторге», хотя бы по сравнению с «Удалевиной», явно видны следы спешки.

Прежде всего сама тема романа взята во временном, публицистическом разрезе. Тема «Пушторга» острая, но и очень временная. Эта злободневная острота, вызвавшая, как показала журнальная полемика, интерес к «Пушторгу», скоро притупится. Даже нами трагедия Полуярова не ощущается, как нечто необходимое, неизбежно вытекающее из конфликта Кроль—Полуяров. Так ярко описанный конец Полуярова, необходимый автору для эффектной развязки, в самом романе психологически не мотивирован. Почему такой сильный, таежный человек, как Полуяров, вдруг раскисает оттого, что его просят выйти из чужих рядов, и кончает с собой, несмотря на предостерегающий окрик автора: «Нет, вы не смеете умирать»?

Сельвинский заранее защищает себя от возможных нападков на форму романа, высмеивая «почетных потомственных непонимаков» и суд из восьми поэтов-эстетов:

Первый поэт: «Явный упадок».  
 Второй поэт: «Он до прозы ведь падох».  
 Третий поэт: «Глагольною рифмой»...  
 Четвертый поэт: «Он не брезгует, хи».  
 Пятый поэт: «Неграциозно».  
 Шестой поэт: «Тенденциозно».  
 Седьмой поэт: «Скоро он логарифмы».  
 Восьмой поэт: «Перепрет на стихи».

Однако, сам же Сельвинский признается:

Не все ж я, признаться, коллекционер —  
 Люблю раритеты и безделушки;  
 В этом смысле я истинный Плюшкин,  
 И хлам у меня найдется любой...

Прозаический стих «Пушторга» иногда до того растворяется в прозе, сглаживает ритм, стирает рифму-рифмид, что по сравнению с ним с большим правом кажется стихами ритмическая проза, например, Гоголя или Белого. За исключением отдельных монолитных частей и отрывков, обширное здание романа Сельвинского кажется выстроенным из какого-то плотно спрессованного, но сыпучего материала. Это тоже не может способствовать долговечности стройки.

Впрочем, в этом вряд ли можно винить Сельвинского, который добросовестно поставил свой рекорд. Грандиозные события нашего времени развертываются и изменяются так быстро, что за ними трудно ухватиться даже прозаику. Если Лермонтов даже и неправ, и век эпических поэм не умчался навсегда, то все же, очевидно, для создания поэтического эпоса нужна более спокойная атмосфера, более выдержанный во времени материал, больший ретроспективный взгляд.

Наша молодая революционная лирика до сих пор питается преимущественно романтикой прошлой гражданской и возможной будущей войны. Война эта рисуется, обычно, в каких-то розовых тонах. Танки, газовые атаки, пулеметы, окопы, вся ужасающая будничная трагедия войны (о чем так просто и правдиво рассказал Ремарк в своем «На западном фронте без перемен»), вся ужасающая современная военная техника — все это куда-то скрывается из глаз романтически настроенных поэтов, они забывают даже про Осавиахтим и видят себя только, как Петя Ростов, несущимися верхом на статном коне в какую-

то розовую неизвестность. В этой романтике есть много юношеской непосредственности и революционного энтузиазма, но много и пережитков, отрывки прошлого. Это хорошо показано в «Большой дороге» Светлова.

К застенчивым девушкам,  
 Жадным и юным,  
 Сегодня всю ночь  
 Приближались кошмары:  
 Гнедой жеребец  
 Под высоким драгуном,  
 Роскошная лошадь  
 Под пышным гусаром...

То же самое снова повторяется с незначительными вариациями:

К застенчивым девушкам,  
 В полночь счастливым,  
 Всю ночь приближались  
 Кошмаром косматым  
 Гнедой жеребец  
 Под высоким начдивом,  
 Роскошная лошадь  
 Под стройным комбатом,

Картинка знакомая еще по старой, популярной когда-то песенке.

От лирики сейчас требуется большая общественная нагрузка, и лирический поэт, чтобы быть услышанным, должен обладать высоким голосом. Такой высокий, чистый, лирический голос есть у Светлова. Мотивы гражданской войны в нашей поэзии стали уже штампом, но у Светлова тот же мотив зазвучал волнующе по-новому:

Мы ехали шагом,  
 Мы мчались в боях,  
 И «Яблочко» — песню  
 Держали в зубах...  
 Но песню иную  
 О дальней земле  
 Возил мой приятель  
 С собой на седле.  
 Он пел, озирая  
 Родные края:  
 — Гренада, Гренада,  
 Гренад моря! —  
 Он песенку эту  
 Твердил наизусть,  
 Откуда у хлопча  
 Испанская грусть?

Веселая песня вдруг обрывается трагически:

Пробитое тело  
 Наземь сползло,  
 Товарищ впервые  
 Оставил седло.  
 Я видел: над трупом  
 Склонилась луна,  
 И мертвые губы шепнули:  
 Грена...

Дальше следует смелый и эффектный перенос:

Да! В дальнюю область,  
В заоблачный плес  
Ушел мой приятель  
И песню унес...

И песня замирает печальным и вместе бодрим отголоском:

Не надо, ребята,  
О песнях тужить...  
Не надо, не надо,  
Не надо, друзья!..  
Гренада, Гренада,  
Гренада моя!

Это стихи, пожалуй, лучшие в сборнике, но в нем немало и других лирических стихов, тоже неожиданных и свежих. Трогательен короткий лирический рассказ о махновеце «Большое», который перед расстрелом протянул «на прощанье мне руку, пять рвущихся к жизни дорог».

Я не выстрелил и мы ушли назад...  
И друг друга с дружбой новой  
Поздравляли на заре.  
Он забыл, что он — махновец,  
Я забыл, что я — еврей!

Но уже не прощением и примирением, а жгучей революционной ненавистью, не за себя, а за других, напоено стихотворение «Напман»:

Я спокойно смотрел. Все равно,  
Ты оплатишь мне счет за вино,  
И за женщину двадцать рублей  
Обозначено в книжке моей.  
Этот день, этот час недалек:  
Ты ответишь по счету, дружок!

Высокие лирические ноты Светлов умеет чередовать с иронической «гейневской» усмешкой, тонкой иронией «милого старого Генриха», про которого Светлов пишет:

Я тебя каждый день читал  
Вот уже сколько лет...

Эта ирония чувствуется в «Ночных встречах», в «Живых героях», в разговоре с клопом («Клопы»):

Пусть ночь наша будет темна и слепа,  
Но все же, — клянусь головою, —  
История наша не знает клопа,  
Покончившего с собою.

Поэмы Светлова (даже более поздняя «Хлеб») уступают его небольшим вещам, — кажутся циклом растянутых лирических стихотворений. Подчас в них не совсем приятный привкус сентиментализма (например, в том же «Хлебе»).

Краткое ироническое предисловие автора к своей книге свидетельствует о том, что Светлов не собирается почить на лаврах, а стремится к чему-то большому, новому.

«Поссе энтузиастов» Николая Дементьева встретило более холодный прием, чем тот, который заслуживает, и вызвало даже кое-какие нападки в «Литературной Газете», в комсомольской печати. Дементьева обвиняли в эстетизме, указывали на неестественность первого вступительного стихотворения об оркестре, спокойно игравшем, чтобы остановить панику, ораторию Баха в то время как —

... в зале обрушились пол и столбы,  
И выходы были об'яты пожаром.  
Обвалы рождали невиданный треск,  
Огонь древесину глотал, как обжора,  
А где-то внизу, не сбиваясь с мажора,  
Заканчивал трудную пьесу оркестр.

Картина, конечно, малореальная, неправдоподобная, хотя «занавес (очевидно, железный) и сполз наполнину», но ведь стихотворение это — скорее гротеск, который, по замыслу автора, должен подчеркнуть влияние музыки на человеческую психику. Кроме того, само по себе стихотворение вовсе неплохое, и пожар театра показан эффектно.

Так же несправедливы и обвинения Дементьева в эстетизме, — повод к этому дало, может быть, не совсем удачное название сборника. Дементьев не замыкается в скорлупу чистой лирики или в цеховщину поэтического техницизма и часто берет широкие общественные темы. Он хорошо знает, что:

Мы стоим, сторожа,  
И под нами страна-исполиин  
Насторожена, чтобы не выела ржа  
Маслянистые бицепсы наших машин.

Прощаясь на Арбате со «славным парнем», польским комсомольцем, Дементьев напоминает ему о «взрывчатом капсюле гнева»:

Комсомолец, подпольщик из Польши, пожди  
На прощанье  
      мою пятерню.  
Наши от роду двадцать  
      не годы, а риск!  
Не забудь, уходя за кордон,  
Крепче стискивай горло у сытых...  
      Борись!  
Вы без нас, мы без вас — пропадем.

Нападавшие на Дементьева проглядели его незаурядное (особенно для первой книги стихов) формальное мастерство. Дементьев не хочет идти по проторенной дорожке писания легких избитых стихов и не хочет плестись в обозе, а хочет быть в авангарде современной поэзии, вместе с лучшими мастерами стиха пользоваться всеми приемами изощренной поэтической техники. Дементьев твердо наметил «суровый маршрут» и упорно ему следует. Ранние стихи Дементьева, особенно пейзажные, показывают сильное влияние Пастернака:

Рассылая по улицам  
хлюпы и клеток,  
Головастый и лапчатый  
сплюснутый дождь  
Вил по лужам,  
хрипел в глубине водостоков,  
И ручьи замывали  
следы от подошв.

Однако, эта «пастернакипия» не делает Дементьева даже и в таких стихах простым подражателем. Он по-своему старается использовать для своих тем, для своего материала приемы, введенные в нашу поэзию Пастернаком, и осторожно нащупывает свои пути. К недостаткам Дементьева надо отнести разве только некоторую «выспренность», о чем у него самого хорошо сказано: «Я перо обмокну для выспренной записи». Впрочем, это объясняется тем, что в сборник вошло много ранних вещей Дементьева, и в нем совсем нет стихов за последние два года. Многочисленные фрагменты и отрывки поэмы указывают на незаконченные еще, широко задуманные работы, которые должны осуществиться только в будущем.

В «Костре» В. Александровского собраны стихи за десять лет: 1918—28 гг. По ним можно проследить весь поэтический путь Александровского, начиная от первых его юношеских пролеткультовских стихов до самых последних.

Снега и пыль и терпкий запах гари...  
Звенят шаги. Я дерзок и упрям,  
Я всеобъемлющий, чье имя — Пролетарий,  
Идущий к новым солнцам и мирам!

Эти первые стихи Александровского были еще ученические, наивные, но в них чувствовался революционный энтузиазм; из переимчивого, поющего с

чужого голоса, но способного ученика, обещал выработаться самостоятельный поэт. Потом Александровский подпал под влияние Есенина и стал усиленно ему подражать:

Нет, мне сердце не гложет зависть,  
И покой для меня, как туман.  
Ну и пусть я для многих мерзавец,  
Проходимец и шарлатан.  
Как мне жить тихо и кротко,  
Если в душевной и серой мгле  
Приучили меня пить водку,  
Матершинничать с детских лет.

«Я какой-то расколотый весь» — жалуются Александровский, и эта расколотость проходит через всю его книгу.

После всех неудач и ошибок  
Не записывайтесь в старики! —

бодро увещевает он молодежь, но в большинстве его стихов чувствуется эта преждевременная «запись в старики»:

Полным голосом петь не могу,  
Точно известно, душа выгорает...  
Ах усталость, усталость какая...  
Какая тяжелая усталость  
От бездорожья и пути.

Следуя есенинской школе, Александровский пренебрежительно относится к поэтическому мастерству и хочет обойтись одним «нутром», внутренним лирическим напором, который у него часто заменяется резонерством. В сборнике попадаются отдельные довольно яркие стихи (напр. «Цыганка»), которые показывают, что Александровский способный и переимчивый поэт. Но ему надо как-то изжить свой кризис и поискать других путей: есенинские мотивы уже исчерпаны до конца самим же Есениным.

Виктор Гусев идет вслед за Светловым. Он старается брать простую гибкую форму и, применяя ее к современной тематике, насыщать лиризмом и иронией:

Что же мне делать?

Скажите, что же?  
Лето московское, это не ты ль?  
Сегодня —

солнце, жара и пыль...  
Когда удрученный вечер ляжет  
И перед сонною толпой  
Начнут два дерева Эрмитажа  
Притворяться рощей густой,  
Когда и Пушкин, цилиндр сжимая,  
Настигнуть хочет весну и май,  
Угрюмой бронзой громыхая,  
Достать путевку в Бахчисарай.

Лиризм и ирония Гусева не так остры, как у Светлова. Гусев более склонен к лирическим разговорам, к описаниям. В самой тематике, так же, как и в форме некоторых стихов Гусева, есть еще что-то очень молодое, «вузовское»:

И, закончив урок,  
Он проходит с учебной поклажей,  
Вася Разумов, друг,  
И садится возле окна...  
И наконец — редактор вспомнит юность,  
Узнав, что мне всего лишь двадцать лет...

У Гусева есть начитанность, вкус, культура стиха; книга его — неплохое начало. Но вместе с тем в некоторых его стихах, особенно в длинных, чувствуется жидковатость, фельетонная развязность, которая, если автор отдастся ей, может повести его по проторенной дорожке. Будем думать, что этого не случится и что Гусев не остановится на уровне своей первой книги и пойдет дальше.

Лейтмотив небольшого сборника Макара Пасынка («Сердце и дорож») — это «романтика шлема». Самое удачное запоминающееся стихотворение — «В беспрочном отпуску».

Пусть я в беспрочном отпуску,  
Но сердцем я —  
Красноармеец.  
И думаю светлую лелею  
О встрече с другом по полку...  
Да, пусть теперь на мне жилет,  
Но дружба взвода не увянет.  
Путевкой встреч  
Лежит в кармане  
Учетно-воинский билет!

В сборнике можно найти еще два-три неплохих стихотворения («Армия труда», «Песня», «О Федоре и Теодоре»), но в целом сборник бледен и слабават.

Новый сборник Всеволода Рождественского «Граничный сад» нов только наполовину, так как в книгу включено немало стихотворений из предыдущего его сборника «Большая Медведица». Новые стихи Рождественского показывают, что он хочет выйти из узкого круга своей прежней музейной и стилизаторской лирики и приблизиться к современности. Однако, большинство его стихов на революционные темы довольно слабаваты:

Нынче выдал всем девчонкам  
Счастье облачный местком...

Тут уже слышатся какие-то «жаровские нотки». Еще слабей:

Куда как легче ноша,  
Когда цветет заря,  
Счастлив ты, Алеша,  
Ровесник Октября.

Лучшие из цикла стихов о новом Ленинграде «Прощание с молодостью» и перепечатанное из «Большой Медведицы» стихотворение:

Крысы грызут полковые приказы,  
Слава завязана пыльной тесьмой.  
Кедры Сибири и польские вязы  
В кронах качают приснившийся бой.  
Радиостанции. Противогазы.  
Наступь дивизий. Победа. Отбой.

Встречаются свежие вещи и в средней «туристической» части книги — «Кюгу», «Крымский скорый», «Арагва», «Зеленая Грузия»:

Чтоб в ожерелья букowego леса,  
Где грела Мцыри барсова нора,  
Стонали в ночь приемники ЗАГЭС'а  
И клекотала пленная Кура.

Однако, уже в этой части встречается много обычных для Рождественского литературных реминисценций и стилизаций, преобладающих во второй половине книги.

Рождественский — культурный и талантливый поэт. Рисунок его стихов графичен и тонок, сделан со вкусом, часто с изяществом. Он старается перейти к современным темам, взятым из жизни, а не из книги. И при всем этом поэзия Рождественского, и по содержанию и по форме насквозь эпигонская, кажется стилизацией, повторением каких-то давно уже известных образов. Причина этого в том, что Рождественский до сих пор никак не может выйти из пределов той школы салонного стилизованного «акмеизма» второго цеха поэтов, вождями которого были Георгий Иванов и Георгий Адамович. Так называемый «акмеизм» этой группы, в отличие от акмеизма первого цеха, был малокровно-золотушным, эпигонским, реакционным и политически и поэтически.

Если сборник Рождественского показывает, как даже при талантливости автора можно зайти в тупик с эпигонством «акмеизма», то книга П. Незямова («Хорошо на улице») показывает

такой же тупик для эпигонов футуризма. Незнамов верно следует завещаниям Лефа, он не «из тех, кому стихи — высокая болезнь»:

Мы идем  
не по искусствам чистеньким,  
Затем, что мы стоим  
за публицистику,

заявляет Незнамов. Незнамову нельзя отказать в таланте, в книге его есть свежие, крепкие образы, строфы, целые стихи, например, «Где-то под Ачинском».

Сосна да пихта  
лес да лес,  
да на опушке горсть домишек,  
а поезд в гору  
лез да лез,  
разгромывав лесные тиши...  
И — вдруг горнист.  
И — вдруг рожок.  
И — вдруг, как пламя на пожаре,  
басок дневального обжог:

— Вставай,  
вставай,  
вставай, товарищ!

Однако, когда Незнамов старается, не впадая в «высокую болезнь», применять все футуристические рецепты для изготовления стихов-кирпичей и становится «слишком республицистичным» (как он сам выражается), то он незаметным образом преподносит ряд курьезов, как, например, в «Мичурине»:

Ты скажешь: наваждение?  
— Давай, не надо;  
по этим насаждениям  
прошел оригинатор...  
Довольно быть унизанным  
плодами-крошками.  
Мичурин организмы им  
встрянул немножко.

Это уже кажется почти пародией, какими-то футуристическими упражнениями Кузьмы Пруткова.

### 3. ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЕКСАНДР ДЮМА И К<sup>0</sup>

Ю. Данилин

Июльская революция, столетие которой исполняется в текущем году, способствовала процветанию крупной французской буржуазии. Этот класс, оппозиционно настроенный в последние годы Реставрации, теперь, уже в самом начале 30-х годов, добившись власти, повернул на путь реакции. Н. Лукин<sup>1)</sup> отмечает: «После июльских дней крупная буржуазия считает революцию законченной и становится ярой сторонницей «существующих политических порядков». Отныне она стремится только к обогащению. В 30-х годах происходит сильнейший рост промышленной техники, крупнейшие успехи промышленного капитализма, совершается множество изобретений. Капитал ищет все новых и новых точек своего приложения и благотворного развития. Все эти обстоятельства отразились и в области газетно-издательского дела, где в 1827 году был изобретен первый механический печатный станок.

В 1836 году Эмиль де Жирарден основывает газету «Пресс», а Эдмон Дютак — газету «Сьекль». Оба дельца одновременно пришли к мысли создать новую дешевую печать, так называемую «прессу в 40 франков», исходя из соображения о платности объявлений, число которых с началом июльской монархии, с расцветом промышленности чрезвычайно возросло. Сорок франков подписной платы вполне могли окупить издержки печатания, редакционные же и административные расходы должны были покрываться из платы за объявления.

Это была настоящая революция в газетном деле. До сих пор подписная цена газеты была 80 франков, а газета являлась рупором той или иной политической партии; объявления в такой газете были только аксессуаром, и газета имела тираж небольшой, так как подписывались на нее преимущественно политические единомышленники. «Пресса в 40 франков» вытесняла эту «идеологическую» печать, ставя на первый план грубую заботу о доходно-

<sup>1)</sup> Н. Лукин.—Новейшая история Западной Европы, вып. I, М. 1923. Стр. 407.

сти и превращая издание газеты в простую отрасль промышленности. Жирарден и Дютак осуществляли в газетной области лозунг эпохи: «обогащайтесь, господа!» Они желали иметь громадные тиражи, т. е. множество читателей. Но для этого прежде всего нужно было найти средство угодить всем мнениям, заместить политические интересы каким-либо общим интересом, равно острым для всех. Этим средством и явился роман-фельетон<sup>1)</sup>, усвоивший себе первоначально захватывающую тематику и испытанные средства «готического» или «черного» романа, чтобы впоследствии, в 40-х годах, выдвинуть таких своих мастеров, как Александр Дюма-отец и Эжен Сю, окруженных целой плеядой более мелких, но также преуспевших в ту эпоху имен, как Фредерик Сулье, Поль Феваль, Роже де-Бовуар, Понсон дю Террайль и др.

Для издателя «прессы в 40 франков» лучшим романом-фельетоном был тот, который нравился максимальному числу читателей, и величайшим романистом являлся автор, который привлекал газете новых подписчиков и наибольшее доходы. В свою очередь знаменитые авторы романов-фельетонов зарабатывали массу денег: Эжен Сю получил, напр., за «Парижские тайны», напечатанные в газете «Конститусьоннель», сто тысяч франков. Неудивительно, что Бальзак, вечно охваченный мечтами о богатстве, быстро учуял открывавшиеся тут радужные возможности и пожелал испробовать свои силы в новом жанре. Однако, он не сумел овладеть несложной, казалось бы, и динамической техникой романа-фельетона и не смог понравиться читателям. В 1842 году он начал печатать в одной из газет повесть «Альбер Сава-

рюс». Многочисленные читатели заявили протест, печатание повести приостановилось, и карьера Бальзака на поприще романа-фельетона была закончена. Прав оказывается Бодлар, говоривший, что каждый молодой писатель должен найти свой жанр и постараться проявить в этом жанре «столько же дарования, сколько Эжен Сю проявил в своем».

Эмиль Жирарден оценивал авторов не с точки зрения личных вкусов, а исключительно следуя вкусам и требованиям своих читателей.

— У меня нет времени читать,— говорил он. — Если Дюма и Сю пишут или заставляют писать для себя ерунду, читатель из доверия к фирме принимает это за шедевры. Желудок приывает к пище, которую ему дают.

Когда к Эмилю Жирардену обратился малоизвестный писатель Антенор Жюли, предлагая ему для печати свою рукопись «Признания Марион де Лорм», Жирарден пришел в восхищение:

— Прекрасное заглавие! Подпишите это именем Дюма, и я приму, не читая.

В 1840 году в газете «Сьекль» был напечатан роман «Шевалье д'Арманталь». Этот роман родился из повести Огюста Маке, переделанной Александром Дюма. Роман в газете был подписан именем одного Дюма; Огюст Маке ограничился получением тысячи франков. Ведь если бы читатели увидели под романом две подписи, они нашли бы роман не столь интересным и он принес бы меньше дохода. «Роман, подписанный именем Дюма, — сказал по сему поводу Эмиль Жирарден, — стоит три франка за строчку, если же он подписан Дюма и Маке, строчка стоит тридцать су».

Таким образом, если перед издателями дешевой прессы вставала возможность легкого обогащения, то такая же возможность открывалась и писателям. В ту эпоху в литературном быту становится популярным тип «литературного шепра» — «человека, который пишет для человека, который подписывает». Популярный в 30-х годах драматург Скриб работал исключи-

<sup>1)</sup> Отметим, что роман-фельетон, как единичное явление, появился несколько раньше конца 30-х гг. Р. В. Хертленд пишет: «По указанию г. Анри Авенеля («История французской прессы», Париж, 1900), газета «Ревю де Пари», основанная в 1829 г. Вероном, ввела роман в периодическую прессу. В 1837 г. этот жанр окончательно утвердился, благодаря успеху захватывающих эпизодов романа Ф. Сулье «Мемуары дьявола» (R. W. Hartland.—Walter Scott et le roman frénéfique, Paris, 1928, p. 219).

тельно с «неграми». Шахов отмечает: «К деятельности своей Скриб относился, как к прибыльному ремеслу, и в писательстве руководился приемами спекулянтов... Для того, чтобы успешно вести свои промышленные предприятия, Скриб затеял особую организацию литературного промысла. Он ввел в мастерскую литератора принцип разделения труда. Около Скриба образовалась целая школа подмастерьев, которые помогали ему в предприятиях и затем, благодаря солидной фирме хозяина, выходили в люди — из литературных закройщиков становились самостоятельными портными... Сам Скриб отыскивал сюжет, намечал общий план действия и обрабатывал эффектные места; батраки его развивали диалог и приделывали куплеты»<sup>1)</sup>.

Писатели, не прибегавшие к скрибовским методам, но развращенные огромными гонорарами, платившимися за романы-фельетоны, истощали свой мозг в изобретении всякого рода головоломных и экстравагантных положений. Последние должны были поддерживать острый интерес публики к роману и тем самым способствовать популярности и дальнейшему материальному благосостоянию романиста.

Эрнест Легуве пишет в своих мемуарах об Эжене Сю:

«Эжен Сю был совершенно неспособен составить план, сконспектировать. Если он никогда не писал одной театральной пьесы, это происходило именно потому, что ее нужно было написать. Расчет являлся у него убийцей вдохновения. Неуверенность, затрудненность — вот что возбуждало его, прищипывало и делало творцом. Поверите ли вы, что ему в больших его романах случалось ставить своих персонажей в безвыходное положение к концу фельетона, фельетона, который должен был появиться завтра, и автор не знал, что он напишет в послезавтрашнем фельетоне. Тогда ко мне прибывало письмо, написанное его иероглифическим почерком: «Дорогой мой Эрнест, я в большом затруднении. Проч-

тите этот фельетон: чорт меня побери, если я знаю, как вытащить отсюда моих персонажей. Я буду у вас к шести часам, мы пообедаем и попробуем что-нибудь придумать после обеда».

«Но, несчастный, — говорил ему я, когда он приходил, — зачем вы создаете себе подобные трудности?! — Вы прекрасно знаете, что я не могу поступать иначе. — Я прочел ваш проклятый фельетон. Тут нет выхода, совершенно нет выхода! — Ба! — отвечал он мне с чудесным хладнокровием. — Давайте поразмыслим немного. Представьте себе, что это живые люди и что они действительно находятся в таком положении; ведь выйдут же они из него как-нибудь, выйдут же? Плохо или хорошо, но они выйдут. Так поищем же, как они поступят». И вот мы беседуем, спорим, ищем, и он, полный всевозможных проектов, порою прервет себя, чтобы сказать: «Знаете, нет ничего более забавного, чем играть таким образом роль Провидения, Судьбы; делать счастливыми и несчастными; обогатить одного и разорить другого; отдать бедному юноше, никак не ожидающему этого, женщину, которую он любит. Вот что заставило меня создать Родольфа из «Парижских Тайн». Родольф — это сам романист в процессе творчества; только у меня по сравнению с ним два преимущества: во-первых, я имею право жизни и смерти над моими персонажами и, во-вторых, я не более их предвижу, что должно с ними случиться»<sup>1)</sup>.

В другом месте Э. Легуве свидетельствует, что Эжен Сю не умел вынашивать свои произведения, не мог дать им спокойно вызреть. Объяснение этому, конечно, только в лихорадочной спешке его работы:

«Начиная «Парижские Тайны», Эжен Сю не знал, куда он идет. С ним так обстояло всегда. Его гением был случай. Когда он начинал что-нибудь писать, он словно играл в лотерею. Не он управлял своим пером, но последнее увлекало его за собой. Буквы и слова, рождавшиеся под его пальца-

<sup>1)</sup> А. Шахов.—Очерки литературного движения в первую половину XIX века. 4-е изд. СПб. 1913, стр. 242—3.

<sup>1)</sup> E. Legouvé.—Soixante ans de souvenirs, t. I, Paris, éd. Hetzel, p. 374—5.

ми, были как бы таинственными знаками, которые говорили ему: «Иди этою дорогой!» Его чернила были своего рода симпатическими чернилами; они вдохновляли его. Ему не раз случалось отчетливо представить себе своего главного персонажа, основную пружину драматического действия, только к концу тома и при том по чистой случайности. Вы помните Родена в «Вечном Жиде»? Ну так он нашел этого главного двигателя действия только в середине развития действия. Однажды вечером, к концу трудового дня, дописывая последние строки главы, он вдруг, не зная, как и почему, нарисовал на бумаге силуэт этого иезуита, грязного, скарденного ханжи, на котором держится все произведение<sup>1)</sup>.

Если Эжен Сю, сознательно или бессознательно стремясь к крупным тонорам, истощал свое воображение в поисках сногшибательных ситуаций и, подгоняемый спешкой работы, не мог вынашивать своих произведений, то у Жорж-Занд то же стремление проявлялось в исключительной работоспособности. Две нижеследующие цитаты относятся, правда, к 50-м годам, но это не меняет дела. В «Дневнике» Гонкуров записан рассказ Теофиля Готье о жизни Жорж-Занд в ее поместье Ноане:

«В какой бы комнате ей ни вздумалось присесть, там неизменно оказываются перья, синие чернила, папиросная бумага, турецкий табак и разлинованная почтовая бумага. И она ими пользуется. Вам ведь не безызвестно, что она в полночь вновь принимается за работу и просиживает до четырех. Наконец, знаете, что однажды случилось с нею? Нечто чудовищное! Она однажды закончила роман в час ночи — и привялась за другой в ту же ночь. Писать — это для г-жи Занд органическая функция».

А вот как обрисовывает ее писательскую работу Антуан Альбала:

«Автор «Мопра» писала ночью от 11 часов до 5 утра, в среднем семь или восемь часов в день. Даже когда у нее в Ноане бывали гости, она ложилась

их в 11 часов, чтобы возвратиться в свою комнату и сесть за лист бумаги. Спала она только до первых проблесков дня. Трех часов сна было вполне ей достаточно<sup>1)</sup>. Злоупотребление табаком и кофе, которое она пила по ночам, куря свои вечные папиросы, в конце концов привело к болезни печени; от этой болезни писательница и умерла. Работая порою беспрерывно и без помех в течение тринадцати часов, она едва давала себе времени перечесть рукописи, отправляемые ею Бюлозу. Эти излишества в работе являлись причинами физических болезней, приступов уныния и сонливости. «Г-жа Занд, — пишет Дюма-сын, — проспала вдруг не то в течение двадцати, не то в течение тридцати часов, свалившись там, где она находилась, бредя вслух, шепча бессвязные слова, не имея больше нужды ни в чем, кроме сна, но сна, эквивалентного ее усталости, явившейся результатом огромного напряжения ума; затем мало-помалу она стала отщипывать глаза; она не проснулась, это не то слово, она возродилась, она возобновляла знакомство с вещами внешнего мира и в течение двух или трех дней бродила по саду, не произнося ни слова, как бы в поисках самой себя. Наконец, она нашла себя и, вернувшись к обладанию своей индивидуальностью, снова ввела ее в обычный ритм своей жизни. Когда начались эти странные явления, окружающие думали, что паралич неминуем, но все они были изумлены, когда увидели, что после этих перерывов она принималась за писание «Маркиза Вильмера» или «Мадмуазель де ля Кентини». Это были просто-напросто вынужденные периоды покоя после такой добровольной каторжной работы...»<sup>2)</sup>.

Эти особенности французского литературного быта 40-х гг., как работа с

<sup>1)</sup> В. Каренин отмечает, что Ж. Занд, даже когда она была целиком поглощена работой, находила возможным следить за играми своих маленьких дочерей, отвечать на их вопросы, и продолжала писать, держа по арлекину в каждой руке и несколько кукол на коленях.

<sup>2)</sup> Antoine Albalat.—Gustave Flaubert et ses amis, Paris, 1927, p. 270—1.

секретарями, «неграми», стремление кружить читателю голову сногсшибательными ситуациями в очередном фельетоне и чудовищная личная работоспособность с особенной рельефностью проявились у Дюма-отца, подлинного человека своего времени. Если «пресса в 40 франков» была основана представителями крупной буржуазии, если жанр романа-фельетона родился в конечном счете из духа издательской наживы, то Александр Дюма-отец полноправно может считаться представителем и родоначальником подобной же крупной литературной буржуазии, обладавшей такою же психологией рвачества и наживы и усвоившей себе в области литературы ту же точку зрения, какую издатели Дютаж и Жирарден усвоили в области газетно-издательского дела. Дюма, подобно им, желал обогащаться. Никто в эту пору не исповедывал с такой яркостью, как он, убеждения в том, что писатель является не романтическим пророком, а деловым человеком; не голодающим провидцем Чаттертоном, а предприимчивым коммерсантом; не ширококрылым бодлеровским альбатросом, витающим в облаках, а литературным подрядчиком, старающимся надуть издателя, содрать с него тонорар побольше, и оплатить работу собственных сотрудников возможно дешевле.

Тем не менее Дюма всегда пылко отрицался от обвинения в пристрастии к *littérature industrielle*, в коммерческом взгляде на литературу и в использовании чужих трудов. Сохранилось его письмо к старику Беранже, где Дюма с великим пафосом протестует против недоверия Беранже: «Как могли Вы поверить этой популярной басне, покоящейся всего только на авторитете нескольких неудачников, постоянно старающихся кушать ляпки тех, у кого имеются карьеры. Вы могли поверить, что я завел фабрику романов, что я, как Вы выражаетесь, имею рудокопов для обработки моей руды! Дорогой отец, единственная моя руда—это моя левая рука, которая держит открытую книгу, в то время как правая работает по двенадцати часов в сутки. Мой рудокоп—

это воля к выполнению того, чего до меня ни один человек не предпринимал. Мой рудокоп — это гордость или тщеславие (как хотите), чтобы мне одному сделать столько, сколько делают все мои собратья романисты вместе взятые, — и притом сделать лучше... Я совершенно один! Я не диктую. Я все пишу самостоятельно» (разрядка Дюма — Ю. Д.).

Однако, это письмо к Беранже, которое Дюма после его смерти напечатал с большой помпой в своем журнале «Монте-Кристо», никого не переубедило. Факты слишком красноречиво утверждали обратное. Ведь столько раз случилось, что Александра Дюма со скандалом тащили в суд, чему начало положил Фредерик Гайярде, требовавший в 1831 году и добившийся судом, чтобы было признано его авторское право на мелодраму «Нельская Башня», всесветно известную под фирмой Дюма.

В 1845 г. неизвестный диффаматор Эжен де Мерикур выпустил памфлет «Фабрика романов, торговый дом Александр Дюма и К<sup>о</sup>». В этой брошюре и некоторых последующих аналогичных своих брошюрах Эжен де Мерикур называет следующих «негров», работавших на Александра Дюма: Анисе Буржуа, Ипполита Оже, Поля Божакса, Луи Куальятка, Дюррье, Фюрентино, Жерара де-Нерваля, Поля Мёрриса, Эмиля Сувестра и самого крупного из всех них—Огюста Мале<sup>1)</sup>. Памфлет Мерикюра наделал немало шума, и Бальзак, которому не повезло в области романа-фельетона и которому лавры и тонорары Дюма мешали спать, распространился в прочувствованных выражениях насчет падения литературных нравов и недостойных методов Дюма. Между тем Бальзаку не следовало бы так скорбеть и притом публично, потому что всегда могло случиться, что Шарль Лассайльи, Эдуард Урлиак, Теофиль Готье, Лорен Жан, де-Грамон и Жюль Сандо—все

<sup>1)</sup> Названные имена указаны Анри Альмерасом (Henri d'Almeras—Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires, Paris, 1929, p. 60). Антуан Альбала присоединяет к ним еще имена Левана, Локруа и Нормана, тоже сотрудничавших у Дюма (Antoine Albalat.—Le travail du style etc. Paris, 1927, p. 301).

вместе или кто-нибудь в отдельности— могли объявить, что им приходилось быть секретарями, помощниками и сотрудниками, словом, «неграми» у Бальзака, который эксплуатировал их, вероятно, покруче, чем безалаберный и в общем добродушный Дюма. Шарлю Лассайльи пришлось просто бежать из тюремного заключения в доме Бальзака, при чем предусмотрительный Лассайльи удирал ночью и не через двери, а через стену дома.

Молодые писатели становились литературными «неграми» не только из соображений заработка, но и из дружбы. Огюст Маке сотрудничал не у одного Дюма, но еще раньше у Жерара де-Нерваля, дружески помогая последнему написать несколько фельетонов. В свою очередь Жерар де-Нерваль был «негром» у Теофиля Готье, оказывая ему помощь в писании театральных рецензий. Бывало и так, что у «негра» имелся свой «негр». Грозный обличитель литературных торговых домов, *littérature industrielle*, Эжен де-Мерикур поручил однажды работу над заказанным ему историческим романом своему другу Вильяму Дюкетту; будучи чем-то занят, последний передоверил эту работу молодому Рошфору, будущему знаменитому журналисту, который и написал этот роман, напечатанный за подписью Мерикура. Точно так же большая часть «Биографий», выпускавшихся Мерикуром (серия «Современники», выходившая в 50-х гг. и посвященная писателям, публицистам, политическим деятелям и т. д.), была написана Дюкеттом и Пьером Мазеролем. Последний же в один прекрасный день, в 1857 г., выпустил брошюру под заглавием «Исповедь одного биографа. Предприятие Э. де-Мерикура и К<sup>о</sup>». В этот день Дюма был отомщен.

Для окончательного уяснения вопроса о работе Дюма с сотрудниками полезно ознакомиться со следующим документом, не оставляющим никаких сомнений:

«Дорогой друг.

...Я объявляю, что с этого дня отказываюсь от всех прав собственности и переизданий на следующие произведе-

...: ШЕВАЛЬЕ ИГРЕЩИН ИМ ОЧЕДОКОВ 'ВИНОГ

Шевалье д'Армянталь;

Сильванир;

Три мушкетера;

Двадцать лет спустя (продолжение «Трех мушкетеров»);

Граф Монте-Кристо;

Женская война;

Королева Марго;

Шевалье де-Мезон-Руж.

...Сохраните это письмо, если сможете, дорогой друг, чтобы показать его грубому наследнику, и скажите ему, что пока я жил на свете, я был чрезвычайно счастлив и крайне польщен честью числиться сотрудником и другом самого блестящего из французских романистов.

Пусть он поступит, как я.

4 марта 1845.

Маке».

Возможно, что этот документ многих удивит. Как, все прославленные романы Дюма написаны не им одним? Значит были только ложью все эти вдохновенные рассказы биографов Дюма о неистощимой его фантазии, об изумительном блеске его воображения, о его гениальном мастерстве в области литературы плаща и шпаги? Но такие пессимистические суждения были бы слишком поспешными. Да, Маке был литературным «негром» у Александра Дюма. Но отсюда нельзя еще заключать, что Дюма был малоодаренным литератором, умевшим только ловко эксплуатировать талантливого Маке. Последний неизменно работал с Дюма до 1857 года; когда же в этом году они поссорились, а вслед за этим пошли бесконечные скандальные судебные процессы и начались попытки «самостоятельного творчества»,—современники этой ссоры могли очень ясно убедиться, что «Маке был только каменщиком, Дюма же—архитектором».

Приведенное письмо—дарственная Маке, где он раз навсегда отказывается от своих авторских прав в пользу Дюма,—поступок чрезвычайно красноречивый. Нужно учесть, что Дюма получал от своих романов и от их переизданий колоссальные гонорары, что его годовой доход в 40—50-х годах изме-

рвался цифрой 200.000 фр. Если Маке добровольно отказывается от своей доли этих доходов, ясно, что он сознавал, как второстепенна его роль в создании этих романов и не считал, что Дюма недостаточно оплачивал его услуги, как сотрудника. В свою очередь безграничное восхищение и преклонение Маке, запечатлевшееся в этом письме, ярко свидетельствует о том обаянии, которое должен был производить на Маке творческий гений Дюма.

Не следует, впрочем, преуменьшать и роль Маке, сотрудничавшего в семнадцати романах Дюма. Если эта роль сводилась к представлению отдельных глав или всей черновой рукописи задуманного романа, подвергавшейся затем коренной переработке Александром Дюма, то известны и такие страницы, например, в «Трех мукетерах», где Дюма, не меняя сделанного Огюстом Маке разворачивания темы, вносил преимущественно второстепенные, хотя и существенные изменения, способствовавшие большей рельефности описаний, динамиче диалога и красочности повествования. Дюма во многом зависел от Маке. Сотрудник ему был необходим. Альмерас указывает весьма убедительно, что прославленное воображение Дюма проявлялось только в деталях, в аксессуарах. Дюма не был богат на сюжеты. Он сказал однажды журналисту Шеншоллю: «Я стал бы сотрудничать и с каторжником, если бы он мог дать мне новую идею». В свою очередь Дюма, прежде чем написать книгу, должен был рассказывать ее (трием, употреблявшийся впоследствии Альфонсом Додэ, который рекомендовал его и всем писателям); рождая в этом устном черновике те словечки, жесты, тот динамический ход повествования, те мелодраматические эффекты—все, что затем попадало в рукопись. Нет никакого сомнения, что человеком, которому Дюма особенно часто рассказывал сюжет романа, был его сотрудник,—если в данном случае он имелся,—главным образом Маке, обладавший бесценной способностью писать так же быстро, как Дюма. Они постоян-

но виделись, вместе завтракали и обедали, и понятно, что за этими трапезами Дюма говорил только о новом романе, давал указания, изменял план, создавал новых персонажей и т. д. И он без конца слал своему сотруднику записки с краткими указаниями, советами, дополнениями и ссылками на книги.

Стараясь дать объективную оценку работе Маке, мы не можем не указать, что он был весьма полезен для Дюма своею исторической эрудицией. Конечно, и сам Дюма много читал, но без исторических познаний Маке он был как без рук. Ипполит Париго рассказывает один малоизвестный анекдот, весьма выразительный в данном случае.

«Маке, читатель неутомимый и обладавший охотничьим чутьем, является однажды к Дюма с видом человека, принесшего слитки золота. Дюма предпочел бы, чтобы это и были деньги, но оказал ему обычный прием. Эрудит откопал в библиотеке превосходного тюроя романа, песенника, роялиста и что-то там еще—Анжа Питу... «Делайте все, что нужно!»—отвечал ему Дюма, полный энтузиазма; это означало: пуститесь в поиски и представьте мне этого человека в окружении его исторической и нравственной среды. В тот же вечер Дюма заключает договор с «Конститусьоннель» и получает аванс под будущее произведение. Между тем у него происходит размолвка с Маке. Подгоняемый газетой, Дюма уже не имеет досуга, чтобы свериться с источниками, да если бы они у него и были, он все равно их бы не знал. Что же делать? Он храбро берется за работу и выпускает в своем новом фельетоне Анжа Питу, изобразив под видом его юности свою собственную юность и сделав его участником взятия Бастилии»<sup>1)</sup>.

Цитата эта убедит неверчивых в том, что Дюма мог работать и без Маке. О его самостоятельной работе речь будет идти дальше. В том-то, может быть, и секрет неумирания знаменитых «Трех мукетеров», что они напи-

<sup>1)</sup> Hippolyte Parigot.—,Alexandre Dumas - pere" d. aris, 1902, p. 123—4.

саны не одним писателем, а двумя, которые равно вкладывали в эту работу опыт, рвение и одаренность. Если Дюма, работая над рукописью, не мог забыть о необходимости поскорей ее закончить, чтобы поскорей получить новый гонорар, покрыть вечные долги, пышно проесть и раздарить остатки и снова залезть в долги,—это не мешало ему тесно, глубоко, сердечно сживаться со своими героями, быть всецело поглощенным своим замыслом, развертыванием интриги, изобретением осложнений и препятствий, остроумным преодолением их и т. д. И с равным рвением работал верный и трудолюбивый Маке, опьяненный честью сотрудничать с «самым блестящим из французских романистов».

Так эпоха промышленного капитализма, породив новую дешевую «пресу в 40 франков», породила и требования романа-фельетона и активнейший спрос на лучшие образцы этого жанра. Нельзя не видеть ее влияния и в том, что писатели, известные как лучшие производители романа-фельетона, стали на путь работы с «неграми»: они стремились здесь во-время поспевать с новым романом и старались при быстрой работе не понижать художественного уровня,—разумеется, вполне своеобразного художественного уровня, присущего именно роману-фельетону. «Торговый дом Дюма и К<sup>о</sup>» заслуживает не насмешки, не презрения, а понимания закономерности данной формы литературного быта на данной стадии социально-экономического процесса.

Писателей, разрабатывающих жанр романа-фельетона, работающих на рынок, часто и справедливо обвиняют в легкости письма, в пренебрежении к слову, к стилистике. Флобер признавался, что его тошнит от чтения романов Э. Сю. Мопассан вряд ли бы даже удостоил этих авторов тем упреком, который он адресовал Эмилю Золя, указывая, что последнему неизвестно, «какой устойчивый душевный отзвук, какие очаровательные невыразимые ощущения, какое эстетическое волнение могут быть при помощи некоторых комбинаций слов, некоторой гар-

монии композиции, некоторых непонятных аккордов звуков вызваны в душе тех, кто живет только для слова и не знает ничего, кроме него». Любопытно привести отзыв Балзама по поводу языка Эжена Сю:

«Г-н Сю пишет так же, как он ест и пьет, в силу действия некоего естественного механизма; у него в этом нет ни труда, ни напряжения. Его фразам свойственно однообразие, способное привести в отчаяние. Ни единая мысль, ни одно раздумье, ни одна из этих особенностей, как сжатость, заостренность, которые должны отличать французского писателя от всех других, не оживляют эту пьесу, дряблую и жидкую. Форма, однажды найденная г-ном Сю, стала как бы тою кухонною формой, которая служит для приготовления всех кремов»<sup>1)</sup>.

Бесполезно было бы утверждать, что Дюма, писавший с необычайной быстротой и почти без помарок, стремившийся представить рукопись к сроку, а отдельные фельетоны—к завтрашнему дню, мог заботиться об этом. И однако, он заботился об этом. Только чисто по-своему. Коммерческий подход к литературе снова лежит в основе этой заботы. Это Дюма является изобретателем принципа короткой газетной строчки, состоявшей из одного-двух коротких слов. Читатели восхищались и восхищаются блеском его диалога, его умением легко, изящно и остроумно фехтовать короткими сверкающими репликами. Но это была преднамеренная манера. Один литератор эпохи Дюма неплохо передразнил ее:

«— Вы его видели?

— Кого?

— Его.

— Кого?

— Дюма.

— Отца?

— Отца.

— Да.

— Что за человек!

— Вы правы.

— Сколько в нем огня!

— О, да!

— И какая плодовитость!

<sup>1)</sup> Antoine Albalat. „Comment on devient écrivain“. Paris, 1925, p. 38.

— Чорт побери!»

Неполная строчка, возведенная в систему, являлась неприкрытым посягательством на газетную кассу. И касса восстала. Издатели «Сьекль» и «Пресс» объединились и объявили Дюма, что прекращают оплачивать ту строчку, которая состоит из одного-двух слов. Дюма реагировал на это решение тем, что вычеркнул только-что написанную страницу и объявил собеседнику:

— Ну вот, я и убил его!

— Кого?

— Гримо, молчаливого Гримо. Я придумал его как раз для коротких реплик. Теперь же он мне ни к чему. Я упражняю его. Пусть отныне мои герои говорят сколько им вздумается.

Если издатели пресекали наклонность Дюма наживаться на короткой строчке, то они давали ему также понять, что работа с «неграми», поскольку о ней более или менее известно публике, не может не привести к понижению гонорара. Ведь Александр Дюма ухитрился доставлять своим издателям по шестнадцати томов в месяц! Ведь многочисленные его современники, намекая на «негров», не раз ворчливо заявляли в печати, что «физически невозможно, чтобы Дюма мог написать или продиктовать все то, что выходит под его именем». Поэтому Дюма стремился создать в глазах издателей впечатление совершенно исключительной, сверхчеловеческой личной работоспособности.

В самом деле, работать он мог безумно много. Вот что говорит об этом Альмерас:

«Этот изумительный литературный фабрикант никогда не ведал ни уныния, ни усталости. Он производил свои книги, как яблоня производит яблоки. Без усилий скользило его перо по бумаге большого формата, той голубой бумаге, которую бесплатно снабжал его Данель, один из фабрикантов Лидля, после того как Дюма устроил в этом городе публичное чтение в пользу бедных. Он покрывал широкие листы своим крупным, быстрым, легким почерком, изобилующим прописными буквами, но почти лишенным знаков препинания. Это была уже обязан-

ность секретарей романиста (их у него было с дюжину) расставлять знаки в корректуре и уничтожать повторения слов; эти секретари, должно быть тоже считали себя сотрудниками. Дюма чрезвычайно гордился быстротой и легкостью своей работы, да и имел на то право.

И вместе с тем у него совсем не было банального и вульгарного прилежания, регулярности в работе, свойственной тем чиновникам от литературы, которые каждый день выполняют свою положенную задачу. Бывало так, что он по целым дням не прикасался к перу, а затем, подгоняемый необходимостью, стремясь возместить потерянное время, писал по двенадцати или по пятнадцати часов под ряд и даже больше.

В одном жилете, летом и зимой, утром и вечером, потный, задыхающийся, дымящий, как вулкан во время извержения, он работал ночь и день на краешке стола, среди шума, без конца прерываемый гостями, никогда не отказывая им в приеме, разговаривая с ними, а затем, когда они уходили, снова принимаясь за начатую страницу, сцену пьесы или главу романа — настоящая пишущая машина, механизм которой ничто не шортило и не замедляло.

Он рождал с наслаждением. Он прочитывал вслух свои диалоги, чтобы сделать их более естественными, возникающими сами собой. Время от времени слышно было, как он хохочет. Его произведения доставляли удовольствие ему самому; вероятно, поэтому они доставляли удовольствие и другим.

Он тесно сживался со своими персонажами. Он любил их. Однажды его сын, застав отца в слезах, осведомился об их причине. «Портос умер, — отвечал Дюма. — Я должен был принести его в жертву...»<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Henri d'Alméras. «Alexandre Dumas, et les Trois Mousquetaires», Paris, 1929, p. 74 — 75. Сравните замечание Анри Леконта, другого биографа Дюма: «Дюма-сын сообщил нам, что его отец ежедневно работал с утра до обеда, прерывая себя только для завтрака. Он писал всюду, где бы ни был, даже в путешествии. Помарок он почти не делал».

Однако, Александр Дюма не был бы Александром Дюма, если бы он немного «не помогал счастью». Конечно, издатели посещали его и видели, как много он способен работать, но цифра шестнадцати томов в месяц оставалась слишком вопиющей. И Дюма принимал дополнительные меры воздействия на впечатлительность издателей. Однажды он обратился к издателю Верону, прося его прислать 120 листов бумаги, и обещал вернуть их через 8 дней в виде готовой рукописи. «Вот как работают таланты!»—прибавил Дюма назидательно. В указанный срок Верон действительно получил рукопись, характерную рукопись Дюма и, вероятно, был восхищен исполнительным и продуктивным романистом. Остережемся, однако, разделять его восхищение. Кто знает, действительно ли Дюма написал эту рукопись? Ведь среди его безвестных секретарей был некто Вьейо, безнадежный алкоголик, приятный на этот высокий пост и терпимый здесь из-за своей «слабости» только потому, что его почерк чрезвычайно походил на почерк мэтра. Специальностью Вьейо была фабрикация псевдо-рукописей Дюма...

Таким образом, Дюма является чрезвычайно ярким представителем «промышленной литературы» 40-х годов. Все усилия его направлены к единственной задаче—обогащению. Следуя духу времени, он действует в литературе так же, как Жирарден и Дютак действовали в области газетного дела: он наживается. Ради этой цели он покрывает в 40-х годах со своим прежним драматургическим творчеством и устремляется к золотоносным россыпям более доходного жанра, романа-фельетона. Проявляя в работе огромную личную активность и желая вместе с тем быть одним из первых поставщиков ходкого романа-фельетона, т. е. желая увеличить норму своей выработки, Дюма не мог не прибегать к институту «негров». Последние должны были снабжать его исторической эрудицией и выполнять всякого рода черновую и дополнительную работу, от расстановки запяток и правки корректуры до представления черновика будущего романа и до изготовления псевдо-рукопи-

сей Дюма. В ведении же мэтра сосредоточивались, помимо личной литературной работы, более тонкие операции, так, например, обработка материала «негров», поиски и выбор новых сюжетов, обдумывание фабулы, заключение выгодных договоров с издателями, изыскание всякого рода средств легальной наживы, в роде коротких строчек, шумливая реклама огромной личной работоспособности и т. д., и т. д.

Понятно, что коммерческий подход к литературе не может не быть сопряжен с идейной рептильностью. Если Скриб стремился, как говорит Шахов, «ловко подладиться к интересам и вкусам господствующего буржуазного класса», то и Дюма с легкостью исполнял ту же миссию. Говорить о тех или иных личных взглядах Дюма весьма трудно: это человек беспринципный, во многом богема. Но если Жирарден в оценке романа-фельетона руководился не личным вкусом, а вкусом читателей, то и Дюма, литературный делец, прятал подальше свои личные мнения,—если они у него были,—и следовал наличествовавшему в данную минуту настроению крупной буржуазии. Так, когда произошла июльская революция и когда на подмостках бульварных театров стали появляться тогдашние «Заговоры императрицы», Дюма, следуя моменту, написал единственную свою «неистовую» революционную драму, прославляя в ней Робеспьера и террор. В последующие годы, когда начала складываться буржуазная реакция, Дюма перешел к эксплуатации популярной мелодрамы. Если в своей «революционной» драме и в некоторых мелодрамах Дюма являлся рупором республиканских и бонапартистских воззрений, он постепенно, следуя углублению той же буржуазной реакции, превращается в монархиста, каким и полагалось быть добропорядочному французскому буржуа в эпоху июльской монархии. Выразительно в этом отношении творчество Дюма в 40-х гг., когда он переходит к жанру исторического романа-фельетона.

Надо сказать, что роман-фельетон претерпел довольно своеобразную

судьбу: родившийся из духа наживы, свойственного крупной буржуазии, этот роман с такою социально-действенной формой почти тотчас же, в конце 30-х годов, оказался захваченным писателями республиканско-настроенной мелкобуржуазной интеллигенции. Первым автором, создавшим себе имя в этом жанре, был Фредерик Сулье с его «Мемуарами дьявола» — социальным романом, где высшие классы французского общества являлись объектом моральной критики. В начале 40-х гг. жанр романа-фельетона попадает в руки Эжена Сю и Жорж-Занд и превращается у этих писателей в социальный роман с яркой проповедью идей утопического социализма. Романы Эжена Сю и Жорж-Занд имели сильнейший социальный резонанс и сыграли немалую роль в идейной подготовке Февральской революции.

Что же дает в это время Дюма? Если в 1844—45 гг. появляется «Вечный жид» Эжена Сю, почти агит-роман, направленный против иезуитов в пору борьбы с ними, то в 1844 году Дюма печатает «Три мушкетера», а в 1845—роман «Шевалье де Мезон Руж». Остановимся на этих двух романах, ибо сопоставление их с романом Эжена Сю весьма показательно. Исторический шевалье д'Артаньян впервые появляется в литературе в так называемых «Мемуарах д'Артаньяна», сочиненных Куртилем де-Сандрас, либеллистом конца XVII века, повидимому, лично знавшим д'Артаньяна. Если верить этим мемуарам, они рисуют д'Артаньяна грубоватым и неутомимым принципиальным волокитой, который откровенно и упорно охотится за богатыми вдовами (на предмет заключения доходного брака), преданною шпайгой и политическим шпионом Мазарини, чуть ли не провокатором, наживающимся на вечных страхах кардинала, которые он умело и не без личной выгоды подогревает.

Что сделал из этого образа Дюма? Д'Артаньян превратился у него в воплощение всех «национальных» добродетелей — ума, храбрости, хитрости, ловкости, дружбы — в идеального француз-

ского дворянина, глубоко преданного своему обожаемому монарху и не менее обожаемой королеве. О шпионской службе д'Артаньяна у Мазарини нет и речи; напротив, д'Артаньян оказывается врагом Ришелье и Мазарини, благородным разрушителем их грязных интриг, возвышенным и рыцарски-почтительным защитником преследуемой королевы. В «Трех мушкетерах» улыбка королевы Анны Австрийской является источником света, тепла и радости; кульминационный момент — сцена д'Артаньяна, целующего руку королевы — пропадает единственно из-за скверной композиции романа. В романе «Шевалье де Мезон Руж» Дюма избирает патетическим своим героем контрреволюционного аристократа, организующего заговор для освобождения Марии-Антуанетты из тюрьмы; деятели революции представлены здесь в крайне непривлекательном виде, а образом, организующим мысль читателя, является великодушный революционер Морис, приходящий к отрицанию революции.

Если обратиться к другим романам Дюма из эпохи Великой французской революции — «Графиня Шарни», «Анж Литу», — мы видим в них самое реакционное, самое буржуазное представление о революции. Все персонажи этих романов, к какой бы среде они ни принадлежали, будь то придворные, дворянство, буржуазия, интеллигенция, крестьянство, — все они одинаково предстоят нам с чертами величайшего благородства; все они в высшей степени положительные и возвышенные персонажи. Так много хороших людей, что невольно вспоминается Манилов. Что же такое революция? Если верить Дюма, это какое-то иррациональное явление, которое, неизвестно откуда взявшись, вторгается в жизнь всех этих в одинаковой мере благородных представителей различных классов, неожиданно ставит их в отношении лютой вражды и одних из них почему-то обрекает на гибель. Нельзя не испытывать ощущения, что революция помешала персонажам этих произведений жить радостной жизнью, полную изящества и удовольствий, никому не

причиняя никакого вреда. Так Дюма отозвался на революцию конца XVIII века в бурную пору подготовки Февральской революции, когда Жорж-Занд и Эжен Сю работали, не покладая рук, не только как социальные романисты, но и как политические деятели, как агитаторы. Но когда началась революция 1848 года, Дюма снова принялся менять вехи. Если он заработал несколько миллионов с прессы Жирандена и Дютака, стараясь по мере сил парализовать опасное для буржуазии влияние авторов социального романа-фельетона, оттягивая читателей к ге-

рическим эпохам национальной истории, к монархической идее, к антиреволюционной идеологии, то теперь это было не в моде. В эпоху Февральской революции этот монархист, влюбленный в доблести французского дворянства, превращается в демократа. Он становится издателем политических журнальчиков, пытается заработать на пропаганде республиканских идей. Но тут его постигла неудача: его журналы прогорали один за другим. Спекулировать на революции Дюма не пришлось; отметить этот факт доставляет некоторое удовлетворение.

#### 4. П. МЕРИМЕ

К. Локс

Искусство рассказа, одно из самых трудных и ответственных, с наибольшим блеском и совершенством представлено в творчестве П. Мериме. Это имя хорошо известно русским читателям. В нашу литературу его ввел еще Пушкин («Песни западных славян»), и Мериме, с своей стороны, в статьях и переводах ознакомил Францию с тем же Пушкиным, Гоголем, Тургеневым, не говоря уже о больших исследованиях и заметках из русской истории. Влияние Мериме (несмотря на многочисленные переводы) между тем не было у нас значительным и стойким. Быть может, некоторая исключительность его сюжетов была причиной этому. Мериме подражать нельзя, но у него можно учиться великому совершенству формы, уравновешенной, законченной и равно доступной всем по своей классической простоте.

Мериме вырос и сложился в ту эпоху, когда романтизм во Франции в полной мере осуществлял свои завоевания. Это было время тех преувеличений и крайностей, которые неизбежно связаны с каждой новой литературной школой. Утрата чувства действительности в обрисовке характеров и произвольность в разработке сюжета—таковы родовые недостатки романтиков. Мериме предстояло найти выход из положения,—его призвание заключалось

в том, чтобы внести в романтизм известную меру и ввести в границы необузданный шквал фантазии. И романтизм принял у него ту отчетливую форму, которая позволяет нам освободить писателя от условных определений школы. Печать некоторой универсальности связана с его творчеством,—его новеллы не «устарели», они как бы построены на основании тех математических законов, которые выдерживают испытание времени. Для этого прежде всего нужно было иметь верное чувство действительности,—математика искусства своеобразна, она требует, как своей основы, непогрешимо угаданной реальности: «В лето господне 1827,—вспоминал впоследствии Мериме,—я был «романтиком». Мы говорили классикам: «ваши грехи вовсе не грехи, ваши римляне совсем не римляне, вы не даете в ваших творениях «местного колорита». Но «несть спасения без местного колорита». Под местным колоритом мы подразумевали то же самое, что в семнадцатом веке именовалось картинками нравов, что мы очень гордились нашим термином и думали, что раз изобрели слово, то уж тем самым сделали дело». Дальше Мериме иронически рассказывает, как легко ему дался этот «местный колорит». Два-три тома путешествий и очерков—и в результате книга

(«Песни западных славян»), которая ввела в заблуждение не только ученого немецкого профессора, но и гениального поэта, обладавшего непогрешимым чутьем действительности.

Между тем «дело», изобретенное Мериме вместо слов романтиков, было в достаточной степени просто, но в этой простоте и заключается ни с чем не сравнимая трудность. Мы говорим о том умении обрабатывать материал, секрет которого не может быть изложен в тех или иных формулах,—это и вкус к реальному, и трезвый интеллект, и, главное, умение сплести отдельные элементы действительности так, чтобы каждый из них был оправдан при посредстве другого.

Всеми этими данными Мериме обладал в полной мере, и они позволили ему с таким совершенством обработать рискованные темы и справиться с фантастическими сюжетами. Если при этом вспомнить, что он пользовался таким материалом, как фольклор и народная легенда, то трудность его задачи станет еще ясней. Этнографический и фольклорный материал, столь часто соблазнявший художников своей красочностью, опасен именно своим богатством. Из этого богатства Мериме выжимал несколько страниц, где каждая фраза по своей напряженности и значительности звучит, как математическая формула. В наиболее простой форме мы встречаемся здесь с искусством изображать немногими чертами происшествие, обстановку, живое лицо: «Однажды входит тюремщик и дает мне хлеб из алькалы. Вот вам,—говорит он мне,—это ваша двоюродная сестра прислала... Когда я стал его резать, мой нож наткнулся на что-то твердое. Смотрю и нахожу маленький английский подпилек, который сунули в тесто перед тем, как печь хлеб. В хлебе была, кроме этого, золотая монета в два пиастра. Сомнений больше не было, это был подарок Кармен. Для людей ее племени свобода все, и они подождли бы целый город, чтобы отделаться от одного дня тюрьмы» («Кармен»). В последней фразе («для людей ее племени свобода все») найдена исчерпывающая формула, которая тем не менее обладает всеми преимуще-

ствами живого образа. Вот почему Мериме никогда не угрожает сухость, эта обратная сторона всякого слишком скупого и сжатого письма. Он любит и эту роскошь деталей, которые навсегда закрепят в памяти спаленную солнцем равнину Андалузии или глухие дебри литовских лесов. Но стилистическая сдержанность никогда не позволит ему выступить за границы реального, наоборот, умение в этих границах создавать большие художественные ощущения отличает его стиль от обычного романтического стиля, основанного на риторических возможностях метафоры или антитезы. Поэтому образ у Мериме всегда отличается высоким техническим совершенством. Он реальный, но не ограниченный, точный, но не плоский. Позднейший натурализм утратил эти особенности,—у натуралистов можно было найти или беспомощную скованность явлениями или риторичность.

Такие стилистические данные приводят к полной свободе в разработке любых сюжетов. Они подобны какому-то универсальному инструменту, открывающему все двери искусства. И Мериме одинаково хорошо справлялся с сюжетом фантастическим и обычным, не будучи вынужденным менять свои приемы, как это делал Гоголь и в некоторых случаях Флобер. Но в то же время это не обезличенный отполированный стиль классика, одинаково отличный и в низких и в высоких сюжетах. Он исполнен внутренней страстности, гибок и, если так можно выразиться, артистичен в высшей степени. Конечно, своеобразное искусство новеллы, самой обработки материала и его композиции должно было идти параллельно. Что было исходным—стилистика одаренность или необычайно верное чувство материала,—конечно, сказать в этом случае невозможно. Обе способности развивались параллельно, но основной является, конечно, умение распоряжаться словесными средствами. Здесь стилизация и стиль—понятия почти однозначные. Не случайно Мериме начал с художественных мистификаций («Песни западных славян», «Театр Клары Газуль»), не случайно каждый его рассказ замаскирован при

посредстве какого-нибудь вымышленного персонажа, ведущего повествование. В конце концов, почти все новеллы Мериме так или иначе стилизованы под какого-нибудь воображаемого рассказчика. А если этого рассказчика нет налицо, то он тем не менее ощущается нами в особой интимности изложения, в умении вести именно живой рассказ. Так, Мериме как бы возвращается к начальному периоду в истории новеллы — устной передаче, и в этом смысле его искусство чрезвычайно выигрывает, — оно в своей основе примитивно, несмотря на всю свою сложность и утонченность. Соединение примитивности и сложности позволило ввести ряд таких событий и характеров, которые были бы невозможны при ином способе рассказывания. События в новеллах Мериме в известном смысле повинуются логике варвара, который сообщает об их чередовании и связи, как о фактах совершенно непреложных, в то время как сами по себе они способны вызвать у нас глубокое удивление. С какой дикой простотой передана история отца, застрелившего сына («Матео Фалькона») и как патетично рассказал об этом же Гоголь («Тарас Бульба»). Кстати, в статье о Гоголе Мериме несколько раскрывает свою художественную манеру: «Гоголь, — говорит он, — дал блестящие и колоритные портреты своих запорожцев, которые нравятся хотя бы своей необычностью, но порою становится совершенно ясно, что он списывал их не с натуры. Впрочем, его очерки нравов обрамляются такой тривиальной и романтической фабулой, что жалеешь о том, как это Гоголь не нашел им лучшего места: самая прозаическая легенда была бы уместнее этих мелодраматических сцен, поданных вперемежку с самыми мрачными событиями, в роде голода, пыток и тому подобное».

«Прозаическая легенда» — это событие во всей его обнаженности. Нужна была большая смелость и умение, чтобы положить его в основу рассказа, сопровождаемого утонченными замечаниями об особенностях корней литовского языка или археологических спорах. И эти два рассказчика, — один из

них — прекрасно образованный парижанин, скептик и светский человек, другой — дикарь и варвар, каким-то образом совмещаются в искусстве Мериме. Первый наблюдает, второй живет и действует. Его характер отмечен отсутствием рефлексии, — он целен и последователен, но эта цельность коренится где-то очень глубоко, в каком-то доисторическом сознании. Здесь нужно вспомнить, что Мериме был историком в той же степени, как и художником. Но историком особого типа, — его интересуют характеры загадочные и жестокие. Сумеречные переживания, инстинкты и слепые влечения ведут их по тому прихотливому узору, который может дать повод для живописной разрисовки. Так возникают работы о Катилине, Лжедмитрии, Педро Кастильском, — во всех этих темных и необследованных уголках истории Мериме любит блуждать, наслаждаясь величественным зрелищем страстей и столкновения характеров. Но хотя история для него — явление эстетического, а не этического порядка, новеллы Мериме полны внутреннего, с трудом сдерживаемого огня. Сама их форма походит на стальную маску, надетую на разбушевавшуюся человеческую стихию. Отсюда же их актуальность: такой рассказ как «Таманго» действует сильнее, чем сентиментальные излияния Бичер-Стоу, и незабываемая картина — охота на негров — производит необходимое впечатление именно благодаря своему эпическому стилю: «Капитан, чтобы скрепить сделку, ударил по рукам черного, уже более чем наполовину пьяного, и тотчас невольники были отданы французским матросам, которые поспешно сняли с них деревянные рогатки и надели вместо них железные ошейники и кандалы, что достаточно ясно показывает превосходство европейской цивилизации». От этого превосходства Мериме уходил в глубину литовских лесов и иллирийских тущоб. Под изящной маской придворного и эрудита, быть может, скрывался самый настоящий разрушитель — «человек с двойным лицом». Мериме относился к своим современникам со снисходительным презрением. Ему не о чем было спорить с ними: этот спор

он перенес в область воображения и там разрешал его.

Изданье избранных произведений Мериме, выпущенное Гизом <sup>1)</sup>, несмотря на свой небольшой объем, впервые дает полное представление обо всем его творчестве. Сюда вошли драматические сцены из «Театра Клары Газуль», «Песни западных славян», за исключением тех, которые были переведены Пушкиным, наиболее интересные отрывки из истории «Дона Педро, короля кастильского» и критические статьи, посвященные русской литературе (Пушкин, Гоголь, Турге-

нев). Критика Мериме не утратила интереса до сих пор. Некоторые его замечания чрезвычайно метки и остроумны, а отрывки из истории Дона Педро представляют тот высокий образец художественного изображения, который заставляет вспомнить латинских историков. Изданию предпосланы две статьи: А. Луначарского и А. Виноградова. В первой статье определяется значение Мериме для нашей современности, во второй дана полная, написанная с большим знанием биография и история творчества. Обе статьи превосходно руководят в сложных вопросах изучения Мериме. В конце книги приложены литературно-биографические даты и библиография. Переводы заключены в три редактора, новые тоже хороши.

<sup>1)</sup> Редакция, вступительная статья и комментарии А. К. Виноградова. Предисловие А. В. Луначарского. Москва—Ленинград, 1930 г. Стр. 567 Ц. 2 р. 60 к.

# Книжное обозрение

1. СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ «Алый смерч». Арк. Глаголева.—2. БОРИС ЛАПИН «Тихоокеанский дневник». Виктора Гольцева.—3. М. КРАВКОВ «Большая вода». Бориса Анибала.—4. С. ВЕГИН «В верховьях Тигра (у айсоров и курдов)». Н. Замошкина.—5. В. СТЕФАНИК «Рассказы». Л. Тимофеева.—6. ГЕОРГ ВРИНГ «Солдат Зурев». Я. Фрида.—7. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» Арк. Глаголева.—8. КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕЕ». А. Греча.

**Сергей Городецкий.**—«Алый смерч». Роман. «Земля и Фабрика». М.—Л. Стр. 255. Цена 2 руб.

Роман Сергея Городецкого принадлежит к той стилиевой формации, которая представляет собой не только уже вполне определившийся, но и как это совершенно необходимо подчеркнуть, вполне пройденный этап в стилиевом (разумеем здесь именно стиль, а не только стилистику) развитии нашей литературы.

Стиль «Алого смерча»—стиль интеллигентско-мелкобуржуазного психологизма. (Не следует смешивать этот вид психологизма с художественным психологизмом в творчестве пролетарской интеллигенции и иными видами психологизма в нашей литературе.)

Центральный образ, определяющий собой социально-художественную сущность и стиль «Алого смерча», врач Ослабов—мелкобуржуазный интеллигент, типичный представитель середняцкого интеллигентного городского мещанства, хотя и, несомненно, его лучшей части. Ослабов совершенно ошарашен и сбит с толку империалистической бойней, он судорожно мечется от «патриотизма» к «пацифизму». Он тонко ощущает всю мерзость «героев» тыла, он хорошо осознает всю возмутительную преступность бессмысленного истребления «пушечного мяса», он искренне и глубоко ненавидит организаторов этой бойни, но он беспомощен в деле отыскания спасительного выхода. Он остается внутренне чуждым людлинным народным низам.

«Но всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться с этими же солдатами, так, казалось бы, покорно бредущими на смерть в чужую страну,—вблизи, в лагере, на затоптанном винограднике он видел совсем другую Россию,—не ту, которую он любил, а ту, которой он боялся» (139).

Наступившая революция вносит еще больший разлад во внутренний мир Ослабова. Не понимающий основной сущности революции, не понимающий ни ее противников, ни ее носителей, Ослабов пропускает все исторические сроки, он окончательно испепелен революцией, остающейся для него только грозным, непонятым, все сметающим на своем пути «алым смерчем»... «История проголосовала без него» (254)—таков финал Ослабова, уходящего со страниц романа вконец разбитым и опустошенным человеком. Как отдельная индивидуальность Ослабов мог, конечно, возродиться, но его роль как отобразителя определенного социально-психологического характера, как представителя определенного общественно-исторического момента вполне сыграна и в истории и на страницах романа С. Городецкого. В этом отношении последнему нельзя отказать в известной художественной органичности.

Метод изображения Городецким своего центрального героя вполне соответствует его психоидеологии. Неустойное мучительное копание в своих переживаниях, душевные надрывы, вечная тревога, психическое двойничество, «судороги неразрешенных противоречий» и т. п.—характеризуют поведение Ослабова. Отдельные, не лишённые выразительности зарисовки царского фронта и тыла не заключают в себе социально-художественного спецификаума романа; вопреки утверждениям некоторых рецензентов, подошедших к «Алому смерчу» наивно-реалистически, не эти зарисовки, а психологический самоанализ Ослабова, его «достоевщина» является основным стержнем романа.

Роман С. Городецкого, точнее его жанр, ибо «Алый смерч» не составляет какого-либо единичного литературного явления,—можно указать целый ряд родственных ему вещей,—мо-

жет сейчас явиться лишь только пред-метом регистрации историка литерату-ры, а не той социально-художествен-ной силой, которая способна активно воздействовать на восприятие совре-менного читателя.

*Арк. Глаголев.*

**Борис Лапин.**—«Тихоокеанский днев-ник». Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 222. Ц. 1 р. 85 к.

Всего лишь полгода назад вышла в свет интересная книга Бориса Лапина «Повесть о стране Памир», имевшая заслуженный успех. Сейчас перед на-ми уже лежит вторая его книга, при-надлежащая к тому же «очеркистско-му» жанру.

В этой книге отчетливо выступают не только положительные стороны ли-тературного дарования Б. Лапина, но также и некоторые его недостатки. Очень много спорного обнаруживаем мы в его писательских приемах.

Нет надобности особенно «бранить» автора за то, чего нет в его книге, за то, что он не считал нужным да-вать читателям. Но следует подчерк-нуть, что «Тихоокеанский дневник», так же, как и «Повесть о стране Па-мир», нельзя причислить к так назы-ваемой «литературе факта». Автор со-знательно смешивает свои подлинные путевые впечатления с тем, что он во-все не видел в действительности. Ре-альные факты обрастают у него «беллетристичкой», различными «роман-тическими» приключениями, не имев-шими места в действительности. Борис Лапин вовсе не «фактовик», не очер-кист обычного публицистического ти-па. Нам не покажется странным, если в дальнейшем, еще более отдаляясь от «чистого» очерка, он перейдет к сю-жетной прозе.

В вводной главе автор сообщает, что не все путевые заметки он вел регу-лярно, что не все материалы, собран-ные им, он использовал в книге, ко-торая содержит рассказ о его жизни на Чукотском полуострове и о поездке в Америку (см. стр. 9—10). Но на по-следней странице он неожиданно за-мечает следующее: «Эта книга была задумана, как ряд очерков. Однако, по

ходу работы мне пришлось внести в развернутый строй фактов долю не-обходимого (разрядка моя. В. Г.) вымысла согласно законам писатель-ского ремесла».

Самое утверждение необходимости вымысла в очерках уже является по меньшей мере спорным. Ведь имели же мы целый ряд очерков, в которых содержится лишь описание фактов. От этого их занимательность, их худо-жественные достоинства вовсе не по-низились. Можно подать факты чита-телю в чистом виде, смягчив их (если это понадобится) известным лиризмом и придав им своеобразную эмоциональ-ную окраску.

Во всяком случае, в книге, назван-ной дневником и которой придана вся видимость правдоподобия, следовало бы как-то иначе, более четко и опреде-ленно отделить факты от вымысла, не ограничиваясь коротенькой оговоркой в самом конце. Ведь все читатели, ко-торых не заносила судьба на Тихий океан, но которые хотят узнать о даль-нем северо-востоке что-нибудь досто-верное, не могут разобрататься в том, что соответствует в «Тихоокеанском днев-нике» действительности и что являет-ся вымыслом. Самое название книги— «вводная глава»—и вообще вся форма, ей приданная, могут ввести читателей в заблуждение. Своеобразное «заклю-чение» автора (скорее это «приложе-ние») вызывает недоумение. Поданное опять-таки как описание реального факта, оно представляется нам не слишком правдоподобным.

Второй упрек, который можно сде-лать автору, — это некоторая поверх-ностность и случайность его наблюде-ний или тех сведений, которые он со-общает. Внимание автора, при его не-сомненной «силе зрения», остается не-сосредоточенным. Он слишком поспеш-но перебегает от одной темы к другой, пересказывает занимательные приклю-чения, приводит различные выписки и т. д.

Все это убеждает нас в том, что кни-га написана без определенного плана, без предварительно поставленной себе цели осветить ту или иную область тихоокеанской жизни. Скорее она воз-

ниста как результат своеобразного «романтического» бродяжничества.

Однако, сделанные мною критические замечания не должны умалять несомненных достоинств рецензируемой книги. В отношении формального мастерства Борис Лапин сделал заметный шаг вперед. Язык его, хорошо передававший своеобразную суровую экзотику, становится образнее и ярче. В своих описаниях он достигает большой выразительности. В книге можно найти целый ряд «зарисовок» жизни чукчей, сделанных умело и занимательно. Удалась Б. Лапину попытка дать читателю возможность «почувствовать» Тихий океан. Вообще «Тихоокеанский дневник» читается с несомненным интересом.

*Виктор Гольцев.*

**М. Кравков.**—«*Большая вода*». Рассказы. Изд. «Федерация». М. 1930 г. Стр. 152. Цена 1 руб.

Лица, действующие в несложных по своим сюжетам сибирских рассказах Кравкова, почти не запоминаются. Более запоминается природа—тайга, горы, вода, звери.

Автор—пейзажист, но в ущерб простоте и точности рисунка он иногда в лирическом порыве украшает свои несколько длинные описания излишне цветистыми выражениями.

В его небольших рассказах есть то, что вошло в нашу литературу от Джека Лондона, с тою лишь разницей, что у Лондона и природа и люди более мужественны, чем у наших северных рассказчиков, в том числе и у Кравкова. В золотоискателях и охотниках последнего не ощущается той подкупающей воли к жизни, которая всегда налицо у героев американского писателя. Кроме того, в описаниях природы у Кравкова чувствуется, что сам автор нет-нет да и залюбуется ей, между тем лучше бывает, когда писатель только изображает, а любитесь читатель.

Рассказы Кравкова охватывают довольно большой период времени—от царской ссылки до наших дней, но в них почти совсем не отразились те коренные сдвиги в нашем быту и сознании, которыми так богат этот период. Его партизаны действуют где-то на

втором и на третьем плане, колчаковцы почти не видны, а «скрывающийся от них бывший ссыльный, «по виду учитель», показан совсем по довоенному образцу.

Происходит это, возможно, потому, что природа заслоняет Кравкову современность, которой он не может рассмотреть из-за деревьев глухой тайги.

*Борис Аябал.*

**С. Вегин.**—«*В верховьях Тигра (у айсоры и курдов)*». Предисловие Б. П. Миллера. С 42 иллюстр. и картой. Изд. «Молодая Гвардия». 1929. Стр. 220. Цена 1 р. 35 к.

В принципе не приходится возражать против беллетристической подачи популярно-научного материала, особенно если материал этот этнографический, т. е. предметно связанный с бытом тех или иных народов. И, конечно, автор, берущийся за этот ответственный способ изложения, должен быть не только человеком, знающим предмет, но и умеющим его изобразить. Иначе произойдет недопустимое и во всяком случае невыгодное смешение разных методов изложения.

В подобное неуклюжее положение попал С. Вегин, соблазнившийся одновременно быть и этнографом и беллетристом (он как бы пошел навстречу современным нивелирующим тенденциям в литературе, но с другого конца: не путем низведения беллетристики к очерку, а путем оживления очерка сюжетом, диалогами и пр.).

Айсоры, курды, армяне, иезиды (курды-дьяволопоклонники)—редкие гости в русской литературе. До известной степени сам материал тут выручает писателя, взявшегося за них: коренные жители бывшей турецкой Армении с их своеобразной историей и бытом мало кому известны. С. Вегин в стране этой бывал: Но вот что странно. В книге постоянно упоминается о преследованиях турками всех этих народностей, самих же виновников—турок—в книге нет. Невольно поэтому создается впечатление, что все турки—изверги рода человеческого. Совсем не отмечено автором, что абдул-гамидовский и младо-турецкий режим и турецкое трудящееся население не одно и то же,

что в основе взаимных антагонизмов и кровавых драм лежали сугубо экономические причины.

Между тем сам «сюжет» «книги начинается именно с этого, слишком житейского, момента: набег курдов в целях наживы на армянское селение и пленение молодой армянки. Здесь начинается «беллетристика». Старший брат армянки для спасения ее предпринимает путешествие по Курдистану и так называемой стране «независимых айсоров». Неожиданные встречи, не менее неожиданные узнавания, предотвращенные опасности, попутное описание быта жителей, природы, сумбурное изложение сведений из истории народов и пр. Объем сообщаемых фактов очень ограниченный и часто поверхностный. «Беллетристика» заедает: люди ведут беседы так, чтобы все стало понятно и интересно не им, а невидимо присутствующему читателю. Другими словами, заводится как бы граммофонная пластинка. Для «оживления» излагаемых событий вождь курдского племени ведет себя как сительный принц из великосветского романа, кое-где в тексте проглядывает комсомольский жаргон, бросается в глаза дешевая «образность» и пр.

Со стороны собственно этнографической в книге повезло только айсорам, сведения о которых даны достаточно подробно и живо, но и здесь трудно составить ясное представление о национальном лице айсоров. (В. Шкловский в «Сентиментальном путешествии» в бросовой анекдотической форме все же дает более впечатлительное представление об этом народе.) Недурно разоблачается С. Вегиним тонкая политика царизма среди курдов накануне войны 1914 г. и совсем по-младенчески и упрощенно сообщается о деятельности американских миссионеров на озере Ван.

Едва ли можно поэтому согласиться с предисловием, что в книге «на ряду с богатыми и разнообразными впечатлениями» есть «множество этнографических подробностей». Ни того, ни другого. Беллетристика села могущее быть интересным содержание книги.

*Н. Замошкин.*

**В. Стефаник. — «Рассказы».** Перев. с укр. В. Дуткевича, Гиз. Серия «Творчество народов СССР». М.-Л. 1929 (1930) Стр. 192. Ц. 1 р. 30 к.

В. Стефаник — один из немногих украинских писателей 90-х годов, оставшихся в стороне от развернувшегося тогда на Украине модернизма и сохранивших традицию народнической украинской литературы, литературы украинской национально-революционной интеллигенции. Реалистическое ее устремление продолжено в его творчестве в полной мере, и появление в русском переводе этой очень крупной величины украинской литературы нельзя не приветствовать.

Рецензируемая книга представляет сборник рассказов В. Стефаника о жизни галицийской Украины как главным образом до войны, так и в период оккупации ее русскими войсками; последние же рассказы относятся и к послевоенному периоду. По существу это и не рассказы, а чрезвычайно своеобразный и наиболее характерный для Стефаника жанр коротких импрессионистических миниатюр, своего рода фотографий, бытовых или психологических, отчетливых и законченных. С огромным знанием жизни и быта изображаемой социальной среды Стефаник показывает галицийское крестьянство с самых различных сторон. В коротких — иногда всего в одну страничку — отрывках, с элитическим спокойствием и художественным тактом дает он почувствовать всю бедность и убогость, всю дикость и жестокость, нависшие над галицийской деревней. Гриц Летучий, утопивший свою младшую дочь («хотел утопить и старшую, но отпросилась»), так как ему нечем было кормить детей («Новость»), мать, умирающая среди детей и поющая им последнюю песню («Кленовые листочки»), мужики, поймавшие вора и, прежде чем его убить, угощающие его водкой («Вор»), дети, которые над убитой матерью доедают хлеб, смоченный ее кровью («Детское горе»), — в ряде таких миниатюр, сжатых и выразительных, проходит перед читателем галицийское село. У Стефаника нет острого чувства негодования по поводу

изображаемых им. темноты, нищеты и бесправия, но его эпическое спокойствие потрясает, может быть, еще сильнее, является еще более выразительным, чем ярко выраженный протест.

Интересная по своему жизненному материалу, к тому же почти неизвестному русскому читателю, написанная в весьма своеобразном жанре, наконец, отличающаяся несомненными и большими художественными достоинствами,—эта книга вполне заслуживала перевода и в праве обратить на себя внимание со стороны русского читателя.

Переводчик стоял перед очень трудной задачей не только в силу наличия галицийского наречия в языке Стефаника, но и в силу специфичности его художественной манеры. Сжатость и лаконичность его миниатюр, где буквально каждое слово «на весу», предъявляют к переводчику повышенные требования, и удивительно не то, что он с ними не справился, а то, что он даже и не пытался справиться. Впрочем, упреки за плохой перевод становятся уже трюизмом (см. «Книга и Революция», 1929, № 19—«Без руля и без ветрил. Литература народов СССР». В. Веберг). Удивляет также отсутствие предисловия: дать читателю элементарную историко-литературную перспективу, подчеркнуть народнические традиции у Стефаника и т. д. было совершенно необходимо. Между тем в книге нет ни слова о Стефанике — беззаботность недопустима.

*Л. Тимофеев.*

**Георг Вринг.** — «Солдат Зурен». Роман. Перев. с немецкого Ир. Татариновой и Ел. Черняк. Предисловие Дм. Уманского. «Земля и Фабрика». Л. 1929 г. Стр. 248. Ц. 1 р. 50 к.

Роман Вринга принадлежит к той группе книг, появление которых позволило говорить о недавнем и неожиданном расцвете немецкого «военного романа». Интересен «Зурен» тем, что в нем как бы с полной непосредственностью выражено отношение к войне интеллигентного мещанина, не зараженного патриотизмом. Этот мещанин не хочет воевать, он мечтает о спокойной жизни, о своей милой, оставлен-

ной в родном городке. Но почему возникла война—он не понимает, склонен обвинять в ее возникновении ни в чем неповинного немецкого бога, в существовании которого доброму немцу сомневаться не полагается. Захваченный военной машиной, он покорно тянет лямку, находит утешение в общении с товарищами, с природой. От такого солдата нельзя ждать хоть сколько-нибудь активного протеста; в порядке «самокритики» у него появляются недозволенные мысли, но он их рассудительно прячет.

Кроме того, книга Вринга выделяется на фоне других военных книг тем, что в большей части ее рассказывается о жизни взвода, находящегося в резерве. Вместо окопов и шрапнели здесь—обыкновенная муштровка, ожидание переброски, длительное пребывание на лоне природы. Эта «сельская обстановка» дала возможность Врингу проявить свое лирическое дарование; отсюда идиллические книги—поэтичной, чуть сентиментальной. Конечно, книга идиллична относительно—в такой же мере, в какой, по сравнению с фронтовым, окопным бытом, идиллична казарменная жизнь мирного времени. Революционный писатель подчеркнул бы на месте Вринга то обстоятельство, что немецкая военная машина и теперь в порядке, что казарменную жизнь мирного времени очень трудно снова превратить в казарменную идиллию военного времени. Революционный писатель искал бы также других виновников войны, кроме неопределенного бога. Вринг этого не сделал—на то он и мещанский писатель, а не революционный.

Книга снабжена дельным, обстоятельным предисловием Д. Уманского. Радует перевод—очень хороший, вполне литературный.

*Я. Фрид.*

**«Путеводитель по современной русской литературе».** Составил Ив. Н. Розанов. Издание второе. Изд. «Работник Просвещения». М. 1929 г. Стр. 364. Цена 1 р. 25 коп.

Лицам, осведомленным в литературе, рецензируемая книжка не нужна,

ибо она в сравнении с ранее выпущенными соответствующими пособиями ничего нового в смысле улучшения методики справочников и указателей по современной литературе не дает и даже во многих отношениях представляет собой несомненно регрессивное явление в этой области. По этой последней причине «Путеводитель» Ив. Розанова нельзя рекомендовать и тому широкому читателю из среды наших учащихся, на которого ориентируется изд-во «Работник Просвещения».

Дело составления «Путеводителей по современной литературе», особенно предназначенных для литературно малоосведомленных читателей, вовсе не является таким легким и простым, как это кажется некоторым нашим литераторам и издательствам. Тут требуется и полная методологическая выдержанность и умение в океане литературных фактов и фактиков уловить основные тенденции литературного развития, тут недопустимо отставание от литературной современности, — от автора и издательства требуется максимальная подвижность, тут требуется и еще многое другое, чего нет в книжке Ив. Розанова. Путеводитель по современной литературе должен быть живым руководством, а не мертвым архивом, складом нужного и ненужного. Не следует забывать, что литературные функции путеводителя и, например, библиографического указателя или библиографического справочника и т. п. весьма отличны. Не следует забывать, что путеводитель должен ориентироваться не на историка литературы, а на читателя-неспециалиста. Всем этим требованиям, подчеркиваем, «руководство» Ив. Розанова совершенно не отвечает.

Оно например, значительно отстает от нашей литературной современности. Автор не пожелал второе издание своей работы сделать действительно вторым, а не механической перепечаткой первого. В 1929 году Розанов, например, заявляет, что «художественных произведений 1927—28 гг. мы в нашем путеводителе касаемся только очень бегло, ибо, де, «литературные

явления текущего момента не подлежат еще изучению» (!!). Поэтому читатель «путеводителя» не узнает, например, о Шолохове, Караваевой, «Пушторге» Сельвинского и о многом другом. Зато Розанов обильно насыщает свое «руководство» дооктябрьской литературой — символизмом, «неонародниками», «беллепристами дореволюционными» и прочим, и т. п. Забывая о таких революционных писателях, как Лариса Рейснер, наш автор не забывает отвести значительное место таким «современникам», как М. Кузьмин, В. Ходасевич, Пимен Карпов (автор романа «Пламень») и... Иванов-Разумник.

Только при совершенном непонимании литературной функции путеводителя по современной литературе, при полном забвении того обстоятельства, что последний должен ориентироваться не на историка литературы, а на широкого читателя, на учащегося-комсомольца, можно давать такую «библиографию», как «работы» махровых идеалистов в роде С. Аскольдова или писания Мякотиных и Ивановых-Разумниковых. На стр. 85—86 можно, например, увидеть длинейшую аннотацию из книги Иванова-Разумника о Блоке и Белом, даваемую без всякого критического разбора.

Кстати, о «биографических» сведениях или, вернее, о писательских паспортах, послужных списках.

Ив. Розанов почти всюду вместо анализа основных тенденций литературного развития, вместо сведений об основных чертах творчества писателей представляет нам эти послужные списки, паспорта писателей, архивные справки о том, кто где учился, где служил и т. п. Действительно, читателю, желающему ориентироваться в современной литературе, в современном литературно-художественном движении, очень интересно знать, что Кузьмин «учился в саратовской и в 8-й петербургской гимназиях» и т. п., и т. п.

Впрочем, не будем несправедливы к автору, — он занимается и анализом творчества. Когда Розанов освещает творчество путем цитирования других, то дело еще обстоит удовлетворительно, когда же он начинает го-

ворить собственными словами, то дело принимает куда худший оборот. Например:

«Своеобразие Волошина» в том, что он является поэтом-философом, размышляющим над судьбами человечества» (!!).

О том же, каков род «философских» «размышлений» Волошина, у Розанова ни звука.

Нестерпимая банальная обывательщина густым потоком разливается по страницам розановского писания. Ив. Розанов, например, судит о творчестве по тому «шуму», каковой произведет тот или иной писатель. Его интересуют писательские «рекорды».

«Никто из русских поэтов за последние пять-десять лет не имел такого шумного успеха, как Сергей Есенин. Рекорды, поставленные ранее Надсоном и Игорем Северяниным, остались далеко позади. Успех Блока был глубже, но не сопровождался таким шумом» (129). (Подч. нами. Арк. Г.) Эта «шумливая» точка зрения замечается и в ряде других мест книги.

Вульгарное упрощенчество трезвучайно характерно для автора «путеводителя», пишущего иногда уж слишком «не мудрствуя лукаво». Образец: «Увлекаясь символизмом и «народной стихией», писатели из интеллигентов (Иванов-Разумник, Городецкий, Ремизов) особенно интересовались религиозными представлениями крестьянства. Спрос рождает предложение. Появились Клюев, Есенин и др. Новым является и то, что уже не самоучки говорят от лица крестьянства. Радимов и Клычков учились в университете, Вольнов, Клюев, Есенин — тоже люди не без систематического образования. Все они вполне владеют новейшей литературной техникой. Некоторые из них (Вольнов, Касаткин) занимались революционной деятельностью. Все они с радостью встретили революцию, но потом большинство из них увидало, что за пролетариатом им не угнаться... Отсюда драма Есенина и постепенное обмеление крестьянской поэзии» (118—119).

И это младенческое (или старческое) лепетание преподносится нам ответ-

ственным издательством в качестве руководства!

Разумеется, никакого марксистско-социологического подхода в книге Ив. Розанова искать не приходится. Нельзя же считать за таковой сообщения в роде того, что «отец (одного из писателей. Арк. Г.) — «незаконорожденный» сын туркестанского генерал-губернатора»... и т. п.

В наши дни обостренной классовый борьбы в литературе как может автор книги, выпущенной в 1929 году, утверждать, что «не вопросы мирозерцания, не приемы творчества, а только частные пункты расхождения и вопросы тактики разделяют послеоктябрьских писателей на группы» (49). (Подч. нами. Арк. Г.)

В основу методологии «изучения литературных направлений» Розанов кладет не классовый принцип, а принцип «эволюции» «основных литературных мнений». У нас нет места да и охоты для соответствующих цитат, читатель может убедиться в этом сам, заглянув на страницы 49—50, где четыре параграфа розановского методологического «кredo» покажут всякому, что Ив. Розанов остался автором, не совсем подходящим для литературно-методологического просвещения нашего учащегося молодняка.

*Арк. Глаголев.*

**«Государственная Третьяковская галерея». Краткий путеводитель по Третьяковской галлерее.** Составил Л. В. Розенталь. Москва, 1929 г. Стр. 144, с илл. и планами. Цена 30 к.

Стоит ли говорить о том, что экскурсионная литература является не справочной, а прежде всего педагогической. Но, увы! те, кто хотя бы учиться, не всегда в состоянии приобрести путеводитель или как следует в нем разобраться. А те, на кого путеводитель рассчитан, обижаются, когда их учат. Это — первая трудность на пути автора-составителя. Барьер этот Л. Розенталь обходит, свою работу предназначая для несколько культурно подготовленного посетителя. Второй барьер — косность зрителя. Ни для кого не тайна, что посетитель, входя в галерею, проверяет, на своем ли месте

«Иоанн Грозный» Репина, виден ли след ножа, порезавшего картину безумца, похожа ли «Всюду жизнь» Ярошенко на свою репродукцию. Он неизменно удивляется размерам «Морозовой», всегда спрашивает: «А это что?», показывая на «Тараканову» Флавицкого и т. д. Практика устанавливает, что вопросы стереотипны и одинаковы в каждом отдельном случае. Нужна напряженная, неуклонная борьба против мещанских трафаретных вкусов, привитых всякими псевдохудожественными изданиями. Надо непрестанно бить в одно и то же место, памятуя, что капля точит камень не силой, по частоте падения.

Книжка Л. В. Розенталя, скажем здесь сразу, нужная и цепная и потребует своего возобновления. Именно ради будущего издания мы считаем необходимым указать на недостатки настоящего. Музейного зрителя Л. Розенталя «обрабатывает» дипломатично. Завоевывая новые позиции, он стратегически отвлекает внимание от вещей, примитивно воздействующих на публику своей величиной. Впрочем не всегда можно это выдержать, — уступками являются в сущности малые примечательный портрет Екатерины II Эриксона и, пожалуй, даже... «Всадница» Брюллова. Таких уступок больше в сопровождающем необязательном тексте, набранном петитом. Туда ушел весь Ярошенко, столь привлекающая «Незнакомка» Крамского, популярнейший В. Маковский и мн. др.

В своем стремлении перевоспитать зрителя автор, однако, перегнул палку. Слишком много XVIII в.; до рядового посетителя галлерей он «доходит» с большим трудом. Думается, что более благодарной была бы задача переключить внимание на современность путем подбора стилистически постепенно эволюционирующих примеров. В мелкий шрифт следовало бы убрать весь XVIII в., разве за исключением двух-трех работ Левицкого и Боровиковского. Пропорция первой половины XIX в. правильна, порция «передвиж-

ников» остается все-таки чрезмерной. Впрочем, это вина обстоятельств. Репина в галлерее слишком много. Нельзя не говорить о 4 крупных вещах его. То же и о Сурикове. Пожалуй, следовало бы «облегчить» Перова.

Над книжкой Л. Розенталя тяготеет еще фетишизм описания того, что видит в каждом отдельном случае зритель своими глазами. Надо надеяться, что следовало бы больше обратить внимания на вопросы стиля, оставив в стороне описания, а также имена художников, по которым все еще строится и в литературе и в музейной экспозиции история русского искусства.

Имеются некоторые мелкие недочеты. Следовало бы отметить портретность и декоративность, исчерпывающие все жанры живописи XVIII в. На двух примерах Левицкого и Боровиковского можно было бы иллюстрировать понятие «колорита» и «тональности». Едва ли пейзажи Щедрина «располагали» к мечтам о далеких прекрасных странах (стр. 22). Хотелось бы видеть более глубокое истолкование Федотова, чем образителя «событий не только смешных, но и драматических». Неверно утверждение, что портрет на ряду с пейзажем доминирует в русской живописи конца XIX в. Более детальный формальный анализ желателен также в применении к новейшему искусству.

Впрочем, все эти соображения — дискуссионного порядка.

В лице Л. В. Розенталя нельзя не приветствовать новатора в деле идейно-полиграфической композиции текста. Наглядность выделения маршрутов, художника, названия вещи и пр. удалась вполне. Тексты лозунгов вместо предисловия являются удачной мыслью; но, увы, полиграфическое оформление лозунгов, надо сознаться, нигде не годится. Пусть на этот раз злорадствуют библиофилы, памятуя, однако, об исключительной дешевизне книжки.

А. Грец

# КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**ГЕЙЛИКМАН, Т. Б.**—История общественного движения евреев в Польше и России. Стр. 304. Ц. 2 р. 75 к.

**КРИЦМАН, Л.**—Пролетарская революция и деревня. Стр. 576. Ц. 5 р. 50 к.

**ВЫГОДСКИЙ, Л. С. и ЛУРИЯ, А. Р.**—Этюды по истории поведения. Обезьяна. Прimitив. Ребенок. Стр. 236. Ц. 2 р. 50 к.

**ЭЙДЕМАН, Р.**—Восстание камней и др. рассказы. С иллюстр. К. И. Лебедева. Стр. 251. Ц. 2 р.

**БУХАРЦЕВ, Дм.**—Теоретические оруженосцы оппортунизма. Ошибки правых в международных вопросах. Стр. 135. Ц. 50 к.

**БАКУЛИН, А. В.**—Записки об уханском периоде китайской революции (из истории китайской революции 1925—1927 гг.). Стр. 287. Ц. 2 р. 50 к.

**ВИТВЕР, И.**—Южная Америка (Всемирная экономическая география. Под ред. Н. Баронского и С. Бернштейна-Когана. Том 10-й.) Стр. 506. Ц. 4 р.

**ЛЯЩЕНКО, П. И. проф.**—Социальная экономика сельского хозяйства. Том 1. Стр. 400. Ц. 3 р.

**СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ VI КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА.** Вып. III. Стр. 192. Ц. 85 к. Вып. V. Стр. 159. Ц. 95 к.

**БЕССОНОВ, С. А. и КОН, А. Ф.** (ред.)—Рубинщина или марксизм. Против идеализма и метафизики в политической экономии. Стр. 231. Ц. 1 р. 70 к.

**ЛУПШОЛ, И. К.**—На два фронта. Сборник статей. Стр. 218. Ц. 1 р. 50 к.

**ФРИШ, К.**—Из жизни пчел. Пер. с нем. С иллюстр. Стр. 157. Ц. 1 р. 40 к. (пер. 60 к.).

**ШУАН, Евг.**—Джанг. Восстание в Афганистане. Стр. 245. Ц. 1 р. 50 к.

**ФЕТЧЕР, Р.**—Половой инстинкт. Введение в биологию половой жизни и брака. С пред. автора к русскому изд. Пер. с дополнениями проф. Л. Г. Оршанского. Стр. 200. Ц. 1 р. 10 к.

**ЗАПИСКИ О НЕОБЫКНОВЕННОМ.** Из дневников журналистов, участников похода «Красина» и «Малыгина». Под ред. А. Яковлева. Стр. 188. Ц. 1 25 к.

**«ПУШКИН».** Сборник 2-й. Ред. Н. К. Пиксанова (Пушкинская Комиссия Общ. Любителей Российской Слоvesности). Стр. 204. Ц. 1 р. 50 к.

**КАРАВАЕВА, Анна.**—Голубая заводь. Рассказы (Собр. соч. том V). Стр. 167. Ц. 1 р. 10 к. (пер. 15 к.).

**САННИКОВ, Г.**—Красная площадь. Избранные поэмы. 1921—1928 гг. Стр. 92. Ц. 1 р. 20 к. (пер. 60 коп.).

**АНТОКОЛЬСКИЙ, П.**—Робеспьер и Горгона. Драматич. поэма. Стр. 112. Ц. 1 р. 25 к.

## «ПРОЛЕТАРИЙ»

**ПАЛЕЙ, А. Р.**—«Планета Ким». Фантастический роман. Предисл. и примеч. проф. К. Л. Баева. Стр. 259. Ц. 1 р. 75 к.

## «НЕ Д Р А»

**«РАБОЧАЯ ВЕСНА».** Литературно-художественный альманах. Стр. 149. Ц. 1 р.

**ВИХРЕВ, Ефим.**—Палех (с иллюстр.) Стр. 183. Ц. 2 р. 75 к.

## «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

**ЮГ.**—Империализм на черном континенте. Стр. 127. Ц. 1 р.

**ДЮВАЛЬ, Гюи.**—Французский империализм в колониях. Стр. 127. Ц. 1 р.

## «П Р И Б О Й»

**САДОФЬЕВ, Илья.**—Неугомонь. Стихи. Стр. 159. Ц. 2 р. 75 к. Стр. 50 к.

**КНЯЗЕВ, Василий.**—Книга избранных стихотворений. Стр. 118. Ц. 2 р. Пер. 24 к.

**ОСТРОВЕР, Л.**—Конец Княжества. Стр. 292. Ц. 2 р. 75 к.

## «З И Ф»

**«РОВЕСНИКИ».** Сборник седьмой содружества писателей «Перевал». Стр. 294. Ц. 2 р. 50 к.

**ТАН, В. Г.**—Чукотские рассказы (собр. сочинений, том I). Стр. 371. Ц. 2 р. 60 к.

**УРИН, Дм.**—Последняя халтура. Роман. Стр. 144. Ц. 1 р. 25 к.

**ЛОВЦОВ, Н.**—Алданские колючки. Стр. 233. Ц. 1 р. 70 к.

**ГРОМОВ, М.**—Лошевод. Роман. Стр. 169. Ц. 1 р. 40 к.

**ПОД'ЯЧЕВ, С.**—Без любви, без радости (полн. собр. соч. т. XI.). Стр. 239. Ц. 1 р. 75 к.

**БЕЗЫМЕНСКИЙ, А.**—Веселенья предлюдия. Избранные стихотворения. Стр. 140. Ц. 1 р. 25 к.

**БЕРШАДСКИЙ, Руд.**—Старт. Стихи. Стр. 62. Ц. 70 к.

**ЗОРИЧ, А.**—В стране гор. Стр. 163. Ц. 1 р. 20 к.

**КОНСТАНТОН - ВЕЙЕР, М.**—Человек с своим прошлым. Стр. 136. Ц. 85 к.

**РАЙМОНТ, Владислав.**—Последний сейм Речи Посполитой. Роман. Стр. 317. Ц. 1 р. 75 к.

**ФРАНС, Анатоль.**—Возняне аббата Жерома Козьярыя. Стр. 238. Ц. 1 р. 30 к.

**ЕГО ЖЕ.**—Харчевня королевы Педок. Стр. 240. Ц. 1 р. 30 к.

**ДРАЙЗЕР, Т.**—Сестра Керри. Роман. Стр. 653. Ц. 3 р.

**УЭЛЛС, Г.**—Первые люди палупе. Стр. 237. Ц. 1 р. 55 к.

**ЗОЛЯ, Э.**—Западня. Роман. Стр. 544. Ц. 90 коп.

## «ФЕДЕРАЦИЯ»

**ЛИДИН, Вл.**—Искатели. Роман. Стр. 246. Ц. 1 р. 85 к.

**ОКУЛОВ, А.**—Побег. Рассказ-эп. Стр. 271. Ц. 2 р. 30 к. (перепл. 20 к.).

**КЛЫЧКОВ, Сергей.**—В гостях у журавлей. 7-я книга стихов. Стр. 163. Ц. 1 р. 20 к.

**ГРОССМАН, Леонид.**—Цех пера. Статьи о литературе. Стр. 302. Ц. 2 р. 65 к.

**СУХОТИН, Павел.**—Мара. Рассказы. Стр. 125. Ц. 1 р.

**ГАРНИЧ, Николай.**—Осьмнадцатый. Стр. 157. Ц. 1 р. 40 к.

**ДРОЗДОВ, А.**—Конец Петра Великого. Рассказы. Стр. 214. Ц. 1 р. 50 к.

**СМИРНОВ, Ал.**—На перекаете. Рассказы. Стр. 143. Ц. 1 р.

**ПТРАЙХ, С. Я.**—Повесть о жизни и любви чудесного доктора. Стр. 343. Ц. 2 р. 90 к. (пер. 20 к.).

**ЛЕВИН, Кирилл.**—Записки из плена. Стр. 304. Ц. 2 р. (пер. 20 к.).

**КОЧИН, Николай.**—Записки селькора. Стр. 159. Ц. 90 к.

**«ПЕРЕВАЛЬЦЫ».**—Антология. Содружество писателей революции «Перевал». Стр. 365. Ц. 3 р. (пер. 20 к.).

**«КУЗНИЦА».**—Антология. Под общей редакц. С. Обрадовича. Стр. 265. Ц. 3 р. (пер. 20 коп.).

**ГОРНФЕЛЬД, А. Г.**—Романы и романисты. Стр. 305. Ц. 2 р. 80 к. (пер. 20 к.).

## РАЗНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

**«Московские мастера» № 1 (Альманах).** Изд. «Князь и Знание». Стр. 466. Ц. 3 р. 50 к.

**«УЗВЫШША».**—Журнал литературы, мастства и критики беларускага згуртвання «Узвышша» № 8. Менск. 1929. Стр. 104. Ц. 80 к.

**«КРАСНОЕ СЛОВО».**—Литер.-худож. журнал Всеукраинского союза пролетарских писателей (ВУСНП). Книга XI—XII. Ноябрь—декабрь. 1929. Изд. Гиз Украины. Стр. 174.

**МИХАЙЛОВ, Семен.**—Бригадная роща. Роман. Изд. писателей в Ленинграде. Стр. 375. Ц. 2 р. 50 к.

**СВЕРЧКОВ.**—Георгий Гапон. Опыт политической биографии. Изд. «Никитинские суботники». Стр. 182. Ц. 1 р.

**«РОСТ».**—Ежемесячн. лит.-худ. и обществ.-политич. журнал, № 1. 1929. Свердловск. Стр. 95. Ц. 60 к.

**«РЕВОЛЮЦИЯ И ГОРЕЦ».** Полит.-эконом., лит.-публицистический журнал. № 11—12. 1929 г. Стр. 96. Ц. 35 к.

**ПОПОВ, В. А.**—Школы социального воспитания г. Москвы и Московской губернии. Статистический обзор. Изд. Моск. обл. статист. отдела. Стр. 175. Ц. 2 р.

Издатель «Известия ЦИК СССР  
и ВЦИК».

Редакция:

А. В. Луначарский.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Полонский.  
М. А. Савельев.  
В. И. Соловьев.